This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

NYPL RESEARCH LIBRARIES
3 3433 06724814 0

Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“. (Спб., Невскій, 92).

К. Телешовъ.

ТОМЪ ВТОРОЙ.

РАЗСКАЗЫ.

Цѣна 1 рубль.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1908.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
533676
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.
R 1911 L

Типо-Литографія „Печатное Искусство". Невскій пр., 140—2.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	стр.
Между двухъ береговъ	1
Черною ночью	19
Косцы	40
Призраки	50
Петля	59
На тройкахъ	78
Крамола	155
Пѣвецъ Богоматери	196
Жуликъ	209
Враги	216
Осень	229
Цвѣтокъ папоротника	242
Доброе дѣло	260
Тѣни	270
Лунная ночь	275
Въ пути	278

МЕЖДУ ДВУХЪ БЕРЕГОВЪ.

I.

Одиноко кричитъ гдѣ-то пароходъ... Голосъ его разносится далеко окрестъ по пустымъ берегамъ, по широкому лону рѣки. Непонятно, для чего онъ кричитъ, когда вокругъ не видно ни жилья, ни хижины, ни человѣка. Непонятно и то, куда торопится такъ Иртышъ, стремительно гоня по простору свои быстрыя бурыя воды. Крутыми холмами извилисто тянется на тысячи верстъ правый берегъ, весь обросшій березами и тальникомъ, гдѣ въ тѣни плодятся рыжики да на пригекѣ—морошка, а лѣвый берегъ раскидывается до горизонта зеленымъ ковромъ отъ самой воды до самаго неба. И ни жилья вокругъ не видно, ни хижины, ни человѣка. Иногда лишь среди тишины всплескивается большая рыба и какъ камень идетъ ко дну, въ илистыя глубины, оставляя на поверхности широкій струйчатый кругъ—на минуту: иногда поперекъ, черезъ рѣку, дикія утки перелетаютъ, вытянувъ шею и носъ въ одну линію; рѣдко-рѣдко на крутомъ берегу встрѣтится татарскій поселокъ съ длиннымъ досчатымъ минаретомъ, сѣрымъ отъ непогодъ, или русская деревушка съ плетнями, съ горшками на кольяхъ и съ тряпками на веревкахъ. И опять пустота, безлюдіе, песчаные откосы и зелень — на много верстъ, на много часовъ.

Одиноко кричитъ пароходъ... Нѣтъ ему ни встрѣчнаго, ни попутчика, но онъ кричитъ уже часъ—настойчиво, протяжно и громко, точно воетъ, жалуясь на непосильное бремя.

Называется онъ „Соколъ“. Самъ онъ маленькій, окрашенный въ бѣлый цвѣтъ, съ большой черной трубою. Напрягаясь изо всѣхъ силъ, онъ старательно тащитъ на длинномъ канатѣ за собою огромную баржу съ тяжелымъ грузомъ и кричитъ только разъ въ сутки, задолго оповѣщая окрестныя села о своемъ приближеніи. Въ сутки разъ онъ кричитъ и въ сутки разъ останавливается: брать дрова и провизію.

На пароходѣ была кухня и былъ поваръ Ивачъ Михайловичъ, сухощавый, благообразный старичокъ, ходившій въ бѣломъ халатѣ и бѣломъ колпакѣ; человѣкъ онъ былъ крайне угрюмый и признавалъ только однѣ обязанности.

— Я-съ обязанъ накормить команду,—строго говорилъ онъ пассажиру, пытавшемуся получить у него обѣдъ,—а вы обязаны о себѣ сами заботиться. Пожалуйте провизію,—я долженъ ее изготовить, а запасаться провіантомъ—это уже ваша-съ личная обязанность.

— Да гдѣ же я ее возьму, провизію?—вскипалъ голодный пассажиръ.

— Будетъ остановка и берите-съ.

— Да когда жъ она будетъ? Ѣдемъ, ѣдемъ, точно по океану. Когда она будетъ?

— Завтрашній день.

— Да я съ голоду подохну! Что за безобразіе!

На это Иванъ Михайловичъ спокойно пожималъ плечами.

— Что жъ дѣлать: граманжа пуста,—указывалъ онъ на запертый чуланъ съ лаконической вывѣской „Граманжа“.—Обязаны сами о себѣ заботиться. Кипятку, извольте-съ, дамъ,—говоритъ онъ въ утѣшеніе.

Проморивъ пассажировъ за первыя сутки, онъ до-

стигъ того, что всѣ начали ежедневно вступать съ нимъ въ ласковые переговоры и вѣжливо просить о себѣ позаботиться.

— Ужъ пожалуйста, Иванъ Михайловичъ, на завтра мнѣ супцу оставьте... немного... тарелочку... Потомъ еще чего-нибудь на мою долю купите... что найдете... все равно... Я все люблю...

Тоскливо и медленно проходили дни и вечера. Изъ плывшихъ на пароходѣ въ большинствѣ были крестьяне, старухи, женщины съ дѣтьми и рабочіе, ютившіеся на деревянныхъ нарахъ возлѣ машины, гдѣ имъ было тепло и тѣсно. Пассажировъ второго класса было немного, но и тѣ прятались по отдѣльнымъ каютамъ, такъ что „Соколъ“ могъ показаться безлюднымъ. Иногда лишь на палубу выбѣгалъ офицеръ съ всклокоченной бородой и, ежась отъ холоднаго вѣтра и потирая руки, рѣшительными быстрыми шагами проходилъ взадъ и впередъ по палубѣ и снова скрывался. Иногда являлся капитанъ, высокій молодой человѣкъ, почти юноша, въ кожаной куркѣ, валеныхъ сапогахъ и въ оленьей шапкѣ; онъ молча подходилъ къ стеклянной вышкѣ, гдѣ лоцманы вертятъ рулевое колесо, молча и тоскливо глядѣлъ впередъ нѣсколько минутъ и, посинѣвши отъ холода, уходилъ обратно къ себѣ. Нерѣдко появлялся на палубѣ человѣкъ среднихъ лѣтъ, одѣтый въ ватное пальто и широкополую шляпу, съ рѣдкой русой бородкой, въ очкахъ и теплыхъ перчаткахъ; накинувъ на шею пледъ, онъ долго простаивалъ на одномъ мѣстѣ и глядѣлъ на безконечную линію берега, на смѣняющіеся холмы и откосы.

— Вы не докторъ?—неожиданно спросилъ его офицеръ, выбѣжавъ изъ своего подполья.

— Нѣтъ, я учитель.

— А въ карты вы не играете?

— Нѣтъ.

— Ну, до свиданія!

Офицеръ побѣжалъ обратно внизъ по лѣстницѣ, и когда осталась видна только его голова, онъ крикнулъ учителю:

— Не прозѣвайте: сейчасъ остановка!

Дѣйствительно, „Соколъ“ вскорѣ остановился. Часа два стоялъ онъ у бревенчатаго помоста. По перекинутымъ сходнямъ все время ходили взадъ и впередъ матросы съ носилками, ссыпая въ люкъ дрова, ссыпая съ грохотомъ и прибаутками.

Не напрасно, однако, кричалъ „Соколъ“ такъ задолго до своего прихода: окружные жители успѣли принести сюда кто что могъ: остяки-рыболовы привезли въ челнокахъ стерлядей и пельмы, бабы захватили хлѣба, ватрушекъ и молока, мальчишки притащили утокъ и огурцовъ, дѣвочки—яицъ и ягодъ, а старики—домашней браги въ берестовыхъ буракахъ.

Пассажиры повеселѣли. Только поваръ, Иванъ Михайловичъ, былъ недоволенъ чѣмъ-то и, заложивъ руки въ карманы, угрюмо пробиралъ двухъ мужиковъ, а тѣ молча и виновато чесали затылки и глядѣли вкось, оба въ разныя стороны.

Послѣ долгаго ненастья, къ вечеру погода перемѣнилась, и когда „Соколъ“ тронулся въ путь, вѣтеръ уже затихъ, стало тепло и ясно, и пассажиры вышли на палубу. Ихъ было всего четверо: молодой семинаристъ, ѣхавшій въ Москву въ университетъ, старый чиновникъ съ кокардой, учитель и туристъ-иностранецъ, говорившій свободно по-русски. Къ нимъ подошелъ капитанъ, сталъ разсказывать туристу объ Иртышѣ, объ инородцахъ—и разговоръ вскорѣ сдѣлался общимъ.

— Не желаете ли, можетъ, сегодня на палубѣ поужинать?—ласково спросилъ Иванъ Михайловичъ, подходя къ капитану.—Ишь, Господь какую благодать посылаетъ,—добавилъ онъ, указывая на берега и на небо, и нюхая чистый рѣчной воздухъ.—Очень хорошую

нельму пріобрѣлъ по вашему порученію, и сливокъ хорошихъ... Могу бламанже предложить.

Капитанъ хотѣлъ что-то отвѣтить, но въ это время изъ низу на палубу вбѣжалъ офицеръ; видъ у него былъ возбужденный, глаза растерянные.

— Иванъ Михайловичъ!—обратился онъ прямо къ повару.—Голубчикъ! Случилось несчастіе!

— Что такое-съ?—забезпокоился тотъ.

— Водка вся вышла!

Они глядѣли молча другъ другу въ глаза, какъ бы желая проникнуть одинъ другому въ самую душу. Затѣмъ Иванъ Михайловичъ пожалъ плечами и проговорилъ обычнымъ угрюмымъ тономъ, сразу утративъ свое недавнее добродушіе.

— Не обязанъ объ этомъ безпокоиться.

— Знаю, милый. Но нѣтъ ли бутылочки?

— Спиртнаго не держу, и держать не имѣю въ виду-съ. Бламанже могу предложить.

— Ну, дорогой мой... Иванъ Михайловичъ!—продолжалъ умолять офицеръ.—Вмѣсто блянъ-манже дайте мнѣ блянъ-буаръ!

Но Иванъ Михайловичъ, пристально поглядѣвъ на взлохмаченную голову офицера, на его просительно протянутыя руки, отвѣтилъ рѣшительнымъ тономъ:

— Самъ не пью-съ, и вамъ не посовѣтую.

И съ этими словами, искоса поклонившись, онъ ушелъ внизъ.

Офицеръ развелъ руками и не то про себя, не то обращаясь къ компаніи, проговорилъ:

— Вотъ чортовъ характеръ!.. Кабы мнѣ такой, я бы навилъ веревокъ изъ жизни!

— Хотите браги?—предложилъ капитанъ.—Я себѣ цѣлый туязъ купилъ.

— И я купилъ браги—хотите?—предложилъ учитель.

Офицеръ поклонился учителю и капитану, какъ бы благодаря, но отказываясь отъ предложенія, и уловивъ

на себѣ пристальный взглядъ иностранца, поспѣшилъ ему объяснить:

— Брага, видите ли, въ родѣ пива, только похуже, и въ родѣ, пожалуй, кваса, но получше его, а въ общемъ—бурда! Кто желаетъ разводить въ желудкѣ лягушекъ, пускай пьетъ эту самую брагу. А я насчетъ водочки: о-де-ви, какъ говорятъ французы, то есть „вода жизни". И, дѣйствительно, это такъ.

Всѣ улыбнулись.

— Плохо жить намъ безъ вина: жизнь печалями полна. А у насъ Иванъ Михайловичъ самаго-то главнаго и не держитъ... Охъ, эти мнѣ нравственные люди!—вздохнулъ офицеръ и вдругъ обернулся въ сторону.

— Ты чего на меня радуешься, Душковъ?—спросилъ онъ, увидя предъ собою рослаго солдата въ бѣлой рубахѣ, въ накинутой на плечи шинели.

Солдатъ, только-что подошедшій, стоялъ передъ офицеромъ, улыбаясь, сверкая весело глазами и зубами, и приложивъ къ виску руку.

— Ты чему-то радъ?

— Такъ точно, ваше высокородіе: подóзрѣлъ!—отвѣтилъ Душковъ.

Въ его тонѣ и въ голосѣ слышалась фамильярность, пріятельская нота.

— Что подóзрѣлъ?

— Водки полонъ туязъ!

— Гдѣ?

— Старичишка у машины грѣется... Самосидку везетъ.

— Самосидку?.. Арестовать!

— Наложилъ арестъ, ваше высокородіе. Въ каюту поставилъ.

Офицеръ потеръ руки.

— Мой адъютантъ,—рекомендовалъ онъ Душкова.—Фельдфебель, ближайшій сотрудникъ мой и секретарь. Способнѣйшій чѣловѣкъ!.. Господа,—обратился онъ къ

попутчикамъ:—водочку, слава Богу, достали; вотъ теперь, значитъ, побесѣдуемъ!

— А что это такое самосидка, я не понимаю?—заинтересовался иностранецъ.

— Самосидка,—объяснилъ офицеръ,—это самая скверн҃ѣйшая водка въ мірѣ! Ее гонятъ здѣшнія бабы... деревенскія женщины... пейзанки... Гонятъ въ лѣсу, въ хлѣву... контрабандой... безъ акциза... Изъ пуда муки выходитъ цѣлая четверть, да за работу двугривенный... Дешево и сердито! Можете судить, что это за нектаръ выходитъ. Сама она крѣпчайшая, цвѣтомъ зеленая, на вкусъ противная... Пьешь—точно гвозди глотаешь. Ну-съ,—обратился онъ снова къ Душкову:—гдѣ-жъ старичишка?

— Обмеръ, ваше высокородіе. Очень перепугался,—отвѣчалъ солдатъ прежнимъ веселымъ тономъ.

Оба они, видимо, ликовали. Оба улыбались, глядя другъ на друга, но, несмотря на улыбки, видъ у нихъ былъ какой-то сумрачный. Воротники у нихъ и околыши на фуражкахъ были черные, канты на шинеляхъ и на погонахъ тоже черные, и оба они производили впечатлѣніе чего-то мрачнаго и траурнаго.

— Что за полкъ?—спросилъ иностранецъ, наклоняясь къ капитану и разглядывая мрачные мундиры.

— Тюремная команда,—шепнулъ въ отвѣтъ капитанъ и громко обратился къ офицеру.—Водки не дурнобы выпить... Только ужъ вы старика-то не трогайте. Богъ съ нимъ!

— Зачѣмъ трогать! мы съ нимъ по-пріятельски войдемъ въ соглашеніе. Я заплачу ему хорошо... Честью клянусь, хорошо заплачу, да еще спасибо скажу. Эй-Душковъ! айда! Веди къ старику.

Они ушли, а на палубѣ начали накрывать для капитана обѣденный столъ.

II.

Когда свечерѣло, на мачтѣ у „Сокола“ и на задней баржѣ подняли по фонарю; они висѣли высоко надъ

рѣкою среди сумерекъ и простора ясными точками, какъ двѣ новыя планеты. Изъ-за холмовъ поднималась луна огромнымъ блѣдно-розовымъ шаромъ, легкимъ и золотистымъ, почти прозрачнымъ. Пароходныя колеса монотонно шумѣли и будоражили воду, и далеко за „Соколомъ“ тянулся по Иртышу волнистый слѣдъ. Дальній огонекъ баржи и луна отражались въ рѣкѣ, и сѣрая зыбь и темныя стремнины сверкали, чернѣли и дробились на бѣгу золотыми брызгами.

На палубѣ вокругъ стола сидѣли съ капитаномъ прежніе пассажиры. Передъ ними былъ чай въ стаканахъ, передъ нѣкоторыми брага, а передъ офицеромъ въ чайникѣ стояла водка, которую онъ иногда разливалъ по рюмкамъ и, выпивая, закусывалъ огурцомъ. Рядомъ съ офицеромъ сидѣлъ владѣлецъ водки, кудрявый старикъ, крѣпкій и низкорослый, въ теплой поддевкѣ татарскаго покроя.

— Для меня вы очень интересный человѣкъ,—сказалъ, обращаясь къ нему, иностранецъ.—Все, что вы говорили о себѣ, такъ для меня неожиданно... Какъ ваше имя, чтобы я могъ называть васъ?

Старикъ крякнулъ, покосился на офицера и на учителя, потомъ взглянулъ на чиновника и, привставши, отрекомендовался:

— Прежде былъ переяславскій мѣщанинъ Николай Савичъ Щеголихинъ, а теперь, какъ уже доложилъ, являюсь ссыльнымъ Россійской имперіи... ограниченъ въ правахъ и могу присутствовать только на этой вотъ сторонѣ рѣки, а вонъ на той—не могу. Ѣду хотя по серединѣ того и другого, между двухъ береговъ, но контрабандой... И вотъ господинъ офицеръ меня давеча въ дрожь вогнали: думалъ, сейчасъ меня схватятъ за мою самосидку и—конецъ моему беззаконному путешествію. Оказалось же, господинъ офицеръ, вы пріятный человѣкъ и зла мнѣ нисколько не желаете. Давайте поэтому—еще по рюмочкѣ?

Офицеръ, видимо, захмелѣвшій, взялъ чайникъ, налилъ двѣ рюмки, потомъ поднялъ высоко надъ головою руку и, погрозивъ въ воздухѣ пальцемъ, сказалъ Щеголихину:

— Не болтайте пустого. Вы ничего не говорили, я ничего не слыхалъ. Пьемъ—и никакихъ разговоровъ!

Оба выпили. Офицеръ потрясъ головой и, обмакнувъ огурецъ въ солонку, откусилъ половину, а Щеголихинъ осторожно, почти нѣжно, отломилъ отъ чернаго хлѣба кусокъ корки, поднесъ его къ одной ноздрѣ, потомъ къ другой, понюхалъ и положилъ обратно.

— А васъ, позвольте узнать, какъ величаютъ?—спросилъ Щеголихинъ, глядя на иностранца ласковыми глазами.

— Меня зовутъ Хельснъ... Маркъ Хельснъ. Родина моя Норвегія, моя спеціальность—химія. Я давно знаю Россію, люблю ея языкъ, люблю русскихъ людей, кромѣ тѣхъ, которые сами называютъ себя „истинно-русскими“. Извиняюсь, я, можетъ быть, говорю рѣзко, но отъ этихъ словъ вѣетъ чѣмъ-то затхлымъ, недоброжелательнымъ, и я не люблю ихъ.

— Русскій языкъ—прекрасный языкъ,—похвалилъ Щеголихинъ, разсматривая на свѣтъ пустую рюмку и подвигая ее къ офицеру. — Особенно, знаете, ежели сердце излить, то ни на какомъ языкѣ такъ не объяснишься. Впрочемъ, я никакого языка и не знаю, кромѣ русскаго.

— Напримѣръ, нѣкоторыя слова у васъ удивительно красивы въ звуковомъ отношеніи,—продолжалъ Хельснъ,—возьмемъ хоть слово „заподозрѣнный“. Какъ звучитъ!

— Заподозрѣнный... Да; хорошо, — согласился учитель. — Никогда не обращалъ вниманія на это слово. А хорошо.

Щеголихинъ перебилъ его.

— Вотъ тоже прекрасныя есть слова... Напримѣръ: угрызеніе. Или, напримѣръ: подстрекательство.

— Есть и такія слова,—добавилъ чиновникъ,—какъ „перереформированный“, гдѣ самъ чортъ ногу сломаетъ, или не ногу, а языкъ.

На пустынномъ берегу вдалекѣ пылали костры. Увидѣвъ ихъ, всѣ замолчали и стали глядѣть.

Учитель поднялся вдругъ со стула, прошелся возлѣ компаніи взадъ и впередъ быстрыми шагами, нервно потирая руки и опять сѣлъ на прежнее мѣсто. Потомъ опять вскочилъ и, ни къ кому не обращаясь, проговорилъ почти нараспѣвъ:

— И подстрекательство, и заподозрѣнный, и перереформированный — все это слова, и только слова!.. И совѣсть и доблесть, идея и люди—все это тоже слова! И только одни слова. И разумъ, и вѣра—слова и слова!

— Даже самое слово „слово“ — есть тоже только слово!—добавилъ офицеръ.

Всѣ подняли головы.

— Вы правду сказали,—внезапно остановился учитель возлѣ Хельсна, не обращая вниманія на офицера.—Правду сказали, что у насъ, у русскихъ, много хорошихъ словъ. О, къ сожалѣнію, слишкомъ много хорошихъ словъ! Но слова такъ словами и остаются! А есть слова... хорошія! драгоцѣнныя!.. А чорта ли изъ того?..

Всѣ удивленно глядѣли на учителя и молчали. Только чиновникъ, предчувствуя что-то неладное, вслухъ пробормоталъ:

— Вотъ такъ исторія!

— Хуже географіи! — добавилъ офицеръ и весело поглядѣлъ на компанію.

Учитель не былъ расположенъ шутить и, пользуясь репликой, отвѣтилъ презрительно:

— Дѣло не въ географіи.

И вдругъ загорячился, возвышая голосъ почти до крика:

— А хоть бы и въ географіи!.. Я вашу сибирскую географію-то четыре года изучалъ. Четыре лучшихъ года изъ жизни. Тоже вотъ какъ и онъ,—указалъ онъ на Щеголихина,—находился между двухъ береговъ. Не знаю, какъ онъ, а я никому зла не сдѣлалъ. Можетъ быть, онъ виноватъ передъ обществомъ... можетъ быть на его душѣ есть грѣхъ...

Учитель невольно остановился на полусловѣ: Щеголихинъ измѣнился въ лицѣ и медленно вставалъ, опираясь обѣими руками о столъ.

— Простите, простите!—горячо крикнулъ учитель.— Я не хотѣлъ васъ обидѣть. Я не то сказалъ, что хотѣлъ.

Но Щеголихинъ уже началъ говорить. Онъ говорилъ тихо, почти шопотомъ, съ разстановкою и внятно, хотя волнуясь:

— Видите ли... нужда бываетъ на свѣтѣ... Нужда!.. Что же мнѣ дѣлать было: дочь свою что ли... родную дочь продать? Вотъ и сдѣлалъ я дѣло... Скверное одно дѣльце сдѣлалъ. И сдѣлалъ я его, а дочь свою... не продалъ! Утвердился во мнѣніи—и не продалъ!

Онъ опять сѣлъ. Руки у него дрожали, взглядъ растерянно блуждалъ по столу. Увидавъ чайникъ, Щеголихинъ налилъ себѣ въ рюмку, молча выпилъ и, понюхавъ обѣими ноздрями корку, положилъ ее обратно.

— А что вы изволили сказать „грѣхъ передъ обществомъ“,—добавилъ онъ,—такъ это все пустяки. Въ своемъ позорѣ ничего я особеннаго не вижу... Стѣсненіе для себя вижу, неудобство вижу, но чтобы душой скорбѣть—этого во мнѣ нѣтъ. Потому что я, извините, это самое общество-то... не уважаю!

Послѣднее слово онъ какъ-то выкрикнулъ, точно оно не сходило у него съ языка, какъ другія слова. Выкрикнулъ—и замолчалъ.

— Сказано смѣло,—улыбнулся чиновникъ.

Щеголихинъ поглядѣлъ на него и продолжалъ, но болѣе спокойно, болѣе увѣренно.

— Я человѣкъ неученый... За три фунта баранокъ меня учили... въ годъ за три фунта баранокъ. Но все же я кое-что зналъ въ свое время и любилъ кое-что. Людей выдающихся цѣнилъ и сейчасъ цѣню. А ваше общество, позвольте васъ спросить, какъ цѣнитъ своихъ лучшихъ людей?

— Памятники имъ строитъ.

— Памятники... Вотъ Ѳедоръ Михайловичъ Достоевскій вмѣсто памятника-то на каторгу угодилъ... Зимою, въ морозъ, въ рѣку лазилъ за топоромъ... падучую болѣзнь себѣ нажилъ... А ужъ то ли не человѣкъ былъ!

— Ну, это дѣло особое,—возразилъ чиновникъ.

— Пусть будетъ особое,—согласился Щеголихинъ.— Ну, а вотъ Никитинъ Иванъ Саввичъ... по бѣдности, дворъ постоялый держалъ... Это тоже дѣло особое? Щи варилъ да подавалъ всякимъ кулакамъ да извозчикамъ, водку откупоривалъ жуликамъ да всякимъ, можетъ, грабителямъ... горевалъ, страдалъ... А Суриковъ, Иванъ Захарычъ? Желудокъ съ голоду въ комокъ у него ссыхался, старое желѣзо на морозѣ пудами ворочалъ. Кольцовъ Алексѣй Васильичъ—свиней пасъ! Кричалъ онъ намъ, бѣдняга: „тѣсенъ мой кругъ, грязенъ мой міръ, горько мнѣ жить“. А мы вотъ все свое говоримъ: дѣло особое! Помяловскій — великій талантъ — спился съ тоски отъ вашего общественнаго мнѣнія, да такъ и погибъ ни за грошъ. Успенскій Николай— этотъ въ почлежныхъ домахъ пресмыкался, милостыню просилъ! Дочь родную плясать заставлялъ подъ гармонью; на улицѣ бритвой горло себѣ перерѣзалъ... Э-эхъ!! А вѣдь головы-то какія были! Души-то! Сердца-то! Писатели были, поэты! печальники наши!

— Откуда вы все это знаете? — удивился учитель.

— Да это ни для кого не секретъ. Это въ книжкахъ написано. Откуда всѣ люди объ этомъ знаютъ, оттуда знаю и я. Вычиталъ изъ книжекъ,—вотъ и знаю.

Онъ, видимо, волновался и безцѣльно шарилъ по столу обѣими руками, точно нащупывая себѣ опору.

— Шевченко былъ тоже — Тарасъ Григорьевичъ — малорусскій пѣвецъ... геній! талантъ! А какое гоненіе видѣлъ? Въ солдатахъ былъ не въ зачетъ, въ степи оренбургской да въ тамошнихъ крѣпостяхъ содержался, а ужъ про нужду его и говорить нечего! Какъ про него господинъ Некрасовъ великолѣпно выразился: „былъ оскорбляемъ онъ всякимъ невѣждою“... Вотъ они памятники-то ваши каковы!

Въ голосѣ его дрогнули слезы.

— Нравится вамъ людей хорошихъ травить, травить, а затравивши начать уважать: вотъ, молъ, какъ перестрадалъ человѣкъ! И хорошій былъ, и умный былъ, а—пострадалъ! Давайте, молъ, начнемъ его теперь почитать. А ужъ онъ-то, человѣкъ-то, давно умеръ, и ему на всѣ ваши почести, извините за выраженіе: тьфу! и больше ничего.

— Браво, браво, господинъ Щеголихинъ!—воскликнулъ Хельснъ, вставая и протягивая старику руку.—Я васъ искренно уважаю за эти слова. Вы правы: ваше общество любитъ жертвы и требуетъ себѣ жертвъ. Я, пришелецъ, чужой для васъ человѣкъ, но я не хотѣлъ бы быть сыномъ вашей родины, которую я, повторяю, очень люблю. Я люблю ее, но виню: вы не цѣните вашихъ лучшихъ людей, вы злорадствуете надъ ними, травите ихъ, любуетесь ихъ агоніей и величаете ихъ же, но уже умершихъ да заключенныхъ.

— Горе вамъ, книжники и фарисеи, лицемѣры,— тихо и грустно добавилъ Щеголихинъ, перебивая рѣчь Хельсна,—къ вамъ посылаются мудрые и пророки, а вы иныхъ убиваете, иныхъ будете бить и гнать изъ города въ городъ... Да!—вздохнулъ онъ—приходили и къ намъ хо-

рошіе люди, приходили открыть намъ свѣтъ истины, а мы...

— А вамъ надобно жертвъ, лишеній, чужихъ страданій и мукъ,—вновь заговорилъ горячо Хельснъ, обращаясь въ сторону чиновника,—для васъ это какое-то удовольствіе. Но я хотѣлъ бы васъ спросить: какъ смѣете вы требовать всего этого? Какъ смѣете вы насиловать чужую жизнь, чужую и лучшую? Надо шире дорогу вашимъ талантамъ, а не уже! Легче имъ жизнь, а не тяжеле! А вы умиляетесь: какъ претерпѣлъ! И заморивъ однихъ, требуете и сейчасъ отъ другихъ, чтобъ и они претерпѣли ненужныя гоненія. Для чего? Вы требуете отъ вашихъ талантовъ, чтобъ они были нищи, были въ ссылкѣ... Нѣтъ! Культурныя націи этого не желаютъ для своихъ лучшихъ гражданъ!

Щеголихинъ поправилъ его:

— У насъ, я вамъ скажу, очень много почетныхъ гражданъ. Особенно потомственныхъ почетныхъ, а настоящихъ-то гражданъ и нѣту. Нѣтъ ли у васъ взаймы, у варяговъ? Потому что земля наша велика и обильна, а гражданъ въ ней нѣтъ. Ужъ извините, ваше высокоблагородіе,—обратился онъ къ офицеру,—это говоритъ человѣкъ ссыльный...

— Для меня вы сейчасъ человѣкъ не ссыльный, а.. а пьяный!—пробормоталъ въ отвѣтъ офицеръ.

— Покорнѣйше благодарю! — улыбнулся Щеголихинъ,—дѣйствительно, вы сказали сущую правду. Только, не въ обиду будь сказано: водка —великое дѣло! За водку любой остякъ довезетъ меня въ челнѣ—куда хочу, хоть до Петербурга. Вотъ и вы, господа: не будь у меня водки, вы бы меня, можетъ, схватили: не ѣзди, молъ, человѣкъ безправный! Теперь же я чувствую себя обезпеченнымъ... Вотъ она сила-то какая заключается въ водочкѣ-то на русской землѣ!

III.

Ночь становилась все красивѣе: рѣка играла и золотилась и звѣзды точно купались въ ея зыби; черной зубчатой стѣной тянулись по берегу холмы; ни звука не доносилось съ земли, не видѣлось нигдѣ огня, не чувствовалось близости человѣка; только внизу подъ бортами шумѣла вода, которую билъ неустанно крыльями „Соколъ“ и тяжело раздвигалъ своею грудью.

Отвернувшись отъ компаніи, офицеръ сидѣлъ безъ фуражки, съ разстегнутымъ воротомъ мундира и глядѣлъ на луну, на рѣчныя стремнины, на берега. Одной рукой онъ приглаживалъ волосы, разлѣзавшіеся въ разныя стороны, а другой рукой придерживалъ холщевый мѣшокъ, только-что принесенный ему Душковымъ.

— Это гусли... простыя дешевыя гусли, — проговорилъ онъ, развязывая мѣшокъ и вытаскивая нѣчто похожее на большую трехъугольную чиновничью шляпу.— Два съ полтиной на Волгѣ были заплачены. А какъ поютъ!... — Эй, вы: гусли-мысли! — воскликнулъ онъ неожиданно и всѣмъ корпусомъ повернулся вновь къ компаніи. Онъ тронулъ струны ловкимъ и легкимъ движеніемъ пальцевъ и приложилъ ухо почти къ самымъ гуслямъ, любовно прислушиваясь къ ихъ голосу.

Засучивъ немного рукава мундира, онъ началъ что-то играть, что-то грустное, легкое, точно сказочное. Всѣ притихли.

Никто не ожидалъ, что этотъ офицеръ съ грубымъ лицомъ и грубымъ голосомъ, выпившій чайникъ водки, могъ извлекать изъ досчатаго ящика такіе звуки, полные тоски и вмѣстѣ нѣги. Даже лицо его преобразилось въ эти мгновенія; оно потеряло выраженіе грубости, власти и довольства, оно стало кроткимъ, задумчивымъ и яснымъ.

Всѣ съ удивленіемъ глядѣли на офицера, а онъ, не обращая ни на кого вниманія, игралъ и, видимо, наслаждался.

— Вотъ такъ такъ, ваше высокоблагородіе!—воскликнулъ Щеголихинъ, когда офицеръ положилъ ладони на замолкнувшія струны.—Вотъ такъ превращеніе случилось!

— А что?—спросилъ офицеръ.

— Да какъ вы играете-то удивительно!

— Что жъ такое: вѣдь вы вонъ за три фунта баранокъ учились, а про литераторовъ русскихъ того наговорили, что и мнѣ не все было извѣстно. А вѣдь я корпусъ кончилъ, юнкерское кончилъ... въ академію собирался... А теперь вонъ—конвойнымъ служу... каторжниковъ съ мѣста-на-мѣсто переправляю... Мало-ль чего въ жизни ни случается!

Онъ протеръ глаза, точно послѣ долгаго глубокаго сна, и добавилъ:

— А я, собственно говоря... композиторъ... въ душѣ. Музыка—моя жизнь. Только заниматься ею не приходится... И ноты, бывало, писалъ, и пѣсни сочинялъ... А теперь арестантовъ вожу... Отъ тюрьмы до тюрьмы вся моя дорога... Дайте-ка еще самосидочки: она, проклятая, помогаетъ.

Хельснъ, долго вглядывавшійся въ офицера, всталъ и заговорилъ, прерывая молчаніе, овладѣвшее было всѣми:

— Удивляюсь... Понять не могу... Очевидно, русскіе — не хозяева жизни. Всѣ вы какіе-то несчастные, безвольные... Точно у васъ у всѣхъ есть въ запасѣ еще нѣсколько жизней: не удалась одна — не бѣда: будетъ другая, и третья, и пятая... А вѣдь жизнь — только одна, и кромѣ насъ самихъ никто ей не хозяинъ.

— Э, всѣ у насъ здѣсь таковы,—вздохнулъ капитанъ.—У всѣхъ на душѣ лежитъ какой-нибудь камень. Гдѣ у насъ счастливые? Нѣтъ ихъ. У всякаго изломана

жизнь, у всякаго и на душѣ камень, и за пазухой камень. Всѣ мы плывемъ между двухъ береговъ: отъ одного берега отошли, а къ другому не подошли. Ну, и „плыветъ нашъ челнъ по волѣ волнъ“. Глупо, конечно. Но что жъ подѣлаешь!

Всѣ молчали; всѣ пріуныли. Всѣ задумались о жизни—о своей, о чужой и объ общей, о той жизни, которая связываетъ всѣхъ людей, бывшихъ и будущихъ, во что-то единое.

— Бывало, романсы писалъ... а теперь — тюремщикъ!.. — вздохнулъ офицеръ.—Бывало, въ Омскѣ у острога Достоевскаго плакалъ отъ чистаго сердца... а теперь...

— А я вамъ скажу,—перебилъ его Щеголихинъ,— я банямъ Коробейникова поклонялся въ Омскѣ!.. да! Банямъ, въ которыхъ Ѳедоръ Михайловичъ бывалъ арестантомъ... да! Поклонялся имъ—банямъ! Вотъ какъ! А вы давеча про памятники говорили. Вотъ и весь у насъ памятникъ великому человѣку: бани! Да и тѣ не такія ужъ, какъ въ его были время.

— Странно мнѣ, господа, очень странно все это слышать,—сказалъ Хельснъ съ искренней грустью.

— Да. Чуть не цѣлую ночь все сидимъ, да другъ другу на что-то жалуемся, — конечно, это странно, — согласился учитель.—Все жалуемся, да плачемся, точно евреи на рѣкахъ вавилонскихъ... Только нѣтъ у насъ какъ у нихъ, одного общаго Іерусалима: у насъ у всякаго свой личный Сіонъ! Всѣ мы разрознены и одиноки, потому мы такъ и безсильны. Нѣтъ у насъ одной общей вѣры, одного общаго дѣла, одного для всѣхъ Іерусалима... Жалкіе мы люди!

Онъ закрылъ рукою глаза и замолчалъ.

— Да. Продали мы чорту души!—подтвердилъ офицеръ и началъ разсѣянно перебирать струны, потомъ откашлялся, выкрикнулъ снова:—Эй, вы: гусли-мысли!— и тихо запѣлъ густымъ надтреснувшимъ басомъ:

„На рѣкахъ Вавилонскихъ
тамъ сидѣли мы и плакали,
когда вспоминали о Сіонѣ“..

Голосъ его былъ грубъ, и пѣлъ онъ плохо, но струны заливались своей особой пѣсней—печальной, и нервной и прекрасной.

„Тамъ плѣнившіе насъ требовали
отъ насъ словъ пѣсней и притѣснители
наши—веселья: пойте намъ изъ
пѣсней Сіонскихъ“...

Щеголихинъ слѣдилъ за мотивомъ съ напряженнымъ вниманіемъ и, уловивъ моментъ, подтянулъ офицеру высокимъ теноромъ, съ дрожью въ голосѣ:

— Како воспоемъ пѣснь Господню на земли чуждей!.

— Какъ намъ пѣть пѣсню Господню на землѣ чужой!—продолжалъ офицеръ, прислушиваясь къ Щеголихину.

И оба они—одинъ по-русски, другой по-славянски—продолжали псаломъ, то поджидая одинъ другого, то обгоняя. Выходило странно, но стройно.

Всѣ слушали. Но всякій о чемъ-то думалъ.

Всякому становилось больно за свою надломленную изъязвленную жизнь; всякому грезился свой Іерусалимъ, который онъ и оплакивалъ.

И всѣ мало-по-малу стали чувствовать другъ въ другѣ случайныхъ и чужихъ людей, у которыхъ не было до сихъ поръ и теперь еще нѣтъ общаго Сіона, нѣтъ общаго единаго горя, нѣтъ общаго Вавилона. И радость, и плѣнъ, и надежды—у всякаго свои.

Хельснъ понялъ это и ему стало жаль ихъ. Онъ хотѣлъ встать и крикнуть имъ:

— Проснитесь!

Но прежде чѣмъ онъ успѣлъ сказать, чиновникъ громко зѣвнулъ и проговорилъ лѣниво:

— Пойдемте... спать!

ЧЕРНОЮ НОЧЬЮ.

I.

Вася скучалъ.

Да и всѣмъ было скучно. Отъ скуки всѣхъ одолѣвалъ сонъ; дремали люди, дремали лошади и собаки, дремали мухи. Впрочемъ, мухи, какъ это съ ними иногда бываетъ, вдругъ взметывались цѣлой стаей въ воздухѣ съ жужжаніемъ и суетой, а черезъ минуту вновь успоканвались гдѣ-нибудь въ крапивѣ или на мусорѣ.

Въ городѣ было тихо. Не торопясь брели иногда по досчатымъ тротуарамъ прохожіе; на углу гдѣ-нибудь стоялъ извозчикъ, цѣлыми часами не двигаясь съ мѣста; задумавшись и позѣвывая, сидѣли у лавокъ торговцы, а на площади, передъ управой, дежурилъ „ундеръ“ Мосеичъ, равнодушный къ своей судьбѣ и ко всему земному. Службу свою онъ признавалъ почетной, но не практичной: для чего онъ стоитъ въ самомъ дѣлѣ?.. Его смѣнный товарищъ, такой же ундеръ, какъ и онъ, говорилъ, что стоятъ они здѣсь „для жуликовъ“, но Мосеичъ возражалъ:

— Что ты, что ты! Господь съ тобой! Безъ насъ-то развѣ кто на живого человѣка полѣзетъ! — и былъ вполнѣ убѣжденъ, что стоятъ они здѣсь вовсе „не для жуликовъ“, а больше „для безобразія“.

Всѣмъ было скучно, но всѣ давно уже свыклись съ этимъ и не замѣчали ни скуки, ни жизни. Только рѣчка Серебрянка весело и радостно блестѣла на солнцѣ, опоясывая узкою лентою городъ, извиваясь туда и сюда, точно не зная, куда течь. Иногда, въ весенніе вечера, раздавался надъ нею басъ Прокофьева, молодого почтоваго чиновника:

Волга, Волга! Весной многоводной
Ты не такъ заливаешь поля,
Какъ великою скорбью народной
Переполнилась наша земля...

Дикій голосъ его несся вдоль по водѣ, перелеталъ черезъ рѣчку въ рощу, гдѣ было кладбище, и оттуда, точно изъ загробнаго міра, возвращало ему эхо послѣднее его полуслово. И долго потомъ молча наслаждался Прокофьевъ всякими мечтаніями и былъ вдохновленъ и счастливъ. Ему казалось, что только шагъ одинъ отдѣляетъ его отъ хорошей, нормальной жизни; ему хотѣлось видѣть людей, у которыхъ болѣе нѣтъ ни бремени, ни „проклятой работы“, у которыхъ есть любимый трудъ, какъ часть ихъ жизни и души.

— Но только это—неосуществимо!—махалъ онъ въ заключеніе рукой, и уходилъ спать взволнованный, печальный и покорный.

По вечерамъ же заливались по городу своеобразной пѣсней колотушки сторожей, чѣмъ позже, тѣмъ рѣже и когда, наконецъ, городскіе часы били двѣнадцать, ударяя медленно, точно увѣсистымъ кулакомъ по мѣдному тазу, все было уже тихо и сонно въ городѣ; спали сторожа, спали и воры, которыхъ здѣсь, кажется, никто никогда не встрѣчалъ.

Отъ скуки по дѣламъ, судья здѣсь былъ очень строгъ, а исправникъ очень угрюмъ; онъ не любилъ ни бумагъ, ни письма и избѣгалъ протоколовъ, но зато, если уже доводилось писать, то не жалѣлъ словъ. Однажды казенный лѣсничій встрѣтилъ на площади му

жика, который шатался и бормоталъ:—„Я непамятливъ... ваше... ваше... непамятливъ я“... И, наступивъ лѣснячему на мозоль, упалъ въ грязь и тутъ же заснулъ. Возникло дѣло, и, чтобы не было въ другой разъ никому повадно, непамятливаго мужика судили согласно протокола:

— За пьянство, буйство и за разбитіе стеколъ.

Время отъ времени среди улицъ бѣсились собаки, убѣгали въ деревни грызть другихъ собакъ и околѣвать въ оврагахъ. Потомъ опять наступало долгое затишье, скука и запустѣніе.

Люди, въ большинствѣ, здѣсь были степенные, знали толкъ въ дьяконахъ, колоколахъ и облаченіяхъ, ѣли по средамъ и пятницамъ капусту, благо ея много росло, жили лѣтъ по девяносто и сходили въ могилы съ молчаливымъ недоумѣніемъ: неужто все уже кончено?..

А когда наступали лѣтнія бѣлыя ночи, то становилось уже не только скучно, но—жутко. Было видно все точно днемъ, только было все пусто и мертво, не было ни солнца, ни красокъ въ небѣ, ни мухъ, ни людей, не было никакихъ звуковъ; казалось, что время остановилось и уже нѣтъ надежды ни на что, нѣтъ ни будущаго, ни прошлаго, нѣтъ ни людей, ни времени. Ни одинъ предметъ не окрашивался, ничто не бросало никакой тѣни; все было одинаково свѣтло, и сѣро, и безжизненно.

Если-бъ въ такую ночь кто-нибудь проснулся и услыхалъ бы шаги на улицѣ или голосъ, то подумалъ бы непремѣнно:

— Вася бродитъ...

А если-бы спросить, кто такой Вася, этотъ сынъ церковной просвирни, то всякій, навѣрно, отвѣтилъ бы то же, что и другіе:

— Такъ... безъ послѣдствій.

Про бездомныхъ собакъ обыкновенно отвѣчали не иначе:

— Что за собака?

— Такъ... безъ послѣдствій

И про городской общественный садъ говорили тоже, что онъ „безъ послѣдствій". Въ немъ было еще тише, чѣмъ на кладбищѣ; только каркали вороны и вили среди зелени деревъ свои черныя гнѣзда; людей почти не было видно, хотя скамейки были испещрены вензелями, непристойными надписями и затоптаны грязными ногами, а молодые побѣги кустарниковъ и верхушки молодыхъ елокъ бывали нерѣдко обломаны и тутъ же валялись, никому ненужныя, вызывая въ Прокофьевѣ улыбку ненависти и презрѣнія.

— Нѣтъ, — вздыхалъ онъ, останавливаясь въ изумленіи. — Нѣтъ, здѣсь ничто не можетъ быть осуществимо!

II.

За Васей утвердилось въ городѣ мнѣніе, что онъ человѣкъ непутевый, не то дурачокъ, не то простачокъ, котораго можно было дразнить, шутить надъ нимъ и даже издѣваться. Но Васѣ нравилось, когда его дразнили: онъ видѣлъ въ этомъ какое-то движеніе; собиралась кучка людей, всякій старался что-нибудь выдумать позабавнѣе; одни хохотали, другіе шумѣли — и въ общемъ было довольно весело. Происходило это обыкновенно у Спаса на Торгу, гдѣ сидѣлъ въ лавкѣ купецъ Иголкинъ, главный выдумщикъ всѣхъ шутокъ; тутъ же, неподалеку, стояла почтовая контора, откуда, заслышавъ шумъ, могъ во всякую минуту появиться Прокофьевъ и холоднымъ словомъ своимъ испортить все дѣло. Появлялся онъ внезапно, точно изъ земли выросталъ, и громко, но равнодушно, стыдилъ всѣхъ за забавы надъ Васей. Онъ говорилъ, что человѣкъ съ человѣкомъ должны быть братьями и интересы людей должны быть непремѣнно высокими.

— Но только среди васъ все это неосуществимо! —

вздыхалъ онъ въ заключеніе и уходилъ. Если это случалось днемъ,—уходилъ въ почтовую контору, а если вечеромъ, то на рѣчку,—пѣть про широкую Волгу, „про лихихъ воеводъ, про недобрыхъ бояръ и неправыхъ судей“... А смущенный Иголкинъ между тѣмъ оправдывался передъ Васей:

— Что жъ, Вася, мы вѣдь съ тобой ничего... Мы вѣдь съ тобой по-благородному...

Прокофьевъ не умѣлъ произносить словъ, какъ ихъ обыкновенно произносятъ, и выговаривалъ ихъ такъ, какъ они пишутся: не „езыкъ“, а—языкъ, не „субота“, а—суб-бота, не „харошо“, а—хорошо.

— Зачѣмъ вы позволяете имъ надъ собой смѣяться да языкомъ трепать?—говорилъ онъ иногда Васѣ.

Тотъ виновато улыбался и отвѣчалъ:

— Скучно.

— Ну, взяли бы книжку да почитали, да дѣломъ бы занялись, а то стыдно безъ дѣла ходить. И матери вашей было бы полегче.

Отъ такихъ разговоровъ Васѣ дѣлалось еще скучнѣе. Вообще онъ не любилъ своего заступника. То ли дѣло купецъ Иголкинъ! Тотъ весело хлопнетъ въ ладоши и крикнетъ на всю улицу:

— Вася! А, Вася!.. Ты бы женился!

И Вася зналъ, что сейчасъ послѣдуетъ какая-нибудь шутка, надъ которой всѣ станутъ хохотать,—но какая?.. Этого предугадать онъ не могъ, и бывалъ заинтригованъ.

— Хочешь, посватаю? И невѣста есть подходящая. Приходи ужотко часа въ четыре въ лавку. Только одѣнься по-жениховски.

И Вася приходилъ. Въ лавкѣ уже тѣснился народъ; всѣ поздравляли его съ „начатіемъ дѣла“; затѣмъ отворяли двери къ невѣстѣ, и изъ-за прилавка выбѣгала коза въ розовыхъ лентахъ.

Поднимался хохотъ и крики:

— Съ законнымъ бракомъ!

— Горько!

— Совѣтъ да любовь!

И Вася сторонился, смущенный, осмѣянный и все-таки довольный. Но недолго ликовалъ, обыкновенно, Иголкинъ: появлялся Прокофьевъ.

— Опять надъ несчастіемъ человѣческимъ потѣшаетесь! Что же это?

Иголкинъ стыдился и затихалъ.

— Этакъ намъ всѣмъ,—добавлялъ Прокофьевъ,—ежели мы не способны ни на что иное, остается, самое лучшее, встать на четвереньки и разбѣжаться по лѣсамъ!

Послѣ этого дѣлалось въ улицѣ опять тихо и скучно; такъ скучно, что хоть умирай! Прогремитъ по городу гдѣ-нибудь телѣга, продребезжитъ пролетка—и опять наступаетъ тишина; взбрехнетъ илѝ взвоетъ собака—и снова молчаніе.

Васѣ, главное, не хватало въ жизни шума, продолжительнаго шума, и это удручало его. День-за-днемъ и годъ за годомъ одна и та же тишина, одно и то же оцѣпенѣніе. Никогда Вася не видывалъ въ людяхъ порыва страсти, ужаса или радости: все было тускло въ жизни, скромно, прилично. Даже Прокофьевъ сердился безъ порыва, безъ шума, обдавалъ всѣхъ холодомъ—и только. За это онъ и не любилъ его. Не любилъ, онъ также и городского голову: про этого почтеннаго скромнаго старика, всегда ходившаго неслышно въ резиновыхъ калошахъ и съ зонтикомъ, разнесли слухъ, будто онъ любитель барабаннаго боя и дома у себя тайно играетъ на барабанѣ.

— Какъ можно тайно играть на барабанѣ?—удивлялся Вася и ходилъ долго подъ окна къ головѣ прислушиваться, но ничего не слыхалъ.

Говорили, будто тотъ обилъ всю комнату толстымъ солдатскимъ сукномъ и въ окна вставляетъ суконныя ставни, чтобы звуки не разносились. Вася повѣрилъ

слухамъ, и съ того же дня пересталъ уважать представителя города.

— Ну, его: онъ тихій!

Желаніе вызвать шумъ никогда не покидало Васю. Шумъ и онъ—были родные; онъ и тишина—были заклятыми врагами. Вася даже не уважалъ свою мать за то, что она пекла просфоры, дѣлала такое тихое, никого не касающееся дѣло. Ужъ лучше бы она была вдовой звонаря,—думалось Васѣ. Но и звонъ не удовлетворялъ его. Церковные колокола были очень хорошіе, но звонили въ нихъ всегда равнодушно; красивые звуки ихъ были безстрастны и холодны, все равно, что рѣчи Прокофьева.

— Въ эти бы колокола—да въ набатъ!—мечталъ Вася, зажмуривая въ ужасѣ глаза.—Ухъ! было бы дѣло.

III.

Ясная сухая осень надвигалась медленно, широко и спокойно. Дни становились короче, ночи чернѣе и глуше. Вянущіе захолодавшіе листья всѣ еще держались на деревьяхъ, сѣрые, красные, желтые; на солнцѣ они рдѣли яркими пестрыми красками, на вѣтру не шелестѣли уже, но таинственно и сухо шуршали, отрывались легко отъ стеблей и кружась, летѣли по теченію воздуха, ниже и ниже, и ложились обильно на улицы, на дворы и на крыши.

Иногда Вася взлѣзалъ на колокольню и глядѣлъ оттуда на площадь, на городъ и на окрестныя дали, проникнутыя солнцемъ и дымкой; глядѣлъ на вереницы домовъ, на собакъ, глядѣлъ и внизъ на церковный дворъ; тамъ—прижавшись къ колокольнѣ вплотную, стояла богадѣльня, гдѣ жили старухи, жилъ звонарь—его пріятель, жила когда-то и Васина мать; ее давно уже прогнали отсюда и выстроили здѣсь квартиру для дьякона. И Вася, когда курилъ, бросалъ съ колокольни окурки папиросъ всегда на эту крышу.

Здѣсь часто вспоминалъ онъ и дьякона, съ его красивыми, точно женскими, локонами, и подгородную помѣщицу, Марью Захаровну, про которую говорили, будто она влюблена въ этого дьякона безнадежно; гдѣ дьяконъ—тамъ и она. И вотъ въ прошломъ году дьякону надоѣло это и онъ ее отучилъ: послѣ молебна, выходя изъ церкви и увидѣвъ возлѣ себя Марью Захаровну, дьяконъ вздохнулъ, поднялъ къ небу глаза и при всемъ народѣ громкимъ голосомъ, стараясь басить, проговорилъ:

— Не вижу особу желательную, а вижу опять особу нежелательную!

И съ тѣхъ поръ помѣщицу никто болѣе въ городѣ не видалъ.

Вася любилъ стоять здѣсь на высотѣ. Онъ стоялъ, глядѣлъ и думалъ, да изрѣдка пошвыривалъ окурки на нижнюю крышу, стараясь угодить въ трубу.

Здѣсь передъ нимъ весь городъ былъ какъ на ладони: вонъ—лѣсной складъ, вонъ сѣнная площадь, аптека, а здѣсь—почта, лавка Иголкина; возлѣ церкви домъ священника, а вонъ выше всѣхъ домовъ—сѣрая досчатая каланча, гдѣ цѣлый день ходитъ пожарный и поглядываетъ на городъ такъ же, какъ глядитъ теперь Вася. Ему тоже все видно: улицы и дома, рѣчку и широкія поля за городомъ, и деревню...

— Вотъ бы ударить въ набатъ!—соблазнялся Вася, Сходя съ колокольни и бредя домой, онъ нерѣдко останавливался и задумывался возлѣ одного маленькаго домика, необитаемаго, съ заколоченными ставнями и съ длиннымъ сѣрымъ заборомъ. Во всю свою жизнь, то есть почти двадцать лѣтъ, Вася зналъ этотъ домикъ всегда заколоченнымъ и необитаемымъ; зналъ и его пять вывѣсокъ: однѣ прибиты къ стѣнѣ, другія къ воротамъ; на однѣхъ написано, что домъ принадлежитъ Сельдину, что онъ застрахованъ и свободенъ отъ постоя, а на другихъ—что „сей домъ

продается“ и что „князьямъ входъ во дворъ воспрещается“.

Вася зналъ, о какихъ „князьяхъ“ говорила строгая вывѣска,—это о татарахъ съ узлами, ходившихъ по домамъ продавать „шурумъ-бурумъ“: матеріи и халаты. Зналъ Вася и самого Сельдина, жившаго въ другомъ домѣ, на другой улицѣ. Его ненавидѣлъ и боялся весь городъ: онъ давалъ деньги подъ векселя и подъ дома. Это былъ холодный жестокій старикъ съ удивительно-благодушной улыбкой на исхудаломъ безусомъ лицѣ; казалось, что онъ всегда привѣтливо улыбается; но это улыбался не онъ: это начиналъ уже улыбаться черепъ своей вѣчной улыбкой.

Съ улыбкой выслушивалъ старикъ неисправнаго должника, умолявшаго о пощадѣ, съ улыбкой же отвѣчалъ ему своей обычной поговоркой:

— Кошка спитъ, собака спитъ, курица спитъ, а проценты не спятъ!

Съ улыбкой онъ отбиралъ имущество отъ должника, и, улыбаясь, пускалъ его по міру:

— Иначе, милый, самъ безъ подошвы останусь.

Этотъ безмолвный домъ, гдѣ, на Васиной памяти, никогда не свѣтились огни, никогда не струился дымъ изъ трубъ, никогда не отколачивались ставни и не отворялись ворота, давно привлекалъ вниманіе Васи.

— Людей тутъ нѣтъ... никого нѣтъ,—нерѣдко думалъ онъ, глядя на домъ съ колокольни. И затѣмъ загадочно улыбался и долго стоялъ, точно прислушиваясь къ чему-то, и глаза его оживлялись.

Однажды Вася перелѣзъ черезъ заборъ, спрыгнулъ въ садъ и, шурша опавшими листьями, пошелъ къ крыльцу дома. Ему дѣлалось жутко; долгое отсутствіе здѣсь людей наполняло призраками весь дворъ и садъ и строенія; чудилось, что кто-то идетъ за нимъ по пятамъ, казалось, что кто-то спрятался за уголъ кухни и подсматриваетъ за Васей. И онъ съ бьющимся серд-

цемъ останавливался и оглядывалъ дворъ и опять шелъ, замедляя шаги, озираясь и вслушиваясь.

Возлѣ крыльца, подъ жолобомъ, стояла старая разрушающаяся кадка; казалось, что сію минуту въ ней спряталась чья-то голова и чьи-то глаза сквозь щели встрѣчаютъ пришельца острымъ внимательнымъ взглядомъ.

Вася поднялъ позеленѣвшій обломокъ кирпича, потомъ поднялъ другой—и задумался. Потомъ размахнулся и швырнулъ во всю силу кирпичомъ по боку кадки. Раздался тупой короткій звукъ. Вася видѣлъ, какъ разломился на-двое кирпичъ, оставивъ на кадкѣ красное сухое пятно, видѣлъ какъ крыса метнулась откуда-то и ушла подъ стѣну въ невидимую лазейку.

Вася размахнулся еще разъ, ударилъ въ кухонное окно и, когда зазвенѣли стекла, присѣлъ, поднялъ еще камень и приготовился къ бою. Никто, однако, не вышелъ, никто не откликнулся.

— Никого,—вздохнулъ Вася и подошелъ къ разбитому окну.

Въ кухнѣ было темно и пусто; чернымъ пятномъ виднѣлась отворенная дверь куда-то внутрь, на полу былъ виденъ только-что брошенный кирпичъ и вразсыпную бѣлѣли дребезги стеколъ.

Вася просунулъ въ пробоину руку, отстегнулъ изнутри заржавленный крючокъ и распахнулъ раму. Изъ жилища повѣяло плѣсенью и холодомъ. Онъ влѣзъ на подоконникъ и спрыгнулъ въ кухню; захрустѣло подъ ногами стекло, зашуршали мыши по сору и скрипнули старые гвозди въ сырыхъ половицахъ.

Зажавъ въ кулакѣ камень, Вася пошелъ осматривать домъ, пробираясь ощупью по стѣнамъ. По дворовой линіи въ комнаты проникалъ свѣтъ сквозь стекла, затянутыя пылью, плѣсенью и паутиной, а по уличной сторонѣ свѣтились въ окнахъ лишь червонные тузы прорѣзанные въ ставняхъ, затворенныхъ и заколочен-

ныхъ тесомъ. Здѣсь было мрачно и душно, какъ въ склепѣ, было холодно и страшно; вѣтеръ гудѣлъ по трубамъ и иногда схватывалъ, точно руками, ставню, потрясалъ ее—и сухіе дробные звуки зловѣще разносились по пустымъ комнатамъ.

Когда Вася вылѣзъ изъ кухни снова на дворъ и послѣ темноты увидѣлъ залитый солнцемъ садъ, то протеръ глаза и свободно вздохнулъ. Нѣсколько минутъ стоялъ онъ неподвижно среди двора, прислушиваясь къ вольному шуму деревьевъ, къ шуршанію сухой разноцвѣтной листвы, потомъ засмѣялся и весело пошелъ къ забору, черезъ который и перебрался на улицу.

— Дай-ка, матушка, пообѣдать немножко,—сказалъ онъ, вернувшись домой.

Просвирня встрѣтила его добрымъ печальнымъ взглядомъ и, оставляя работу, спросила:

— Гдѣ ты, горе мое, шатаешься цѣлыми днями? Въ пыли ты весь, какъ мельникъ, или какъ трубочистъ какой. Гдѣ это тебя такъ вымазили?

Вася отряхнулъ пыль съ груди и угрюмо отвѣтилъ:

— На колокольню лазилъ... Голубей ловилъ.

— Голубей ловилъ,—грустно повторила мать и, вздохнувши, молча махнула рукой.

— Поди, поѣшь,—добавила она тихо и покорно.

Вася пообѣдалъ. Давно уже не ѣлъ съ такимъ аппетитомъ. Ему было весело и легко. Онъ ѣлъ и улыбался.

Послѣ обѣда онъ пошелъ къ звонарю и попросилъ у него ключъ отъ колокольни.

— На что тебѣ ключъ?—лѣниво спросилъ звонарь.

— Табачокъ намедни наверху забылъ,—слукавилъ Вася.—Покурить хочется.

Онъ отперъ замокъ колокольни и, не отмыкая щеколды, чтобы дверь не распахнулась отъ вѣтра, воз-

вратилъ ключи звонарю и сейчасъ же вернулся домой, и не раздѣваясь легъ спать, когда солнце стало садиться въ тучи, похожія на волны и на горы, на старинныя башни и на зубчатыя стѣны.

IV.

Ночь шла холодная, черная, тревожная. Съ темнаго востока на потемнѣвшій западъ ползли высоко въ небѣ обрывки облаковъ; однѣ вереницы ихъ тонули на горизонтѣ, другія ихъ догоняли, третьи всплывали за ними вслѣдъ—и по всему небосклону двигалась какая-то воздушная рать въ одну и ту же сторону, къ одной и той же цѣли, двигалась беззвучно, среди темноты, высоко надъ лѣсами, надъ рѣкой, надъ городомъ и полями, а внизу сухая листва садовъ трепетала, шуршала и осыпалась подъ безпрерывной тягой осенняго вѣтра.

Городъ спалъ.

Спали всѣ, кромѣ Васи. Только онъ одинъ, спрыгнувъ съ забора и захлебываясь отъ волненія, бѣжалъ среди улицы отъ безлюднаго дома, спотыкаясь и оглядываясь; бѣжалъ безъ шапки, съ засученнымъ правымъ рукавомъ, разорваннымъ о заборные гвозди. Онъ торопился къ Спасу—на колокольню.

Отпертая съ вечера дверь отворилась, знакомая винтовая лѣстница съ ошмыганными досками порожковъ заскрипѣла подъ быстрыми шагами; порывъ вѣтра, точно оторвавшійся отъ чего-то кусокъ, упалъ сверху и со свистомъ помчался внизъ, крутясь по гладкимъ стѣнамъ колокольни, какъ по трубѣ, вылетѣлъ въ распахнутую дверь и шарахнулся о церковную паперть, а другой—встрѣчный—заметая съ улицы сухой соръ, подкрался по низу къ двери, и вдругъ, загудѣвъ, бросился кверху по той же лѣстницѣ, хлопая дверью, вздымая пыль, и, перегнавъ Васю, скользнулъ по звонкой и чуткой мѣди колоколовъ, слился на высотѣ и

просторѣ съ новымъ широкимъ порывомъ—и унесся въ поля.

Вася вышелъ на площадку точно изъ подземелья: сначала показалась его голова, руки, потомъ туловище, и наконецъ, весь онъ очутился на высотѣ подъ сквознымъ куполомъ, среди тьмы и вихря, среди досчатыхъ подставокъ, веревокъ и колоколовъ.

Прежде всего онъ взглянулъ на небо, въ ту сторону, гдѣ находился домъ Сельдина, потомъ закрылъ за собою створчатый лазъ, потомъ подошелъ къ парапету, облокотился на него и въ нетерпѣніи прошепталъ:

— Скоро ли?

И самъ себѣ мысленно отвѣтилъ:

— Скоро.

Онъ сидѣлъ, не сводя глазъ съ одной точки.

Онъ ни о чемъ не думалъ въ это время; онъ слушалъ, какъ билось его сердце, но не слыхалъ вѣтра, не ощущалъ холода, не видѣлъ уличныхъ фонарей, которыхъ желтыя рѣдкія пятна тянулись по городу среды тьмы безпорядочными узорами.

Вдругъ Вася вскочилъ и схватился одной рукой за веревку, привязанную къ колоколу, а другой за воротъ рубашки.

На фонѣ чернаго неба взвились снопомъ красныя мелкія искры, обрисовались во тьмѣ силуэты трубъ и гребень крыши, которую внезапно освѣтилъ прозрачный розовый таинственный паръ. И вдругъ изъ трубы выросло что-то похожее на кудрявое молодое дерево, черное и багровое, и куда-то свалилось оно—точно растаяло, а за нимъ сейчасъ же выросло другое такое же, потомъ вырвался огненный столбъ и погасъ; а за нимъ опять взлетѣла шапка красныхъ, черныхъ и сѣрыхъ кудрей и вновь полетѣли искры, шире и шире падая на крышу, вправо и влѣво. И опять все почернѣло и утонуло во тьмѣ. И опять снопы искръ, мѣшаясь съ дымомъ, взвились, но уже болѣе высоко, и

посыпались книзу, но уже шире, и полетѣли въ сторону вмѣстѣ съ вѣтромъ.

— Пора?—шепталъ Вася.

— Нѣтъ!—отвѣчалъ онъ себѣ.

— Пора?

Вася дрожалъ. Рука схватывала веревку то одну, то другую, а глаза все устремлялись на красныя пятна дыма и искръ.

Все еще было тихо въ городѣ. Все спало.

И вотъ—прорѣзая это молчаніе, обрывая сны и пугая, вдругъ загудѣлъ колоколъ.

Первые звуки его были торжественны и рѣдки, какъ благовѣстъ. Но потомъ они стали чаще и рѣзче и тревожнѣе—и безъ умолка понеслись надъ спящимъ городомъ, одинъ на смѣну другому.

— Донъ! Донъ! Донъ!—мысленно приговаривалъ Вася вслѣдъ каждому удару.

Онъ стоялъ во мракѣ подъ колоколомъ и билъ по немъ огромнымъ желѣзнымъ языкомъ, которымъ онъ размахивалъ во всю свою силу; руки его крѣпко вцѣпились въ веревку, точно впились въ нее. Не помня себя, не видя ничего вокругъ, ничего не слыша, онъ съ дикой радостью и страстью размахивалъ тяжелымъ слиткомъ и твердилъ только одно:

— Донъ—донъ!..—Донъ—донъ!

Уже не благовѣстъ гудѣлъ, а набатъ. Тяжелые, зловѣщіе звуки неслись съ колокольни и разлетались вокругъ, по вѣтру и противъ вѣтра.

Съ поблѣднѣвшимъ лицомъ, со смѣющимися глазами, Вася звонилъ, обливаясь холоднымъ потомъ,—а передъ нимъ огромными клубами вырывался изъ дома черный дымъ, взвивалось пламя и искры летѣли вверхъ и сыпались въ стороны. Зарево окрашивало въ багрянецъ тучи и освѣщало страшнымъ колеблющимся свѣтомъ улицы, стѣны домовъ и бѣгущихъ людей.

Увидѣвъ эту бѣгущую испуганную толпу, Вася вы-

пустилъ изъ рукъ веревку, шагнулъ къ парапету и сталъ глядѣть внизъ. Желѣзный языкъ, не ударяя уже, праздно болтался внутри колокола, медленно сокращая размахи, но колоколъ еще не затихъ и гудѣлъ надъ головою, и Васѣ казалось непонятнымъ, почему всѣ эти люди бѣгутъ молча, словно нѣмые, но потомъ до слуха его мало-по-малу началъ доноситься съ улицы гулъ, стали слышны крики, стукъ колесъ и трескъ пожара. Тогда онъ сѣлъ на барьеръ и заслушался: сколько было шума!

— Ничего!—думалъ Вася про сельдинскій домъ.— Людей тамъ нѣтъ... Ничего: пусть себѣ!

Домъ горѣлъ.

Вѣтеръ подхватывалъ широкое пламя и, крутя его, взвивалъ въ высь. Изъ оконъ высовывались, какъ змѣи, желтые языки огня; было видно, какъ пожарные въ мѣдныхъ каскахъ ползкомъ пробирались по крышѣ, били по ней чѣмъ-то и сбрасывали во дворъ листы желѣза, иногда совсѣмъ скрываясь въ дыму. Вася любовался ихъ храбростью; онъ даже не ждалъ, что могутъ быть такіе люди, которые изъ-за чужого дѣла рискуютъ жизнью. Другіе пожарные, освѣщенные заревомъ и огнемъ, цѣлой толпой хлопотали надъ чѣмъ-то непонятнымъ среди двора: иногда они стояли на колѣнахъ и что-то торопливо дѣлали, иногда всѣ вскакивали и волокли длинную мягкую трубу, изъ которой била на крышу вода; потомъ вода начинала бить куда-то въ бокъ и въ разныя стороны, не попадая на крышу, и тогда пожарные опять всѣ собирались въ кучу и что-то заматывали, махали руками, кричали и опять волокли трубу, и опять заливали огонь.

Весь городъ проснулся. Всполошились и встревожились всѣ. Вонъ какіе-то люди — лицъ не видать — взбираются на кровли, выползая изъ слуховыхъ оконъ, и стоятъ, освѣщенные заревомъ, и глядятъ всѣ въ одну сторону.

— Струсили!.. Зашевелились!..

Острая радость наполняла Васино сердце. И радость, и гордость: это онъ—хозяинъ праздника! Это онъ наполнилъ черную глухую ночь звономъ и голосами, ужасомъ, трескомъ и заревомъ!.. Желаніе сбылось: все оживилось, проснулось и затрепетало.

Высоко надъ городомъ стоялъ широкій огненный столбъ изъ искръ и дыма, накренившись по вѣтру—и въ улицахъ было свѣтло, какъ на зарѣ.

На сельдинскіе сараи падали головешки, и Вася видѣлъ, какъ задымились вдругъ эти сараи и вскорѣ стояли всѣ въ пламени, засыпая искрами и головнями сосѣдній домъ, который тоже вдругъ задымился и вспыхнулъ.

Пламя и черный дымъ повалили изъ крышъ и изъ оконъ, и голоса, гудѣвшіе по улицамъ, покрылись вдругъ новымъ и громкимъ раскатомъ крика:

— Аааа!!.. — точно вскрикнули разомъ всѣ люди, и крикъ этотъ на минуту прокатился волною надъ всѣмъ городомъ.

Вася не ожидалъ этого. Онъ зла не хотѣлъ никому. Ужасъ, смятеніе и какая-то безумная радость обуяли вдругъ его сердце. Онъ ахнулъ вмѣстѣ съ толпою и, не зная, что теперь сдѣлать, бросился опять подъ колоколъ, схватилъ веревку и, что было силъ, началъ снова раскачивать тяжелый языкъ, бить имъ по колоколу и что-то кричать. Своего голоса онъ не слыхалъ даже самъ за ревомъ мѣди, но, волнуясь и торжествуя, продолжалъ все чаще и чаще звонить и, надрываясь, кричать:

— Пожаръ!.. Пожаръ!..

V.

Время шло.

Ночь была красна, черна и страшна.

Точно порохъ отъ пороха воспламенялись дома отъ

горѣвшихъ домовъ. Вся подвѣтренная часть города была въ огнѣ. Пламя ревѣло, какъ море. Красное небо, красныя бѣгущія тучи окрашивали на далекое пространство поля и рѣку въ кровавый цвѣтъ, — а горизонты были черны и утопали во мглѣ.

Жарко пылали лѣсные дворы; пылала аптека, что-то лопалось, словно стрѣляя; сѣнные склады тоже вдругъ вспыхнули: широкое полымя съ ревомъ взвилось высоко надъ ними въ воздухѣ и разорвалось и разлетѣлось въ клочки, падая по сторонамъ и зажигая черезъ улицы чердаки, солому и ветошь.

Кругомъ колокольни пылалъ городъ. Все горѣло, рушилось и дымилось. Вася глядѣлъ безумными немигающими глазами на бѣду и видѣлъ, какъ пламя жрало все на пути своемъ, не щадя ни бѣднаго, ни невиннаго.

Пылали дома и заборы, горѣли сады и досчатые тротуары и тумбы, горѣло имущество, вытасканное на улицы. Среди общаго гула и рева онъ слышалъ вопли и стоны; онъ видѣлъ бѣгущихъ изъ деревень крестьянъ съ топорами и ведрами, съ коромыслами и ломами.

Онъ видѣлъ, какъ внизу, подъ колокольней, распахнулись желѣзныя церковныя двери—и сѣдовласый батюшка въ епитрахили легкой походкой сухого стараго подвижника, презирающаго жизнь, вышелъ на порогъ церкви, навстрѣчу пламени, высоко держа надъ головою крестъ. Вася видѣлъ, какъ шевелилась, точно прыгала, его узкая сѣдая бородка и открывался и закрывался его беззубый ротъ; молился старикъ или утѣшалъ несчастныхъ—не было слышно, но онъ осѣнялъ крестомъ бушевавшее огненное море и воздѣвалъ руку, устремляя къ багровому страшному небу и крестъ, и глаза. Онъ стоялъ на порогѣ церкви, а напротивъ, черезъ дорогу—на его глазахъ—загорался его маленькій сѣрый домикъ, надъ которымъ въ страхѣ метались его любимцы—бѣлые чистые голуби.

Вонъ — подбѣжалъ къ священнику купецъ Иголкинъ, упалъ на колѣна передъ нимъ и бьетъ себя кулакомъ по груди и что-то кричитъ. Должно быть — сгорѣло все.

А вотъ и Прокофьевъ стоитъ, опустивъ голову; онъ завернутъ сверху во что-то черное, а ноги у него въ одномъ бѣльѣ: значитъ, тоже—сгорѣлъ.

Вонъ — расталкивая народъ, бѣжитъ дьяконъ въ длинномъ подрясникѣ; въ рукѣ у него подушка, а на плечѣ сидитъ и держится за его лохматую голову дѣвочка.

Чья она?.. Онъ бездѣтный.

Давно ли этотъ дьяконъ важной поступью выходилъ на амвонъ, умѣлъ гордо закидывать голову и разсыпать по плечамъ своимъ холеные локоны,—а теперь онъ бѣжитъ съ чужимъ ребенкомъ и съ чьей-то подушкой, спасая то и другое отъ огня и гибели, прокладывая себѣ локтями дорогу; подрясникъ его распахивается на вѣтру и изъ-подъ полъ виднѣются крѣпкія согнутыя колѣна и высокіе сапоги; народъ разступается передъ нимъ, и онъ бѣжитъ куда хочетъ—косматый и страшный, какъ левъ.

И мясникъ Охряповъ, первый въ городѣ кулакъ и пьяница, тоже бѣжитъ за дьякономъ и тащитъ на спинѣ дѣтей и узлы. Своихъ дѣтей и у него нѣтъ. Значитъ, спасаетъ чужихъ...

Старики и мальчишки, и женщины—всѣ работаютъ и спасаютъ, всѣ рубятъ, гасятъ, выбрасываютъ на улицы вещи, таскаютъ ихъ въ безопасное мѣсто,—одинъ только Вася глядитъ съ высоты на весь этотъ адъ, не принимая участія въ общей борьбѣ.

Въ это время, когда по всему городу метались въ страхѣ люди, овцы и лошади, онъ стоялъ, облокотившись на рѣшетку, и глядѣлъ на все строго и холодно, а въ душѣ его трепетала скрытая дикая радость.

Вѣтеръ несся ему въ лицо, обдавалъ дымомъ,

гарью и жаромъ. Искры летѣли уже на колокольню, падали на полъ и на досчатыя подставки, пролетали насквозь въ амбразуры и мчались куда-то дальше. Вася провожалъ ихъ равнодушнымъ взглядомъ, точно мимо него летѣли мухи.

Онъ думалъ не объ искрахъ. Онъ думалъ: что же это случилось? Что сдѣлалось съ его тихимъ городомъ, съ тихими улицами, съ тихими людьми?

Давно ли всѣ эти мужики, которые сейчасъ, спасая чужое добро, лѣзутъ въ самый огонь, разворачивая топорами стѣны и расшвыривая бревна, давно ли они, пріѣзжая на клячахъ изъ селъ, стояли терпѣливо на базарѣ цѣлые дни безъ почина. Давно ли тѣснилъ ихъ мясникъ Охряповъ, покупая у нихъ поросятъ и гусей за безцѣнокъ,—а теперь и мясникъ этотъ ломится тоже въ огонь и въ опасность, вытаскивая чужихъ дѣтей и чужія пожитки.

Вася глядѣлъ на все, не вѣря глазамъ своимъ, не довѣряя слуху...

Впервые почувствовалъ онъ въ самомъ себѣ жизнь. Точно туманъ, наполнявшій его голову и сердце, вдругъ всколыхнулся, и сквозь волокна его проглянуло солнце — настоящее солнце: яркая, огромная жизнь со всѣми ея радостями, страстями, съ горемъ и борьбою. Онъ впервые прозрѣлъ: онъ увидѣлъ людей, тѣхъ же людей, сонныхъ, вздорныхъ и вялыхъ. Но какъ они всѣ преобразились!

Вася чувствовалъ, что преобразился и онъ: настоящая жизнь только-что начиналась для него съ этой минуты.

Вдругъ что-то тяжелое ударило Васю по головѣ.

Онъ отшатнулся. Это клубъ чернаго ѣдкаго дыма ворвался на колокольню, и горящая головня опалила ему волосы.

Онъ началъ наскоро затаптывать головню. Обжигая пальцы, онъ поднялъ ее и хотѣлъ вышвырнуть за

барьеръ, но новый клубъ дыма съ гуломъ и ревомъ взвился снизу и отбросилъ Васю назадъ; искры ударили его по лицу и влѣпились въ куртку, въ волосы, въ рукава. Онъ едва успѣлъ потянуть въ себя воздухъ, какъ взвился опять чернымъ облакомъ дымъ, посыпались опять головни, задымились доски пола и веревки, а искры полетѣли на него дождемъ, паля лицо и шею, и руки; ѣдкая гарь не давала вздохнуть.

Искры жгли и палили, дымъ слѣпилъ и душилъ. Вася метнулся по площадкѣ туда и сюда — повсюду жгло; не было воздуха. Все почернѣло.

Ощупью, по памяти, онъ отыскалъ лазъ и распахнулъ створы люка,—но оттуда, съ лѣстницы, вырвался тоже дымъ и снова отбросилъ его своимъ удушьемъ, Вася потерялся.

Задыхаясь, бросился онъ подъ колоколъ; здѣсь было легче, подъ этимъ мѣднымъ шатромъ.

Вася жадно глоталъ воздухъ вмѣстѣ съ гарью какъ утопающій глотаетъ воду въ надеждѣ дышать.

А пламя взлизывалось уже снизу до парапета, дымъ окутывалъ все, душилъ и гналъ—и Вася выскочилъ наугадъ изъ-подъ колокола, весь обожженный, горячій, задыхающійся и, ничего не видя и не соображая, началъ пятиться отъ искръ, отъ пламени, отъ дыма и смерти.

А смерть и дымъ шли на него, окружали его, и онъ пятился отъ нихъ съ закрытыми глазами, простирая къ нимъ руки и отворачивая лицо.

Спасенія не было; онъ былъ прижатъ къ парапету.

Нужно было дышать. Дышать было нечѣмъ. Вася вскочилъ на рѣшетку. Воздуха не было. Голова мутилась; силы оставляли его.

— Не умирать же!—блеснуло въ его умѣ.

Но думать было некогда.

Ища воздуха и спасенія, погибая и все еще надѣясь, Вася стоялъ на зыбкой рѣшеткѣ, держась рукой

за толстую каменную стѣну, стоялъ, шатаясь, надъ пропастью, окруженный огнемъ и дымомъ, стоялъ задыхаясь, не думая уже ни о чемъ, кромѣ одного глотка воздуха.

Воздуха не было: смерть останавливала сердце.

И убѣгая отъ палящаго огня и отъ смрада, Вася отпустилъ руку отъ стѣны и бросился съ колокольни внизъ—на улицу, въ новые клубы дыма и искръ, метавшіеся гдѣ-то далеко внизу, гдѣ тоже витала смерть, но гдѣ, между огнемъ и высотою, былъ еще воздухъ, была еще, хотя на одно мгновеніе—жизнь.

КОСЦЫ.

I.

Позднимъ іюньскимъ вечеромъ со станціи желѣзной дороги пришли въ имѣніе шесть мужиковъ въ темныхъ полосатыхъ рубашкахъ; они принесли на спинахъ какіе-то свертки, мѣшки и палки. Какъ знакомые, они прошли прямо на скотный дворъ, сказались сторожу и начали устраиваться сейчасъ-же на ночлегъ подъ навѣсомъ, гдѣ лежали старыя колеса, стружки отъ строекъ, опилки и мелкая щепа. Они разгребли наскоро въ этомъ хламѣ себѣ мѣста, раскинули верхнюю одежду въ родѣ постелей, поѣли хлѣба съ водой, помолились и легли спать. У иныхъ подстилки были изъ жесткаго колючаго самодѣльнаго сукна, а у иныхъ изъ жидкаго облинявшаго овечьяго мѣха.

Вечеръ былъ душный. Во дворѣ было трудно дышать, а подъ навѣсомъ было жарко какъ въ банѣ, но мужики, уставшіе съ дороги, заснули сейчасъ, же, какъ только легли, и спали крѣпко и сладко, пока не взошло солнце.

По опыту они уже знали, что предстояла хорошая погода, солнечная, жаркая, удобная для сѣнокоса, и они называли между собой эту погоду по-своему:

— Ведра будутъ.

По утренней росѣ они всѣ вмѣстѣ бродили часа два по лугамъ, оглядывая травы, оцѣнивая и хваля бу-

дущее сѣно, и боясь ошибиться въ разсчетѣ. Уже нѣсколько лѣтъ подъ рядъ они пріѣзжали сюда на покосъ, получая за работу съ десятины, и всякій разъ сомнѣвались—не косятъ-ли они больше чѣмъ сказываетъ управляющій.

— Какъ-бы не промахнуться!

Имѣніе было пригородное, небольшое, и косили они всего только десятинъ двадцать. Каждый разъ они убѣждались, что управляющій показываетъ вѣрно, но каждый годъ, когда они вновь пріѣзжали, у нихъ возникало сомнѣніе.

— Мы къ тебѣ, Иванъ Карлычъ,—здравствуйте!—встрѣтили они управляющаго поклономъ и поснимали картузы.

Дѣло было налаженное, условія и размѣры опредѣленные, и долго толковать было не о чемъ.

— Ну что-жъ,—отвѣтилъ управляющій.—Косить, такъ косить. Когда начинаете?

— Да хошь сейчасъ: ведры будутъ; чего ждать?

— Начинайте.

Управляющій пошелъ дальше, а косцы вернулись подъ навѣсъ, наладили косы, захватили бруски, взяли чайникъ съ водой и пошли на работу.

— Правильный человѣкъ,—говорили они объ управляющемъ.—Семи часовъ еще нѣтъ, а ужъ онъ вонъ куда забѣжалъ. Этотъ не дрыхнетъ, даромъ что нѣмецъ.

Поваливъ траву по небольшому холму, косцы спустились на торфяную поляну.

Трава здѣсь росла высокая, сочная, подернутая росой; мѣстами она цвѣла мелкими медвянными цвѣтами бѣлыми и желтыми, точно серебристыми и золотистыми кистями, въ которыхъ таились зеленые квадратные жуки съ радужными отливами крылъ; мѣстами росла осока и узкая, острая трава, которую косцы называли „пырей“. Подъ ногами ихъ проступала вода, мочила имъ лапти, и вся поляна

по которой они шли другъ за другомъ, широко взмахивая по травѣ косами, походила на мокрую упругую подушку. Солнце сіяло, зажигая искрами росистую траву, дружно и весело шуршали косы, и зелень ложилась грядами на зеленое лоно.

Иногда мужики останавливались; одни промачивали изъ чайника водой горло, другіе натачивали брусками косы и вновь становились всѣ въ ряды и, ловко присѣдая, смахивали охапку за охапкой высокую траву. Воротники ихъ рубашекъ были отстегнуты и за рубашками угломъ виднѣлись ихъ голыя крѣпкія груди съ темными шнурками и темными маленькими крестиками по загорѣлому тѣлу. Дружно и мягко звенѣли косы, врѣзываясь бѣлыми полосами въ гущу зелени, и трава падала ницъ съ ея цвѣтами, жуками и мошками, а солнце вялило ее, и она дѣлалась вскорѣ сѣрой, безжизненной и ароматной.

Хлюпала подъ ногами топкая почва; солнце палило кожу; тѣло становилось влажнымъ и мочило рубашку, а вѣтеръ холодилъ спину и сушилъ ее, и было пріятно дышать чистымъ воздухомъ; было пріятно и сознавать, что всякій шагъ, пробитый косою, стоитъ денегъ, которыя такъ нужны въ далекой деревнѣ, и косцы работали съ охотой и съ надеждой, почти съ упрямствомъ. Другъ за другомъ они шагали большими шагами впередъ, смахивая передъ собой вполукружіе траву, и чѣмъ дружнѣе кипѣла работа, тѣмъ веселѣе было у каждаго на душѣ.

Отдыхъ наступилъ только въ полдень.

Отъ конторы управляющаго раздался звонокъ, и всѣ понимали, что это полдень и что пора обѣдать.

Косцы остановились.

II.

Возлѣ скотнаго двора, на опушкѣ березовой рощи, выбравъ тѣнистую лужайку, косцы расположились обѣ-

дать. Всѣ шестеро сидѣли въ кругу на травѣ, черпая ложками изъ общей миски варево; тутъ-же возлѣ нихъ дымилась и горѣла вязанка сучьевъ.

Костеръ былъ маленькій, еле видный, и огонь краснѣлъ въ немъ почти незамѣтно среди солнечнаго полудня, и легкій дымокъ, свѣтлый, жидкій и прозрачный скромно разсѣивался невысоко надъ травой. Всѣ шестеро сидѣли поджавъ подъ себя ноги; и въ фигурахъ ихъ, и въ сѣро-лиловыхъ рубашкахъ, и въ маленькомъ кострѣ, и въ жидкомъ дымѣ было что-то скромное и незамѣтное.

Скрестивъ на груди руки, въ красной кумачевой рубашкѣ и блестящихъ длинныхъ сапогахъ, стоялъ передъ ними Семенъ, ихъ деревенскій землякъ, молодой парень, еще недавно такой-же сѣрый работникъ, ходившій съ ними на покосы, сидѣвшій, бывало, за такимъ же костромъ, а теперь—хозяйскій конюхъ.

Среди темныхъ рубахъ и лаптей его кумачъ и сапоги виднѣлись, точно козыри, и лицо его лоснилось и волосы были расчесаны, кудрявы и жирны, а у земляковъ они были спутаны, лица матовы и подъ загаромъ, и всѣ они сами казались похожими другъ на друга.

Семенъ стоялъ и глядѣлъ, какъ они ѣдятъ, какъ суютъ деревянными ложками себѣ за щеки что-то жидкое и водянистое, и разспрашивалъ ихъ про деревню, про родныхъ и знакомыхъ.

— Тетка Марина здорова-ли?

— Слава Богу. Только вотъ по веснѣ несчастіе вышло: мать схоронила.

— Человѣкъ старый,—какъ бы одобрилъ Семенъ,—пора и честь знать.

— Извѣстное дѣло; пора.

— А Егоръ Пѣтуховъ какъ живетъ?

— Плохо. Сгорѣли они. Совсѣмъ голый остался; безъ лаптей.

— Всякому своя судьба, — опять будто одобрилъ конюхъ.

— Извѣстное дѣло; какъ Богъ.

— А вы все по имѣніямъ ходите?—помолчавъ, спросилъ Семенъ и закурилъ папиросу.

— По имѣніямъ. Люди мы вольные; привыкли. Нонѣ здѣсь, завтра тамъ. Отмахали свое, да и къ дому.

Въ этихъ словахъ Семенъ почувствовалъ себѣ упрекъ, но сдержался и снова спросилъ:

— А какъ урожай предвидится?

— Самъ знаешь, земля наша скудная: песокъ одинъ. Чего она дастъ? Ничего. Ходимъ артелью на чужіе покосы, а къ осени по домамъ; на цѣлую зиму сами себѣ хозяева. Мы люди вольные.

Семенъ и безъ того зналъ, что они дѣйствительно вольные люди: пришли, накосили сѣно и—дальше. Нѣтъ надъ ними нигдѣ хозяина. И это опять задѣло его.

— У насъ тоже вольготно,—отвѣтилъ онъ имъ:—запрегъ, отпрегъ, только и дѣловъ! Задалъ овса, напоилъ и опять вольный человѣкъ... И жалованіе круглый годъ, и харчи, и дрова...

Но все это ему даже самому не казалось убѣдительнымъ и онъ повторилъ то, что считалъ самымъ удачнымъ:

— Главное: запрегъ—отпрегъ, только и дѣловъ!

Одинъ изъ косцовъ, покрутивъ головой, замѣтилъ на это, безъ укора, безъ задней мысли:

— А ты въ родѣ какъ бы... дармоѣдъ сталъ, Семенъ.

— Кто дармоѣдъ? Запрегъ, отпрегъ, нешто это не работа?—горячо возразилъ тотъ, вдругъ переставая хвалиться бездѣльемъ.—Напримѣръ, экипажъ... вымыть, вычистить, чтобы все было какъ слѣдуетъ. Это не телѣга деревенская: крылья лаковыя, надо ихъ съ керосиномъ, чтобы не трескались, гляпецъ надо имѣть. Сбруя

и прочее—все на виду. Вы нешто понимаете? По вашему, скотина и скотина, а у насъ лошади заводскія, у одной даже медаль есть; серебряная. Вотъ ты—человѣкъ; а медаль у тебя есть? А у нашей лошади, даромъ что скотъ,—медаль! Надобно тоже понимать, про что разговариваешь, — закончилъ онъ наставительно.

— Извѣстное дѣло, —согласились косцы,—безъ понятія нельзя.

Всѣ задумались о чемъ-то и замолчали.

Костеръ погасалъ; миска была уже пуста; косцы позѣвывали и тамъ же, гдѣ сидѣли, начали ложиться и закидывать за головы руки.

Солнце пекло. Но здѣсь, въ тѣни, было хорошо и прохладно. Морилъ сонъ. Гудѣли въ воздухѣ комары, въ травѣ стрекотали кузнечики, жужжали пчелы; въ далекомъ голубомъ небѣ плавно носился ястребъ; на скотномъ заржала лошадь; кто-то всхрапнулъ—и черезъ минуту передъ Семеномъ лежало шесть тѣлъ, точно убитыхъ.

Онъ постоялъ, поглядѣлъ на нихъ, и встряхнувъ волосами, побрелъ домой.

Солнце жгло на полянѣ его непокрытую голову, жгло спину сквозь кумачъ. По пути летали безшумно и легко пестрыя бабочки, а въ травѣ вокругъ все стрекотало и звенѣло на тысячи голосовъ. Но онъ не видѣлъ и не слышалъ ничего. Въ его мысляхъ были лошади и медаль, родная далекая деревня и вольные земляки.

III.

Недѣли двѣ пробыли здѣсь косцы. И торфяную поляну, и луга окосили они, и положили траву по перелѣсью и по оврагамъ.

Погода стояла жаркая и сѣно сохло; косцы воро-

шили его и навьючивали на воза. Вставали они по утрамъ часа въ три, и по росѣ и прохладѣ косили, въ полдень спали, а къ вечеру убирали готовое. Они работали когда хотѣли и по вечерамъ ложились рано на ночлегъ.

Во время ихъ ужина, каждый вечеръ подходилъ къ нимъ Титъ, бородатый мужикъ съ строгимъ лицомъ, ночной сторожъ, въ тепломъ армякѣ и съ дубинкой въ рукахъ. Онъ, какъ и Семенъ, былъ ихъ землякомъ, изъ одной деревни, и тоже, бывало, ходилъ съ ними на вольные покосы по чужимъ имѣніямъ, косилъ ежегодно и здѣсь. Управляющій предложилъ ему, какъ и Семену, остаться въ работникахъ и Титъ согласился. И вотъ уже годъ, какъ онъ служитъ. Здѣсь выгоднѣй и спокойнѣй. Расходовъ почти никакихъ; все жалованіе онъ посылаетъ въ деревню, въ семью, не бродитъ изъ имѣнія въ имѣніе и считаетъ себя человѣкомъ разумнымъ. Онъ уже не молодъ и работать такъ, какъ товарищи, не позволяютъ силы, да и для семьи его здѣшняя работа вѣрнѣе и прибыльнѣй.

Каждый вечеръ, когда зажигался костеръ, и косцы варили ужинъ, Титъ подходилъ къ нимъ мрачный, серьезный, и разспрашивалъ ихъ о своей семьѣ, о деревенскихъ знакомыхъ и, успокаиваясь отвѣтами, уходилъ на свое дежурство, всю ночь наединѣ съ самимъ собою обдумывая все то-же, о чемъ говорилъ съ земляками.

Эти двѣ недѣли протекли для него незамѣтно и весело. Онъ услыхалъ обо всемъ, о чемъ думалъ, даже о курахъ и свиньяхъ, о цѣнѣ за помолъ зерна, о томъ, что въ сосѣдней деревнѣ увели у знакомаго лошадь,— точно самъ побывалъ на родинѣ, и теперь передъ нимъ возникали картины, которыми онъ любовался, и мысленно разбирался во всякой мелочи, даже разговаривалъ иногда съ сторожевой собакой среди тишины и безлюдія ночи.

— Что, Шарикъ? что, сукинъ сынъ?—шепталъ онъ. ласково трепля по головѣ собаку, вилявшую передъ нимъ хвостомъ.—Вотъ такого-же, какъ ты, у насъ въ деревнѣ зимой волки съѣли... да.

Двѣ недѣли прошли незамѣтно. А между тѣмъ сараи наполнились до крышъ свѣжимъ сѣномъ и даже на лугу передъ скотнымъ навьючили огромный сѣрый стогъ, точно круглую избу. Косцы торопились; имъ предстояла работа еще въ двухъ имѣніяхъ.

И вотъ насталъ день разсчета. Управляющій позвалъ ихъ въ контору, написалъ таблицу и выдалъ деньги.

— Когда уходите?

— Да нынче въ ночь: чего дожидаться? Ведры будутъ, надобно косить.

— Ну, прощайте.

— Прощай, Иванъ Карлычъ. Спасибо за работу. Живы будемъ—на тотъ годъ опять придемъ.

— Приходите.

Веселые, пряча за пазуху деньги, косцы вернулись на скотный. Они наскоро собрали свои мѣшки и палки, и на прощанье развели послѣдній костеръ.

По прежнему они сидѣли вокругъ общей миски и хлебали изъ нея варево; по прежнему дымились и горѣли сучья, и вечернее небо было ясно.

Подошелъ Титъ. На немъ уже былъ сторожевой армякъ и въ рукахъ дубинка, а слѣдомъ за нимъ шелъ Шарикъ и глядѣлъ среди блѣдныхъ сумерекъ на косцовъ еще издали зелеными фосфорическими зрачками.

Опять поговорили о деревнѣ; Титъ посылалъ всѣмъ поклоны, наказывалъ передать семьѣ, что онъ здоровъ и доволенъ, и что зимой, когда другимъ нечего дѣлать, онъ все равно получаетъ жалованіе и харчи, и считаетъ поэтому мѣсто прибыльнымъ и хорошимъ.

— Куда теперь Богъ несетъ?—спрашивалъ Титъ, угрюмо оглядывая бывшихъ товарищей.

— А къ княгинѣ, — отвѣчали косцы. — Надо и ей удовольствіе сдѣлать: ведры будутъ: чего ждать? Отмахаемъ, да и къ домамъ!

Свечерѣло.

Съ торфяныхъ луговъ уже поднимался бѣлый паръ, когда по дорогѣ къ станціи, слегка пыля ногами, потянулись шесть сѣрыхъ фигуръ, съ длинными палками на плечахъ и съ сѣрыми мѣшками за спиной.

Они шли неправильной линіей, то другъ возлѣ друга, то одинъ за однимъ, точно осенніе журавли улетающіе въ теплыя страны...

Распахнувши долгополый армякъ и опираясь крѣпко на палку, долго глядѣлъ имъ вслѣдъ Титъ, и длинная широкая борода его мягко распласталась по груди.

Шарикъ стоялъ съ нимъ рядомъ и глядѣлъ на дорогу, нюхая вечерній воздухъ и чуя въ немъ что-то близкое Титу, котораго онъ считалъ самымъ главнымъ человѣкомъ на свѣтѣ.

Земляки затерялись, наконецъ, въ сѣрой дали; Титъ молча повернулся и побрелъ къ усадьбѣ.

На ступенькахъ рабочей избы сидѣли молодыя дѣвушки—пололки, посмѣиваясь и грызя подсолнухи, а возлѣ нихъ съ папиросой стоялъ Семенъ, лихо разставивъ врозь ноги въ высокихъ сапогахъ и подпирая кулаками бока.

— Что, Титъ? — спросилъ онъ, видя его угрюмую молчаливую фигуру.—Улетѣли журавли-то?

— Ушли,—отвѣтилъ тотъ мрачно Семену, подавляя свою грусть и свое сочувствіе къ нимъ.—Къ княгинѣ пошли. А потомъ домой.

— Домой?.. Пустыя щи хлебать.

— Пустыя, да вольныя!—возразилъ Титъ.—А, можетъ, и не пустыя...

И онъ пошелъ медленной тяжелой походкой въ садъ, къ хозяйскому дому. На этотъ разъ онъ дѣйствительно не смыкалъ глазъ во всю ночь, нигдѣ не при-

валивался и не спалъ, какъ обыкновенно. Онъ бродилъ по саду съ дубинкой и съ колотушкой въ рукахъ, и когда его одолѣвали мысли, онъ начиналъ трясти свою колотушку изо всей силы, оглашая дробнымъ стукомъ усадьбу и вѣря, что всѣ лихіе люди боятся этого стука.

Ему мерещились новыя мѣста и новые люди, и земляки, вернувшіеся на зиму домой послѣ тяжелой вольной работы...

И когда, долго спустя, въ сентябрѣ, надъ имѣніемъ высоко въ небѣ пролетали журавли съ веселымъ клекотомъ, Титъ долго и пристально глядѣлъ имъ вслѣдъ, закинувъ голову и чутко прислушиваясь.

Ему вспоминались косцы и родная деревня, а на душѣ становилось грустно и радостно.

И Шарикъ вилялъ хвостомъ возлѣ него, стуча по его армяку и сочувствуя отъ всего своего сердца самому главному человѣку въ мірѣ.

ПРИЗРАКИ.

I.

Стояла ранняя весна, и рѣки только-что вскрылись. Московскія улицы были еще грязны и мокры, только на бульварахъ было суше и чище и воздухъ былъ душистѣе, потому что деревья начинали набирать свѣжія клейкія почки.

Въ одинъ изъ такихъ весеннихъ вечеровъ, когда трудящійся людъ, покончивъ работу, разбредается во всѣ стороны Москвы—кто отдыхать, кто веселиться,—на бульваръ къ Чистымъ прудамъ пришелъ низенькаго роста молодой человѣкъ лѣтъ 26, съ выпуклой грудью и горбатой спиной; одѣтъ онъ былъ въ ватное короткое пальто и мягкую поярковую шляпу. Нюхая душистый воздухъ и озираясь на мелькавшую мимо публику, онъ прошелъ медленной походкой до конца бульвара, потомъ повернулъ назадъ и, сѣвъ на скамью и опершись обѣими руками на трость, задумался.

Ему было грустно.

Мимо него проходили взадъ и впередъ всякіе люди—военные, мастеровые, штатскіе и студенты, женщины и дѣвушки; всѣ они были веселы и жизнерадостны, и ему было странно это. Ему думалось, что у каждаго изъ этихъ людей непремѣнно есть свои огорченія, или что нибудь такое, что подтачиваетъ имъ жизнь и радость. Но—нѣтъ: одни проходили смѣясь и шутя, другіе ожи-

вленно разговаривали, третьи тихонько напѣвали какую нибудь пѣсенку. Всѣмъ было, очевидно, хорошо и не грустно.

Многіе изъ тѣхъ, на кого онъ смотрѣлъ, оглядывались и на него въ свою очередь, и когда они, продолжая разговаривать, улыбались или смѣялись и проходили своимъ путемъ, ему дѣлалось больно, точно смѣялись именно надъ нимъ и надъ его уродствомъ, и онъ чувствовалъ себя все хуже и хуже, все болѣе смѣшнымъ, болѣе одинокимъ и несчастнымъ.

Въ сущности, его не презиралъ никто, но ему всегда казалось, что люди, дурные и хорошіе, презираютъ его и ненавидятъ за то, что онъ такой низенькій, несчастный, съ такой выпяченной впередъ грудью и выпяченной взадъ спиной. Сознаніе своего уродства убивало его; оно грызло его тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе онъ сознавалъ, что онъ вовсе не плохой человѣкъ, по крайней мѣрѣ не хуже тѣхъ многихъ щеголей, которые провожали его пренебрежительными взглядами и улыбками, когда онъ проходилъ по улицѣ. Развѣ не всѣ люди имѣли одинаковое право надѣть, напримѣръ, модную шляпу. Но когда онъ, горбунъ, входилъ въ магазинъ за шляпой, онъ уже предчувствовалъ, предугадывалъ нѣкоторую насмѣшку. Онъ стѣснялся всякаго, съ кѣмъ приходилось имѣть разговоръ о туалетѣ,— „уродъ,—а туда же: рядиться!“ Эта всегдашняя предполагаемая мысль со стороны торговцевъ отравляла ему всякое удовольствіе.

Звали его Павломъ Петровичемъ Гривенниковымъ, и хотя фамилію свою онъ склоненъ былъ производить отъ слова „грива“, все-таки втайнѣ негодовалъ на возможность производства ея отъ „гривенника“, и это обижало его.

Ни происхожденіемъ, ни образованіемъ онъ также не могъ похвалиться. Про его отца говорили въ шутку, что онъ кормился за счетъ таракановъ и крысъ. Не-

смотря на шутку, это было и правдой: отецъ Павла Петровича въ изобиліи изготовлялъ какія-то средства, которыми морили крысъ и таракановъ, и такимъ образомъ, дѣйствительно, жилъ и богатѣлъ „за крысиный счетъ“—какъ про него говорили; и на эти-то деньги, нажитыя отъ моренія крысъ и таракановъ, воспитывали, растили, кормили и учили Павла Петровича. Это его мучило теперь, но поправить дѣло уже было не въ его власти.

II.

Вечеръ дѣлался красивѣе. Мягко свѣтились звѣзды на небѣ, всходила не полная, но ясная луна, и по бульвару ложились легкія прозрачныя тѣни отъ деревьевъ, скамеекъ и отъ проходящихъ людей. Еще не было ни настоящей весны, ни настоящей прелести въ природѣ, но уже чувствовалось что-то нѣжное, призывное и властное; казалось, что вокругъ пахнетъ свѣжей землей, рыхлой и влажной, пахнетъ травой, свѣжими древесными почками, готовыми развернуться, и хотѣлось унестись куда-то далеко на просторъ, чтобы вздохнуть полною грудью и крикнуть на весь міръ: „хорошо жить на свѣтѣ!“—а затѣмъ опять погрузиться въ тину и слякоть городской повседневной жизни, сумрачной и унылой.

Публики на бульварѣ становилось все меньше; спѣшащихъ и озабоченныхъ почти уже не встрѣчалось; бродили и сидѣли преимущественно по-парно и говорили не громко. Мимо Павла Петровича проходили иногда такія пары, и онъ долго глядѣлъ имъ вслѣдъ задумчиво и ревниво, а въ ушахъ звенѣло какое-нибудь незначительное слово, брошенное на ходу, но казавшееся ему важнымъ, теплымъ и полнымъ значенія.

Го-луб-ка мо-я
Умчим-ся въ кра-я...

вдругъ донеслось до него, и онъ встрепенулся. Два тоненькихъ голоска чуть слышно, почти беззвучно, протянули эти слова возлѣ него,—и было что-то трогательное въ этомъ унисонѣ.

Мимо Павла Петровича проскользнули двѣ легкія женскія фигуры; онѣ шли, взявшись подъ руки и, склонивъ другъ къ дружкѣ головы, напѣвали. Черезъ нѣсколько минутъ тѣ-же фигуры прошли снова, но уже не пѣли, а смѣялись, и опять такъ же дружно и тихо. И такъ же тихо и дружно онѣ исчезли, какъ появились, какъ пѣли и какъ смѣялись.

Онѣ исчезли, а Павелъ Петровичъ остался болѣе одинокимъ и болѣе несчастнымъ, чѣмъ раньше. Онъ не видалъ даже ихъ лицъ, но почему-то онѣ воображались ему прекрасными и обаятельными. Онъ позавидовалъ ихъ молодости и, главное, ихъ дружбѣ,—и уже ни о чемъ другомъ не могъ больше думать, какъ объ этихъ двухъ дѣвушкахъ и о своемъ горбѣ.

Онъ всталъ и пошелъ въ ту сторону, куда скрылись его незнакомки; ему хотѣлось ихъ увидать, и вскорѣ онъ увидалъ ихъ сидящими на скамьѣ возлѣ пруда; такъ же тѣсно онѣ сидѣли одна возлѣ другой, освѣщенныя луннымъ свѣтомъ, и такъ же тихонько и дружно напѣвали что-то чуть слышное, почти неуловимое. Когда же онъ поровнялся съ ними и взглянулъ на нихъ, стѣсняясь и робѣя, боясь показаться ловеласомъ, онѣ плотнѣе прижались другъ къ дружкѣ, и Павелъ Петровичъ вмѣсто пѣсни услыхалъ смѣхъ.

Сердце въ немъ заклокотало.

— Стыдно!—крикнулъ онъ имъ, раздражаясь и уже не владѣя собою,——стыдно смѣяться надъ несчастіемъ человѣка!.. Стыдно!

Слезы сдавили ему горло, и онъ, вздрагивая всѣмъ тѣломъ и закрывши рукою лицо, почти побѣжалъ впередъ, не чувствуя за собой ни вины, ни правоты, чув-

ствуя лишь обиду, горькую, острую, которой была переполнена вся его жизнь.

— Голубчикъ! голубчикъ!—раздалось за его спиной.— Мы не надъ вами смѣялись. Не сердитесь! Мы не надъ вами!

Павелъ Петровичъ остановился. Обѣ дѣвушки стояли уже возлѣ него и, какъ раньше онѣ дружно и тихо пѣли и смѣялись, теперь такъ же дружно и тихо успокаивали его, а онъ растерянно глядѣлъ на ихъ юныя встревоженныя лица, на блестящіе глаза, на тонкія фигуры,—и обида его остывала и улегалась какъ звѣрь въ свое старое логовище, откуда минуту назадъ она вырвалась бѣшенная и разъяренная.

— Простите меня,—сказалъ Павелъ Петровичъ— простите. Я такъ несчастенъ, еслибъ вы знали... Я невольно подумалъ... Простите меня...

Въ знакъ примиренія, всѣ трое сѣли на скамью и вскорѣ разговорились. Оказалось, что Катя и Вѣра подруги, что служатъ онѣ у портнихи и любятъ пѣть и кататься на лодкѣ; обѣимъ имъ по шестнадцати лѣтъ, и хозяйка ихъ очень строгая, и еслибъ она не уѣхала изъ Москвы на три дня, имъ не пришлось бы и прогуляться сегодня...

Мимо нихъ проходили иногда люди, такъ же какъ и раньше, преимущественно по двое, но эти пары уже не волновали Павла Петровича и не возбуждали въ немъ зависти. Ему казалось, что все лучшее, что есть на свѣтѣ, находится возлѣ него въ эти минуты, и онъ отдыхалъ душою, можетъ быть, въ первый разъ въ жизни.

III.

— А мнѣ можно васъ проводить?—сказалъ Гривенниковъ, когда дѣвушки собрались домой.

— Только не до самаго дома,—возразила Катя.

— Да, только не до дома,—подтвердила Вѣра.

— А вы гдѣ живете?

— Тутъ вотъ... недалеко. Около моста. А теперь ледоходъ—какъ красиво!.. Пойдемте, и ледоходъ посмотримъ.

— Пойдемте. Я не видалъ еще ледохода.

Луна поднималась все выше; робкимъ, неполнымъ свѣтомъ озаряла она мокрую мостовую, казавшуюся серебряной, бѣлыя стѣны и влажныя крыши домовъ и церквей, и окна магазиновъ, уже запертыхъ и черныхъ изнутри.

Направляясь домой, дѣвушки шли смѣясь, шутя и беззаботно болтая, а Павелъ Петровичъ, слѣдуя за ними и поддерживая разговоръ, иногда думалъ: „какое счастье быть молодымъ, здоровымъ и... не уродомъ!..“

— Смотрите! смотрите!—почти закричала Катя, указывая впередъ рукою, когда они приближались уже къ Устинскому мосту.—Смотрите, какая льдина плыветъ, и прямо на мостъ!

— Скорѣе, скорѣе! — заволновалась Вѣра, — и всѣ трое, перебѣжавъ дорогу, остановились на мосту и облокотясь о чугунный барьеръ, стали глядѣть внизъ—въ рѣку.

Рѣка была полная, почти вровень съ берегами, и казалась большой, глубокой и сердитой. При свѣтѣ луны было видно, какъ по одной сторонѣ ея струилась темными гребнями вода, а по другой, напирая другъ на друга, проплывали бѣлыя льдины, то замедляя ходъ и тѣснясь, то прорываясь и стремительно уносясь вразбродъ во всю ширину рѣки, толкаясь вправо и влѣво о берега, или разбиваясь вдребезги объ острые каменные быки моста.

— Можно долго смотрѣть на рѣку, когда она вотъ такъ быстро течетъ!.. долго можно смотрѣть, и не будетъ скучно,—проговорила Вѣра, наклонясь надъ барьеромъ.—Все думается что-то... все думается...

— Вотъ и на небо хорошо смотрѣть, когда оно звѣздное: тоже все думается,—добавила Катя.—И тоже не скучно, хоть всю ночь прогляди!

— А о чемъ вамъ думается, когда вы глядите на рѣку или на звѣзды?—обращаясь къ подругамъ, полюбопытствовалъ Павелъ Петровичъ.

— Неизвѣстно о чемъ,—просто и искренно отвѣтила Катя.—То кажется, что мы очень счастливы, то кажется, что очень несчастны... не разберешь. И дальше неизвѣстно, что будетъ... Вотъ и думается.

— И о себѣ, и обо всемъ думается,—подтвердила Вѣра.—Теперь вотъ и о васъ мы будемъ думать... Когда глядишь на рѣку или на звѣзды, такъ и хочется унестись куда-то... неизвѣстно, куда. Или глядишь на звѣзды, а сама думаешь... А земля наша становится такая маленькая-маленькая, все меньше, да меньше, и люди дѣлаются маленькими, какъ песокъ, и всякое горе забывается, словно его и не было, а душа точно на небо улетаетъ въ это время, и ужъ ничего не боишься—ни смерти, ни жизни...

Перегнувшись черезъ барьеръ, обѣ дѣвушки молча и задумчиво стали смотрѣть въ воду. Глядѣлъ въ воду и Павелъ Петровичъ; глядѣлъ онъ и на небо, усѣянное звѣздами, и ему тоже думалось о чемъ-то неясномъ, какъ и обѣимъ подругамъ—не то о счастіи, не то о безрадостной жизни.

Постороннихъ не было на мосту, и никто не мѣшалъ имъ мечтать; гдѣ-то вдалекѣ гремѣли ровнымъ гуломъ колеса по мостовой, внизу шуршали и скрипѣли на рѣкѣ льдины и всплескивала вода.

— Хорошо!—сказала тихо и восторженно Вѣра выпрямляясь и устремляя глаза къ небу.—На небѣ точно ангелы всенощную поютъ,—посмотрите!

И Катя, и Вѣра, улыбаясь, глядѣли на звѣзды своими ясными простыми глазами и вдругъ, не сгова-

риваясь, дружно и тихо запѣли, такъ же какъ и раньше, почти неслышно:

Слава въ вышнихъ Богу
И на земли миръ...

А Павелъ Петровичъ глядѣлъ на ихъ юныя лица, слушалъ ихъ голоса, казавшіеся ему ангельскими, и чувствовалъ радость, истинную радость несчастнаго, внезапно обласканнаго человѣка.

IV.

Онѣ ушли.

Павелъ Петровичъ стоялъ одинъ на мосту и глядѣлъ въ ту сторону, гдѣ возвышался Кремль съ его башнями, утопавшими въ полумглѣ ночного весенняго воздуха. Въ полой водѣ дрожали, мелькали и смѣнялись отраженія уличныхъ фонарей, башенъ воспитательнаго дома и гранитной набережной. На рѣкѣ по прежнему шумѣло. Мчались быстрыя мутныя воды и по нимъ спѣсиво и медленно, точно стадо бѣлыхъ гусей, тянулись издалека несмѣтной толпой льдины.

„Какъ красиво! какъ хорошо!“ — думалось Павлу Петровичу.

А когда онъ взглядывалъ на небо, усѣянное блѣдными звѣздами, его манило въ эту высь, душа его трепетала радостью, и отзвуки дивнаго невѣдомаго гимна казались ему разлитыми во всемъ мірѣ.

Близость небывалаго счастія навѣвала на него забвеніе. Милые образы стояли передъ нимъ, легкіе и воздушные какъ призраки. Сердце сладко билось въ груди, душа, охваченная радостью, отдыхала. Ласковые глаза глядѣли на него, маленькія ручки дружественно пожимали его руку, и два голоса тихіе и нѣжные чуть слышно пѣли о чемъ-то невѣдомомъ и миломъ... Природа дышала обновленіемъ, и жизнь готова

была вспыхнуть радостью и счастьемъ, какъ весенняя заря.

Павелъ Петровичъ забылся и стоялъ, положивъ руку на холодный барьеръ, и глядѣлъ вдаль, гдѣ рѣяли передъ нимъ эти дивные призраки.

Когда же онъ оглянулся и увидѣлъ при свѣтѣ фонаря, что поперекъ всего моста лежитъ косая громадная тѣнь человѣка въ широкой шляпѣ, съ уродливо-выпуклой грудью и выпяченной спиной, — онъ сразу похолодѣлъ и поникъ головою.

Призраки разсѣялись.

Отъ рѣки потянуло сыростью и мракомъ,—и передъ Павломъ Петровичемъ медленно выросталъ иной призракъ—длинной, безрадостной и одинокой жизни.

ПЕТЛЯ.

I.

За послѣднее время, всякій разъ приходя на
ство въ участокъ, околоточный надзиратель
чувствовалъ себя не такъ, какъ раньше; знаком
меты казались ему не тѣми, какими были и как
дутъ опять для него завтра; даже самъ себѣ
зался не тѣмъ, какимъ былъ въ прошломъ го
этого впечатлѣнія перемѣны онъ никакъ не м
гнать изъ своего мозга...

Одинокій, среди ночного затишья, Лыжинъ
изъ угла въ уголъ, чувствуя тревогу въ душѣ,
обыкновенно всю ночь до разсвѣта, стараясь по
ніемъ думъ шагать какъ можно беззвучнѣе; дл
онъ придерживалъ ладонью висѣвшую у бедра
чтобы она не гремѣла о голенища. Иногда, уст
дить, онъ ложился въ изнеможеніи на длинны
рокій клеенчатый диванъ, на которомъ черная
давно уже растрескалась и облупилась, а подъ
чало мѣстами что-то жесткое, въ родѣ шишек
жину всегда казалось, что въ этомъ диванѣ с
недоброжелатели, которые подставляютъ кулак
клеенкой—то подъ спину, то подъ ляжки, т
бокъ—всякому уставшему человѣку, желающем
нуть. И онъ избѣгалъ ложиться, а если когда
жился, то раздвигалъ сзади фалды мундира, кл

на животъ шашку и съ укоромъ думалъ о недоброжелателяхъ, подпиравшихъ ему кулаками спину, поясницу и ноги. Онъ думалъ и о своихъ дѣтяхъ, къ которымъ не притащить бы заразу съ этого дивана, думалъ и о портныхъ, берущихъ за мундиры все дороже и дороже, думалъ и о своемъ жалованьи, на какое невозможно становилось существовать съ семьей. Думая обо всемъ этомъ, онъ желалъ отогнать другія мысли, преслѣдовавшія его неотвязно вотъ уже почти годъ.

Прошло то время когда ему было непріятно сознаніе что его, околоточнаго Лыжина, совершенно незаслуженно называютъ „крапивнымъ сѣменемъ“ и „около-водочнымъ надзирателемъ“, а должность пристава производятъ отъ слова „приставать“... Все это было пустяками и шуткой сравнительно съ теперешними названіями. Теперь уже не стало шутокъ. Теперь всѣ, носящіе серебристый узкій погонъ на плечѣ и городской гербъ на фуражкѣ, заподозрѣны въ стремленіи, наравнѣ съ темными неразсуждающими людьми, избивать и увѣчить докторовъ и студентовъ, учителей, курсистокъ и даже гимназистовъ.

Пока не доходило до дѣла, Лыжинъ и самъ ничего не имѣлъ противъ того, чтобы „поучить“ безпокойныхъ людей, надоѣдавшихъ такъ много лѣтъ полицейскимъ чиновникамъ, но когда онъ своими глазами увидѣлъ толпу, двигавшуюся по улицѣ съ пѣніемъ, съ красными флагами, когда на этихъ флагахъ онъ увидѣлъ надпись „Да здравствуетъ свобода!“, „Долой самодержавіе!“, когда передъ его глазами вырвался изъ переулка взводъ казаковъ съ нагайками, ринувшійся на толпу, когда вмѣсто пѣсенъ послышались щелканье бичей, свистъ въ воздухѣ плетокъ, стоны раненыхъ, проклятія, негодующіе крики, вопли, когда люди, стоявшіе вокругъ него, Лыжина, обнажили шашки навстрѣчу толпѣ и по чьей-то командѣ бросились бить вправо и влѣво безъ разбора по одеждамъ, по лицамъ, по головамъ и шапкамъ, по спинамъ, по поднятымъ

тростямъ, по упавшимъ на мостовую людямъ,—Лыжинъ почувствовалъ, что въ эту минуту рѣшилась вся его судьба, вся его жизнь. Лобъ его стало жечь, языкъ щипало, а сердце колотилось въ груди такъ сильно, точно хотѣло прорвать грудь и мундиръ и вылетѣть куда-то впередъ, на свободу.

Онъ стоялъ въ рядахъ тѣхъ, которые били. Онъ поднималъ руку съ обнаженной шашкой и указывалъ ею повелительно на толпу. Онъ помнилъ одно молодое лицо съ горящими глазами, на которое онъ указалъ кому-то своей шашкой. Почему онъ это сдѣлалъ и для чего, онъ до сихъ поръ не можетъ отдать себѣ отчета. Онъ видѣлъ, какъ сверкнула передъ нимъ сѣрая полоса стали, видѣлъ, какъ вмѣсто горящихъ глазъ и пылающаго прекраснаго лица стало вдругъ что-то дряблое, темное, мокрое и рухнуло на мостовую, а на мѣстѣ его образовалось на мгновеніе въ толпѣ небольшое пустое мѣсто.

Болѣе онъ ничего не помнилъ. У него у самого остановилось сердце; ноги его вдругъ ослабли, шашка вывалилась изъ рукъ и самъ онъ, теряя сознаніе, упалъ почти рядомъ съ тѣмъ молодымъ, съ прекрасными горѣвшими глазами, на котораго онъ указалъ.

II.

Лыжину было стыдно потомъ за то, что у него такіе слабые нервы, за то, что онъ упалъ въ безпамятствѣ, какъ женщина. Онъ велъ себя даже недостойнѣе женщинъ, потому что въ толпѣ было не мало дѣвушекъ, которыя видѣли то же, что и онъ, однако не падали въ обморокъ и шли впередъ... А онъ упалъ отъ впечатлѣнія, упалъ въ мундирѣ, съ шашкой въ рукахъ... По счастію, когда онъ упалъ, кто-то изъ своихъ зацѣпилъ его по носу каблукомъ—и изъ носа потекла кровь, залившая ему усы и бороду, воротникъ мундира и серебристый

погонъ. И онъ всѣмъ сталъ говорить впослѣдствіи, что былъ раненъ; даже женѣ своей говорилъ, что его кто-то ударилъ по переносицѣ, но наединѣ съ собою онъ не отрицалъ своего малодушія и съ упрекомъ называлъ себя мысленно—бабой.

Съ этого же времени Лыжинъ сталъ замѣчать за собою что-то неладное: нервы его стали больными, сердце не давало покоя иногда по цѣлымъ суткамъ, и обѣдать онъ сталъ безъ аппетита, и къ службѣ относиться разсѣянно и небрежно. Онъ началъ искать уединенія, и чѣмъ труднѣе оно доставалось ему, тѣмъ болѣе онъ искалъ его и желалъ.

Однажды въ участкѣ одинъ изъ арестованныхъ сказалъ о себѣ приставу:

— За родину и пострадать не обидно,

„Какъ за родину?“—молча удивился Лыжинъ и даже смутился. „Вѣдь это мы—за родину, а какъ же они?“...

Въ инструкціи чинамъ корпуса жандармовъ онъ самъ читалъ что ихъ обязанность *„утереть слезы несчастныхъ, быть государевымъ окомъ“*... А вѣдь жандармы и полиція въ сущности за-одно: противъ тѣхъ.

Не проходило почти ни одного дежурства, чтобы въ участкѣ не появлялись писанные или печатные листки, взывавшіе то къ сердцу, то къ разсудку народа. Ихъ поднимали на улицѣ, отбирали у прохожихъ, арестовывали въ квартирахъ. Иногда за день скоплялись въ участкѣ цѣлые вороха такихъ листковъ, а одинъ разъ даже привезли ихъ ночью въ двухъ огромныхъ тюкахъ. Лыжинъ читалъ ихъ и, читая, видѣлъ передъ собою все то же молодое прекрасное лицо, все тѣ же горящіе живые глаза и видѣлъ темное пятно вмѣсто лица и рухнувшее тѣло, и сѣрую полосу стали, сверкнувшую между нимъ и тѣмъ юношей, на котораго онъ указалъ тогда.

Бывало раньше онъ бралъ съ собой, идя на дежурство, одѣяло и подушку, говядины съ солью и хлѣбомъ,

и фляжку, а теперь онъ ничего не хотѣлъ брать. Когда наступало его одиночество, когда онъ оставался одинъ среди опустѣвшихъ комнатъ съ пустыми столами, съ пустыми стульями, съ пустыми скамейками, съ погашенными лампами, съ обсохшими перьями въ грязныхъ ручкахъ, съ печатями и сургучами, точно осиротѣвшими до утра,—онъ сначала садился на свое мѣсто за столикъ и при свѣтѣ одинокой лампы подготовлялъ пробный рапортъ, чтобъ показать дежурному сторожу, будто онъ занятъ дѣломъ.

— Ступай къ себѣ, — говорилъ онъ ему, исписавъ страницу,—я люблю заниматься одинъ.

И сторожъ уходилъ за перегородку.

Когда же все стихало, когда становилось слышно, какъ шуршатъ по обоямъ тараканы, когда глухая ночь наполняла участокъ мракомъ и чуткой тишиной, тревогой и покоемъ, Лыжинъ вставалъ и начиналъ ходить по канцеляріи осторожными большими шагами, придерживая рукой шашку и стараясь не шумѣть. Онъ останавливался иногда у перегородки изъ сѣтчатой проволоки, за которой днемъ сидитъ точно узникъ паспортистъ Виноградовъ и подкладываетъ и повѣряетъ адресные листки. Теперь же, въ темнотѣ и тишинѣ, Лыжину казалось, что на мѣстѣ Виноградова сидитъ кто-то другой, съ прекраснымъ лицомъ и прекрасными глазами и что онъ сейчасъ обратитъ къ нему это свѣтлое лицо и эти глаза и скажетъ ему:

— Утирайте слезы несчастныхъ, будьте государевымъ окомъ, а вотъ я—умеръ за родину.

И Лыжинъ стоялъ передъ сѣткой и ждалъ. Ему было жутко и страшно, но въ то же время хотѣлось, чтобы это страшное сейчасъ же сбылось.

Съ замиравшимъ сердцемъ онъ чиркалъ спичку и подносилъ ея слабый огонь къ проволокѣ и взглядывалъ съ трепетнымъ ожиданіемъ внутрь — и видѣлъ пустой стулъ, пачки листковъ на стальныхъ дугахъ,

видѣлъ пустую комнату. А когда гасла спичка, ему опять казалось, что кто-то сидитъ за сѣткой и разбираетъ листки, точно сортируетъ по адресамъ людей и откладываетъ: утирающихъ слезы въ одну пачку, а умирающихъ за родину—въ другую.

Нерѣдко среди ночи случалась тревога; то звонилъ телефонъ, то приводили задержанныхъ, то привозили пьяныхъ. Лыжинъ съ неудовольствіемъ отрывался тогда отъ своихъ думъ, лѣниво составлялъ протоколы, коротко и неохотно отвѣчалъ по телефону и, отдѣлавшись, начиналъ вновь ходить изъ угла въ уголъ съ сдвинутыми бровями, съ сосредоточеннымъ взглядомъ, обращеннымъ въ невѣдомую и неясную для него самого даль.

Съ половины ночи на него нападала тоска, страшная тоска, и онъ дѣлался унылымъ и мрачнымъ.

„Когда бѣсятся собаки, онѣ становятся сначала скучными“,—вспоминалось ему почему-то изъ практики.

И самъ онъ, и всѣ знакомые, и вся Россія представлялись ему скучными и впавшими въ тоску...

III.

Лыжинъ былъ у доктора, жалуясь на нервы и сердце. Полицейскій врачъ далъ ему капли, велѣлъ пить бромъ и перестать курить.

Разсказывать о себѣ всѣ подробности Лыжинъ стѣснялся, боясь навлечь непріятности по службѣ. Онъ пилъ бромъ и капли, однако думы его оставались все тѣ же и по ночамъ по-прежнему не давали покоя.

Изъ разныхъ городовъ приходили все чаще извѣстія объ избіеніи молодежи. То тамъ, то тутъ нападали на учащихся какіе-то люди, увѣчили ихъ и разбѣгались; при этомъ полиція, какъ писали въ газетахъ, хранила благосклонный нейтралитетъ...

И Лыжинъ думалъ: неужели все это именно такъ и

было? и самъ себѣ не хотѣлъ вѣрить, когда слыхивалъ отъ пристава:

— Я бы имъ, мерзавцамъ, и не то еще показалъ!

Читая обо всемъ этомъ, Лыжинъ, незамѣтно для себя, оставлялъ иногда газету, клалъ на нее руки и, не моргая, долго глядѣлъ куда-то впередъ, гдѣ рисовались ему знакомыя лица, знакомыя картины, пока звонокъ, или голосъ, или шумъ не выводили его изъ этого оцѣпенѣнія.

Однажды въ участокъ къ Лыжину пришелъ какой-то человѣкъ, по виду рыночный торговецъ, съ картузомъ въ одной рукѣ и съ газетой—въ другой.

— Что вамъ угодно?—спросилъ Лыжинъ.

Тотъ отвѣчалъ, горячась и запинаясь:

— Потому какъ я, ваше благородіе, истинно-русскій человѣкъ и патріотъ,—а вотъ вѣдомости вонъ что пишутъ...

Онъ положилъ газету на столъ и началъ тыкать въ нее крѣпкимъ толстымъ пальцемъ, окруженнымъ толстымъ обручальнымъ кольцомъ.

Очевидно, текстъ онъ давно уже зазубрилъ наизусть.

— Извольте читать-съ; сказано прямо: „русскіе люди, родные наши, братья наши — откликнитесь! Дайте волю вашему сердцу, и оно подскажетъ вамъ, что надо дѣлать... Какъ прежде уничтожали Лжедмитріевъ-самозванцевъ, такъ и теперь надо русскому люду уничтожать гнусныхъ крамольниковъ... И первая казнь, которую народъ совершитъ...“

— Это какихъ же крамольниковъ? — перебилъ Лыжинъ.

— Студентовъ тамъ, всякихъ другихъ... Извольте сами читать,—нагнулся онъ надъ газетой и повернулъ ее къ Лыжину, не отнимая отъ строкъ своего толстаго пальца.—Извольте читать: инте-ли-ли...

— Интеллигенцію,—выручилъ его Лыжинъ.

— Вотъ, вотъ! Это самое!

— Такъ вамъ-то что же надобно? Вы кто такое сами?

— Я-то-съ?... Мѣщанинъ Подрядышевъ... хоругвеносецъ... На уголкѣ здѣсь, наискось отъ аптеки, мясомъ торгую. Изволите, небось, знать.

— Хоругвеносецъ?—переспросилъ Лыжинъ, и болѣе уже ничего не слыхалъ, что говорилъ ему посѣтитель. Онъ уставился въ него своими неморгающими глазами, видѣлъ его коренастую фигуру, грубое скуластое лицо съ узкимъ лбомъ и мясистымъ носомъ, съ узкими злыми глазами; видѣлъ его крѣпкій указательный палецъ съ толстымъ золотымъ кольцомъ, и мысленно представлялъ себѣ жену и дѣтей этого мѣщанина и думалъ:— Хорошъ же, должно быть, ты дома: страхъ и гроза; и жену свою бьешь по лицу и дѣтей колотишь...

— Такъ что же можете отвѣтить, ваше благородіе... Когда же назначено? Мы васъ поддержимъ... мы всегда съ удовольствіемъ, какъ патріоты, истинно-русскіе...

Лыжинъ продолжалъ глядѣть на него въ упоръ, не слыша его и не отвѣчая.

— Такъ вы—хоругвеносецъ?..

— Такъ точно.

„Хоругвь—вѣдь это знамя!" — думалъ между тѣмъ Лыжинъ, глядя куда-то выше лица мѣщанина, выше его волосъ.

— И вы его носите?

— Такъ точно. Въ крестные ходы... на Іордань... въ Свѣтлый день...

Лыжинъ опустилъ голову и замолчалъ.

Мѣщанинъ говорилъ еще что-то, чего Лыжинъ не слыхалъ или не понималъ. Наконецъ, въ голосѣ Подрядышева зазвучала сердитая вызывающая нота:

— Нешто вы не здѣшній? Нешто вы не знаете-съ, что такое хоругвеносецъ?.. Что же это такое-съ, послѣ этого-съ?..

Не отвѣчая, не возражая, Лыжинъ пристально глядѣлъ опять въ самые глаза хоругвеносца, а тотъ избѣгалъ его взглядовъ и старался смотрѣть въ сторону, но взгляды ихъ невольно встрѣчались, точно сталкивались, и вновь расходились, и опять сталкивались.

„Носитъ хоругви, а глаза не горятъ“,—думалъ Лыжинъ и, глядя на Подрядышева, воображалъ его въ парадной формѣ: въ поддевкѣ съ серебристой мишурной бахромой по таліи, по плечамъ, по вороту и обшлагамъ, воображалъ его несущимъ высоко надъ головою на тонкомъ древкѣ золотую хоругвь и думалъ:—„Нѣтъ, не загорятся его глаза... Никогда не могутъ они загорѣться...“

— Чего-же-съ вы въ меня такъ вонзились?—разсердился наконецъ Подрядышевъ,—Ежели не можете прямо отвѣтить, такъ я зайду къ приставу. Ваше дѣло, конечно, маленькое... очень понятно.—Завтра я лучше къ приставу. Въ вѣдомостяхъ прямо указано: бить эту самую ан-те... Какъ ее?.. Анте-ли-ли...

IV.

Дома въ свободные вечера, какихъ бывало очень немного, Лыжинъ чувствовалъ себя лучше. Снявши мундиръ, онъ одѣвался тамъ въ простую синюю рубашку, подпоясывался ремнемъ и съ удовольствіемъ воображалъ себя обыкновеннымъ человѣкомъ, которому не нужно никого ни тѣснить, ни хватать, ни рубить.

Кромѣ кухни у него было двѣ комнаты—дѣтская и спальня. Изъ спальни онъ выдѣлилъ себѣ крошечный уголокъ, перегородилъ его ситцевой драпировкой и поставилъ столъ; это было его кабинетомъ и пріемной. Но и съ этимъ уединеніемъ пришлось вскорѣ разстаться: къ женѣ пріѣхала сестра, Екатерина Даниловна. У жены было много сестеръ, и дѣти называли ихъ тетей Дашей, тетей Сашей, тетей Машей, а Екатерину Даниловну прозвали тетей Кашей.

Тетя Каша была низкорослая кругленькая женщина, лѣтъ тридцати, не живущая съ мужемъ, очень веселая и говорившая смѣясь про всѣхъ, кто бы это ни былъ:

— Все вретъ!

Когда Лыжинъ расказывалъ однажды о томъ, что совѣсть его неспокойна, тетя Каша хохотала и, указывая на него женѣ и дѣтямъ, взвизгивала весело:

— Все вретъ! все вретъ!

Про хоругвеносца Лыжинъ дома тоже разсказывалъ. Тетя Каша, услыхавъ, что хоругвеносецъ, какъ патріотъ, желаетъ бить интеллигенцію, смѣялась и возражала:

— Все вретъ!

Даже когда появилось въ газетахъ извѣстіе, будто губернаторъ кому-то сказалъ, что уходитъ добровольно въ отставку, тетя Каша, уже безъ смѣха и съ уваженіемъ, заявила:

— Не можетъ этого быть: все вретъ!

Съ пріѣздомъ тети Каши, Лыжинъ лишился послѣдняго уголка, гдѣ могъ бы найти уединеніе. И онъ поставилъ въ сѣняхъ, возлѣ стеклянной двери, простую тесовую табуретку. На ней, заложивъ ногу на ногу и подперевъ ладонями скулы, онъ просиживалъ въ одиночествѣ два-три часа. Всѣ спали вокругъ него, а онъ сидѣлъ и думалъ. Такъ же, какъ и въ участкѣ, онъ слышалъ, какъ тараканы шуршали по обоямъ, какъ иногда хрустѣлъ или трещалъ полъ, какъ пробѣгали мыши. Чтобы быть безъ людей, но не быть одному, онъ бралъ иногда на колѣни къ себѣ Амку, собаку тети Каши, темную, длинную, на короткихъ ножкахъ, съ узкой мордочкой, помѣсь таксы.

Иногда ему хотѣлось кричать о своихъ думахъ, кричать, чтобы стало легче, но онъ зналъ, что кричать нельзя, потому что спятъ дѣти, спитъ жена, всегда больная, всегда несчастная, которой нуженъ покой, но котораго нѣтъ и никогда не будетъ. Не только крик-

нуть, но даже шагать, какъ въ участкѣ, Лыжину было нельзя, и онъ сидѣлъ на табуреткѣ одиноко и смирно, почти не шевелясь: иногда лишь схватывалъ собаку и гладилъ ее молча. Болѣе этого онъ ничего не смѣлъ дѣлать: онъ понималъ, что онъ дома, гдѣ всѣ спятъ...

Начиналъ онъ понимать также и то, что онъ боленъ, и иногда, прижимая къ груди теплое мохнатое тѣло собаки, раскачивался съ нею на табуретѣ, точно съ ребенкомъ, и, боясь хоть однимъ звукомъ нарушить ночную тишину, кричалъ мысленно:

— Амочка!.. Амка!.. Вѣдь мы съ тобой — какъ два пса!..

Иногда Лыжинъ заходилъ въ дѣтскую, гдѣ жили его три маленькія дочери и сынъ Володя, которому былъ только годъ; онъ умѣлъ уже смѣяться, умѣлъ радостно и безпечно глядѣть на отца своими свѣтлыми молочными глазами и называть его „папой“, когда Лыжинъ входилъ къ нему въ синей рубашкѣ; когда же онъ входилъ въ мундирѣ, ребенокъ настойчиво и капризно тянулся руками къ серебристому погону и называлъ отца уже не папой, а „дядей“...

Глядя на Володю, Лыжинъ думалъ, что и самъ онъ, и губернаторъ, и нигилистъ, и хоругвеносецъ—были когда-то такими же... И тотъ юноша съ ясными глазами былъ недавно такой же... Всѣ были такъ же довѣрчивы, такъ же смѣялись, такъ же называли кого-нибудь папой... И ему хотѣлось загляпуть въ будущее, за двадцать, за тридцать лѣтъ впередъ, чтобы увидать—кѣмъ станетъ его Володя, какъ онъ будетъ думать, что дѣлать, какъ относиться къ отцу... И ему хотѣлось сказать Володѣ:

— Что будетъ съ тобою, съ твоими сестренками, съ твоей мамой, что будетъ съ тетей Кашей, даже съ Амкой-собакой, что будетъ, наконецъ, со мною самимъ, если я сорву сейчасъ съ себя этотъ мундиръ и брошу его въ печку и никогда болѣе не пойду въ участокъ?

Что будетъ завтра же со всѣми нами и съ тобой, и со мной, и со всѣми?..

Онъ закрывалъ глаза ладонями, крѣпко упирался въ нихъ всѣмъ лицомъ—скулами, щеками и лбомъ; потомъ, перекрестивши сына, шелъ на дежурство, или въ нарядъ на улицу, или въ обходъ по участку, козыряя встрѣчнымъ знакомымъ, сурово опрашивая городовыхъ и вытягиваясь передъ приставомъ, который за послѣднее время былъ строгъ и уже дважды дѣлалъ ему замѣчанія.

V.

Настали свѣтлыя весеннія ночи. Въ отворенныя окна доносился запахъ тополей, доносился стукъ колесъ, говоръ и отдаленный неясный шумъ, точно весь городъ ожилъ и загудѣлъ, какъ улей.

Запирая на ночь свой кабинетъ, приставъ громко сказалъ дежурному:

— Надзиратель Лыжинъ! Ожидаются безпорядки; требую особаго вниманія на дежурствѣ; остальное вамъ все извѣстно.

— Слушаю, ваше высокородіе! — отвѣчалъ Лыжинъ, покорно опустивъ и вытянувъ по швамъ руки.

— Надѣюсь принять отъ васъ завтра рапортъ вполнѣ благополучный.

— Радъ стараться, ваше высокородіе!

Приставъ положилъ ключъ въ карманъ и, взмахнувъ небрежно около виска двумя пальцами, надѣлъ фуражку и вышелъ, звеня шпорами.

— А чего жъ еще ждать, какъ не безпорядковъ? — подумалъ Лыжинъ, глядя равнодушно на захлопнутую дверь.

Отославъ за перегородку сторожа и оставшись въ одиночествѣ, Лыжинъ долго шагалъ по присутствію. Въ отворенныя окна вносился свѣжій душистый воздухъ,

влетала пыль; на подоконникѣ шелестѣла газета, точно сама собою, точно была живая, а городъ самъ по себѣ гремѣлъ таинственнымъ непрерывнымъ гуломъ.

Лыжинъ прислушивался и къ шуму города, и къ шелесту газеты, не мѣшавшимъ другъ другу, и къ скрипу своихъ шаговъ.

Первый разъ въ жизни почувствовалъ онъ себя глубоко-несчастнымъ человѣкомъ, обиженнымъ и обманутымъ, точно его кто-то обворовалъ, — хотя ничего особеннаго не случилось: такъ же хворала жена, такъ же не хватало денегъ, такъ же ѣли и пили дѣти, Амка и тетя Каша, только на улицахъ пахло тополями и клейкими почками и свѣжей землей...

Прислушиваясь къ шуму, принюхиваясь къ воздуху, Лыжинъ вдругъ вспомнилъ, что онъ никогда не слыхалъ, какъ весной поютъ соловьи. Онъ не знавалъ въ лицо ни дрозда, ни малиновки, не слыхивалъ ни весеннихъ пѣсенъ жаворонка, ни предзимняго клекота журавлей.

— А за какимъ мнѣ чортомъ нужны журавли, соловьи и прочее? — прерывалъ онъ самъ себя, однако понималъ, что огромная сторона жизни, помимо журавлей и соловьевъ, оставалась для него неизвѣстной.

О журавляхъ и жаворонкахъ, о счастіи и свободѣ онъ зналъ столько же, сколько объ Австраліи, гдѣ будто бы листья на деревьяхъ растутъ не плашмя, какъ у насъ, а—ребромъ... Лучшіе годы его жизни ушли на иныя познанія—и вотъ привычные образы стоятъ передъ нимъ: помойныя ямы, пьяныя рожи, протоколы, начальство, извозчики и аресты... Къ нимъ прибавились еще новые образы: крамольники и нагайки... И изъ всей этой вереницы, какъ солнце изъ тучъ, глядѣли на него прекрасные молодые глаза, точно глядѣли они смѣло и радостно навстрѣчу чему-то великому, и Лыжинъ зналъ, какъ зовутъ это великое, но не хотѣлъ называть его даже мысленно, но имя это слышалось отовсюду: зве-

нѣло въ его мозгу, въ ушахъ и гуломъ неслось по всему городу:

— Свобода!.. Свобода!..

Булыжныя мостовыя подъ катящимися колесами, говоръ людей, окрики кучеровъ, свѣжесть и запахъ зелени и земли—все сливалось въ одну волну, широкую и гудящую:

— Свобода! Свобода!

Но вдругъ изъ этой окружающей жизни вытягивалась сѣрая, узкая, холодная полоса стали — и меркли передъ нею горящіе глаза, и кругомъ все темнѣло, и городъ гудѣлъ ровно и однотонно, будто вся мостовая, экипажи и голоса сливались, повторяя въ ритмъ безстрастно и безсмысленно:

— Анте-ли-ли...

И мгла, точно море, охватывала и заполняла все, и въ ней, точно въ морѣ, плавали и купались толстыя бородатыя головы съ жирными носами и злыми глазами, колыхались сжатые кулаки съ золотыми обручальными кольцами на указательныхъ пальцахъ, высовывались и прятались ноги въ тяжелыхъ смазныхъ сапогахъ съ подкованными каблуками, носились по волнамъ поддевки съ серебристой бахрамой, плавали ожирѣвшіе животы, узкіе тупые лбы, и, точно щупальцы, показывались иногда на поверхности чьи-то пальцы съ ладонями и жадно хватались за воздухъ, разжимались и снова хватались... И все это качалось, ныряло, тонуло и вновь всплывало подъ общій протяжный полусонный гулъ:

— Ан-те-ли...ли...

Тридцать восемь лѣтъ Лыжинъ считалъ все, что дѣлается въ жизни, хорошимъ и необходимымъ для чего-то и для кого-то, и только теперь онъ задумался:хорошо ли все это.

Онъ вспомнилъ своего дядю, пристава, котораго недавно насквозь прострѣлили въ Варшавѣ; вспомнилъ и дальняго родственника жены—доктора: этого въ Ниж-

нем исколотили до полусмерти. Ни съ тѣмъ, ни съ другимъ онъ близокъ не былъ, не былъ почти и знакомъ, но жаль было скорѣе избитаго доктора. Почему же?.. Впрочемъ, жаль было и дядю...

Теченіе его мыслей было внезапно нарушено. Въ участокъ привели буяна, котораго было нужно усмирить и посадить до утра за рѣшетку для выясненія личности

VI.

Луна глядѣла прямо въ окна.

Блѣдныя зеленоватыя полосы, легкія и воздушныя свѣтились въ комнатахъ, пронизывая стекла, скользя по подоконникамъ и падая по полу, то широкими квадратами, то узкими линіями, вперемежку съ тѣнями. Казалось, будто невдалекѣ отъ оконъ распластались по полу—немного наискось—такія же рамы, съ темными переплетами, съ форточками и скобами, только туманнѣе и длиннѣе...

Городъ затихъ; лишь изрѣдка мимо дома проѣзжалъ не торопясь извозчикъ; но Лыжину казалось, что гдѣ-то вдалекѣ все еще стоитъ надъ городомъ этотъ недавній гулъ и что тысячи людей, десятки тысячъ чего-то ждутъ, чего-то просятъ и требуютъ и кричатъ въ одинъ голосъ объ одномъ и томъ же.

Прижимая ладонью шапку, Лыжинъ мягкими шагами, почти крадучись, останавливаясь и чуть присѣдая, ходилъ по безлюднымъ комнатамъ, то освѣщенный луной, то окутанный тьмой, то вновь освѣщенный, и думалъ, крѣпко сдвинувши брови и глядя впередъ неморгающими глазами.

Онъ опомнился на мысли о своей матери, которая лежитъ въ глубинѣ рощи за монастырской оградой, далеко отсюда, въ другомъ городѣ. Онъ вспомнилъ, какъ однажды заказалъ панихиду на ея могилѣ, какъ среди рощи въ лѣтній жаркій полдень странно звучалъ

басистый голосъ дьякона... Каркали на деревьяхъ вороны, шумѣли листья, дулъ вѣтеръ, и дьяконскій басъ былъ похожъ на жужжаніе шмеля...

Лыжинъ остановился и прислушался.

Это буянъ за рѣшеткой, тономъ дьякона, густымъ тихимъ басомъ, точно за версту отсюда возглашая ектенію, гудѣлъ мѣрно, какъ шмель, безъ всякаго задора, спокойно и серьезно:

— Долой самодержавіе... Да здравствуетъ свобода...

Лыжинъ улыбнулся, но потомъ бросился въ рѣшеткѣ и затопалъ ногами.

— Цыцъ, ты! Негодяй!!! — крикнулъ онъ, задыхаясь отъ волненія.

Лежа на полу, буянъ приподнялъ голову и узкими глазами съ недоумѣніемъ взглянулъ на Лыжина, потомъ повернулся задомъ и сталъ сопѣть, какъ бы вновь засыпая.

Въ дверяхъ стоялъ сторожъ и тоже удивленно глядѣлъ на Лыжина.

— Орать вздумалъ, — строго, но съ смущеніемъ, замѣтилъ сторожу Лыжинъ, кивнувъ на буяна.—Ничего... иди къ себѣ; я это только такъ... для острастки...

Принявши позу побѣдителя и грозно глядя на рѣшетку, Лыжинъ постоялъ съ минуту, пока сторожъ не скрылся за своей перегородкой, но какъ только онъ ушелъ, Лыжинъ сразу опустилъ плечи и закрылъ руками лицо. Ноги его задрожали, задрожала спина, руки и голова — и онъ бросился въ дежурную, упалъ ничкомъ на диванъ и зарыдалъ, затаивая въ себѣ слезы и голосъ и дыханіе.

„Безпорядки!.. Боже мой... Опять ожидаются безпорядки!..“

И приставъ, сказавшій на прощанье это страшное слово, началъ казаться Лыжину черным, маленькимъ и крылатымъ, съ длиннымъ клювомъ, на тонкихъ но-

гахъ съ цѣпкими когтями—какъ воронъ, каркающій надъ его головою:

— Ожидаются безпорядки!

И Лыжину воображалась толпа съ красными флагами... Ее сзади хлестали нагайками, а спереди встрѣчали они—съ обнаженными шашками, а надъ всѣми ними носился въ весеннемъ пахучемъ воздухѣ черный воронъ и каркалъ... Изъ кожаной казенной подушки, въ которую Лыжинъ уткнулся лицомъ, глядѣли опять на него въ упоръ ясные радостные глаза, дышало жизнью и смѣлостью молодое лицо, и, точно въ телефонъ, гудѣли прямо въ уши ему торжествующіе голоса толпы:

— Свобода! Свобода!

И переставъ рыдать, Лыжинъ началъ улыбаться въ отвѣтъ этимъ голосамъ, этому лицу, какъ будто никогда и ничего не было между ними враждебнаго, какъ будто вмѣстѣ и всегда шли они заодно, какъ будто вмѣстѣ умирали за родину, вмѣстѣ страдали, ненавидѣли и любили и никогда не утирали ничьихъ слезъ кромѣ своихъ, которыхъ было много, очень много...

Лыжинъ всталъ, протеръ себѣ глаза и сильнымъ движеніемъ распахнулъ окно.

Съ улицы сразу потянуло воздухомъ, влагой и клейкими душистыми почками тополей. И луна глядѣла прямо въ лицо Лыжину, холодная, блестящая и чуждая—какъ и все, что онъ встрѣчалъ въ своей жизни блестящаго; все это было чопорно, грозно и жадно; и онъ служилъ всему этому, продавался за пустяки, хваталъ и губилъ все, что борется и умираетъ съ улыбкой за свободу. А онъ всю жизнь стоялъ противъ свободы, всю жизнь дрожалъ и ежился, точно въ какомъ-то плѣну, а отъ плѣна чего же и ждать, кромѣ страха и горя, либо милости.

— Не надо милостей!—закричалъ вдругъ Лыжинъ, отпрянувъ отъ окна, точно именно оттуда и сыпались на него ненужныя милости и тяжкія несчастія.

— Ничего не надо, — сказалъ онъ самъ себѣ спокойно и тихо.—Не надо ничего.

Такъ же спокойно, точно раздѣваясь передъ сномъ, онъ отстегнулъ ремень, на которомъ висѣла шашка, не торопясь выдернулъ его изъ-подъ погона, смоталъ въ клубокъ и положилъ вмѣстѣ съ шашкой на свой дежурный столъ; потомъ снялъ мундиръ и положилъ на диванъ, на которомъ было передумано такъ много думъ; потомъ вынулъ листъ, приготовленный для рапорта, и написалъ крупнымъ рѣшительнымъ почеркомъ:

„Ваше Высокоблагородіе
Господинъ Приставъ.

Сколько Вамъ будетъ угодно—утирайте слезы несчастныхъ; желаю отъ души, чтобъ это было именно такъ. А я передъ родиной виноватъ, и умираю. Да здравствуетъ свобода, господинъ приставъ!“

Затѣмъ онъ пошелъ въ канцелярію, гдѣ висѣла на стѣнѣ карта Россіи, вставленная въ тяжелую золоченую рамку, въ которой былъ когда-то старый портретъ

Сгорбившись и опустивъ руки, Лыжинъ долго глядѣлъ на карту пристальнымъ взглядомъ. При мягкомъ свѣтѣ луны онъ видѣлъ прихотливыя очертанія границъ своей родины, похожія на узоры, какими иногда морозъ расписываетъ стекла. Вонъ — Балтійское море: точно женщина стоитъ на колѣнахъ передъ Петербургомъ... а Швеція и Норвегія бѣгутъ отъ него въ образѣ какого-то звѣря... вонъ Камчатка—въ родѣ пики... вотъ Каспійское море, похожее на коня, вставшаго на дыбы...

Онъ чиркнулъ спичку и, освѣтивъ на минуту карту, отыскалъ на ней точку, называвшуюся его роднымъ городомъ. Какъ она была мала и ничтожна передъ всей родиной! А вѣдь въ ней заключались площади и дома, церкви и тюрьмы... жило множество людей, родилось и умирало... Одни изъ нихъ желали чего-то и куда-то

стремились, другіе ничего не желали и никуда не стремились... Одни шли впередъ, другіе ихъ били... рубили!.. И все это заключалось въ одной точкѣ. Только въ точкѣ!.. А вокругъ лежали пустыни, по которымъ разбросаны были другія такія же точки...

Потомъ онъ влѣзъ на стулъ, снялъ съ стѣны раму, бережно отнесъ ее и прислонилъ къ противоположной стѣнѣ лицомъ въ комнату; потомъ отвязалъ отъ рамки перекрученную двойную веревку, зацѣпилъ ее крѣпко за костыль, на которомъ она раньше висѣла, съ другого конца сдѣлалъ короткую петлю, надѣлъ ее себѣ на шею, и какъ только надѣлъ, ударомъ ступни, съ презрѣніемъ, вытолкнулъ изъ-подъ ногъ далеко отъ себя стулъ и повисъ прямо противъ карты, съ которой глядѣла на него вся Россія съ ея городами и деревнями, съ степями и болотами, съ безлюдными пространствами, съ закрытыми морями...

До самаго утра, пока не вошелъ сторожъ, Лыжинъ глядѣлъ холодными остановившимися глазами въ лицо своей родинѣ, точно въ удивленіи созерцая ее всю, точно ожидая отъ нея чего-то большого, такого же — какъ она сама...

И такъ они молча глядѣли одинъ на другого: Лыжинъ на родину, а родина на него—какъ будто понимая, но упрекая другъ друга...

НА ТРОЙКАХЪ.

I.

Въ суровые январскіе морозы 188* года приближался къ Нижнему-Новгороду поѣздъ, съ которымъ ѣхали преимущественно торговые люди; они направлялись въ Ирбитъ, гдѣ начиналась въ это время большая сибирская ярмарка. Тутъ ѣхали и завзятые торгаши съ вѣчною думой на лицѣ—перехитрить всѣхъ на свѣтѣ, были и степенные люди, именуемые „русаками", съ бородами лопатой и бородами козломъ, были бритые туляки, похожіе не то на хлыстовъ, не то на актеровъ, а больше на южныхъ колонистовъ-нѣмцевъ; ѣхали солидные представители именитаго купечества, ѣхали довѣренные крупныхъ фирмъ и приказчики всевозможныхъ категорій, имѣющіе право здороваться съ купцами за руку и не имѣющіе. Среди пассажировъ перваго класса сидѣлъ молодой человѣкъ лѣтъ двадцати, съ румяными щеками и едва пробившимися усиками, Меѳодій Ивановичъ Кумачевъ, сынъ извѣстнаго милліонера, только еще весною покинувшій школьную скамью. Онъ ѣхалъ впервые на ярмарку—изъ любопытства.

За окнами мельками занесенныя снѣгомъ рощи и поляны, сторожевыя будки, селенія. Поглядывая то въ окно, то на пробуждающихся сосѣдей, Кумачевъ думалъ о предстоящемъ далекомъ пути по лѣсамъ и дорогамъ; его соблазняла эта таинственная перспектива—увидать остатки первобытной Руси, поговорить съ лихими волжскими ямщиками, скоротать ночь гдѣ-нибудь

на глухой, далекой станціи, но, прельщаясь всѣмъ этимъ, онъ чувствовалъ себя не особенно ловко въ обществѣ такихъ солидныхъ и пожилыхъ людей, какъ Сучковъ или Панфиловъ, которые сидѣли теперь рядомъ съ нимъ и съ которыми придется ѣхать еще чуть не недѣлю вмѣстѣ. „Для чего намъ понадобилась эта компанія?“ думалъ онъ, досадуя на своего попутчика, который непремѣнно желалъ, чтобъ эти двое ѣхали съ ними. Его попутчикъ былъ лѣтъ сорока пяти, большой весельчакъ и затѣйникъ, низенькій, живой, съ бойкими черными глазами, Викторъ Германовичъ Тирманъ, московскій фабрикантъ, умѣвшій жить, несмотря на ограниченныя средства, не хуже всякаго богача.

— Прекрасно, прекрасно!—оживленно говорилъ Тирманъ, смѣясь и потирая руки.—Поѣдемъ всѣ вмѣстѣ! куда торопиться?

— Мнѣ торопиться некуда, — соглашался Сучковъ, пожилой, красивый мужчина, съ мягкими манерами, съ холенымъ бѣлымъ лицомъ и холеными бакенбардами.—Сдѣлайте одолженіе, ѣхать вмѣстѣ пріятнѣе. А то съ моимъ приказчикомъ забудешь, какъ говорятъ по-русски: отъ него кромѣ „да-съ“, да „нѣтъ-съ“ во всю дорогу ничего не услышишь.

Панфиловъ соглашался тоже. Это былъ высокій, коренастый мужчина лѣтъ за пятьдесятъ, съ толстыми щеками и небольшой, но густой бородой, въ которую вплелась сильная просѣдь. Онъ и Сучковъ были по виду такіе серьезные люди и вели между собою такіе скучные разговоры—все о дѣлахъ да о причинахъ, что Кумачеву не о чемъ было сказать съ ними даже двухъ словъ.

Согласившись не разставаться, всѣ пожали другъ другу руки, и разговоръ у нихъ послѣ этого прекратился. Панфиловъ открылъ предъ собою газету съ намѣреніемъ читать. Однако, не чтеніе занимало теперь его мысли и не торговля; его тревожилъ иной вопросъ,

большой для него важности. Изъ поѣздки въ Ирбитъ купцы сдѣлали нѣчто въ родѣ спорта: есть такіе, что ухитряются доѣхать отъ Москвы въ пять сутокъ, есть такіе, что ѣдутъ шесть дней, а нѣкоторые ѣдутъ полторы недѣли и больше; послѣдніе, конечно, не участвуютъ въ спортѣ и ѣдутъ, какъ Богъ на душу положитъ, посмѣиваясь надъ усиліями первыхъ—во что бы то ни стало обогнать другъ друга; зато первые мчатся на тройкахъ, не щадя ни здоровья, ни денегъ, и съ похвальбой пріѣзжаютъ въ Ирбитъ. Туземцы недовѣрчиво покачиваютъ головами: можно ли добраться до нихъ въ пять сутокъ?! Но купцы, въ удостовѣреніе, достаютъ изъ кармана газету отъ того числа, когда выѣхали изъ Москвы, и простодушные обыватели въ удивленіи разводятъ руками.

Матвѣй Матвѣевичъ Панфиловъ былъ человѣкъ самолюбивый. Почти тридцать лѣтъ онъ посѣщаетъ ежегодно Ирбитскую ярмарку, и тамъ про него идетъ слава, что быстрѣй его никто не ѣздитъ. Не отстать же теперь отъ Сучкова или отъ Тирмана, отъ этихъ завзятыхъ ѣздоковъ, которые только разъ въ жизни его обогнали, да и то потому, что въ дорогѣ у него околѣлъ коренникъ. Человѣкъ онъ былъ стараго времени, отказаться отъ старой привычки не могъ, и обогнать всѣхъ попутчиковъ было вопросомъ его самолюбія. Сучковъ и Тирманъ считались самыми опасными конкурентами, у которыхъ все приспособлено, и лошади и повозки, чтобы летѣть сломя голову; равняться съ ними было довольно трудно; про Тирмана шла молва, будто въ дорогѣ онъ не ѣстъ и не спитъ, а все время держитъ въ рукахъ нагайку и погоняетъ ею то лошадей, то ямщика,—благо въ тѣхъ мѣстахъ народъ невзыскателенъ, да и Сучковъ тоже ѣздокъ записной: за деньгами не стоитъ, скандаловъ никакихъ не боится, и ямщику у него на выборъ: рубль на чай, либо—„по шеѣ“; поэтому и летитъ какъ птица. Смущали Матвѣя Матвѣевича такіе попутчики.

Поѣздъ подходилъ уже къ станціи, когда Тирманъ, взявши съ полки свой саквояжъ, сказалъ, обращаясь къ сосѣдямъ:

— Значитъ, вмѣстѣ, господа? Заказывайте кофе, а я за багажомъ покуда пройду.

Съ этими словами онъ вышелъ на тормазъ вмѣстѣ съ Кумачевымъ.

Чудное утро, солнечное и слегка морозное, сіяло въ Нижнемъ-Новгородѣ. На остановившійся поѣздъ бросились носильщики, изъ вагоновъ повалилъ народъ, все смѣшалось, и Матвѣй Матвѣевичъ насилу отыскалъ своихъ приказчиковъ ѣхавшихъ во второмъ классѣ. Вѣрный данному слову—не торопиться, онъ прошелъ прямо въ буфетъ и занялъ отдѣльный столикъ, заказавши кофе для себя и для своего главнаго приказчика Бородатова, человѣка солиднаго и благообразнаго.

— А вы скорѣй на извозчика, да укладывайте повозки. Живо!

Двое другихъ, къ которымъ относились эти слова, сейчасъ же повернулись и молча пошли въ двери. Это были тоже служащіе Панфилова: конторщикъ Кротовъ, похожій на церковнаго пѣвчаго, суровый, басистый, и приказчикъ Анютинъ, который обладалъ нѣжнымъ взглядомъ и сладкимъ голосомъ, хотя былъ плѣшивый и рыжій. Они уже знали, что требуется хозяину, и вышли изъ вокзала съ такимъ видомъ, будто въ первый разъ пріѣхали въ городъ.

Глядя на Панфилова, не спѣша отхлебывавшаго кофе и курившаго папиросу, можно было подумать, что онъ въ самомъ дѣлѣ никуда не торопится; развѣ только частое поглядываніе на часы обнаруживало его тревогу. Напрасно, однако, дожидался онъ Тирмана, ушедшаго получать багажъ, и Сучкова, ушедшаго умываться. Къ кофе никто не явился. „Тѣмъ лучше!“ подумалъ Матвѣй Матвѣевичъ и, не торопясь, будто про-

гуливаясь отъ нечего дѣлать, вышелъ вмѣстѣ съ Бородатовымъ изъ вокзала и, какъ только вышелъ, сейчасъ же какъ бѣшеный вскочилъ къ первому извозчику и погналъ, что было мочи, на почтовую станцію.

Вотъ онѣ Панфиловскія повозки: вонъ стоятъ у самыхъ воротъ, и добрые кони встряхиваютъ колокольчиками... Матвѣй Матвѣевичъ взглянулъ на свои повозки, маленькія, легкія, приспособленныя для быстрой ѣзды, взглянулъ на громадныхъ коней, впряженныхъ тройками, которые били въ нетерпѣніи снѣгъ копытами и мотали головами,—на этакой тройкѣ да не летѣть!

„Постой же!“ погрозилъ онъ кому-то, улыбаясь. Улыбались и ямщики, давно знавшіе Панфилова и чуявшіе въ карманахъ хорошую подачку на чай. Готовясь вспрыгнуть на облучки, они весело разбирали вожжи, а путники, надѣвши сверхъ полушубковъ теплыя дохи, усаживались по мѣстамъ. Огромное тѣло Панфилова заняло почти всю повозку, и Бородатовъ еле-еле пристроился сбоку, завидуя другимъ приказчикамъ, которые вдвоемъ засѣли во вторую повозку, раздѣливши мѣста по-товарищески. Содержатель „Вольной почты“, провожая старыхъ знакомыхъ, одолжилъ по особому случаю Матвѣю Матвѣевичу курьерскую подорожную.

— Всѣ сѣли?—раздался громкій окрикъ.

— Съ Богомъ!—отвѣтили изъ задней повозки.

— Съ Богомъ!—скомандовалъ Панфиловъ и, снявъ мѣховую шапку, перекрестился.

Лошади тронули...

Сначала проѣхали „Вольную почту“, потомъ замелькала своими рядами и вывѣсками Нижегородская ярмарка, вся занесенная снѣгомъ; мелькнулъ водопроводъ и лошади спустились на Оку. Ѣхали неспѣша: то и дѣло мѣшались встрѣчные обозы или городскія сани перерѣзывали путь. Вотъ въ правой сторонѣ показался Нижній, а вотъ и Кремль, на который всѣ

стали креститься; вотъ мелькнулъ красавецъ Откосъ; потянулись караваны огромныхъ баржей, зазимовавшихъ во льду, но все это мало-по-малу осталось уже позади, исчезли всякіе признаки жилья, и передъ глазами развернулась одна, широкая, безконечная, „кормилица-матушка"—Волга.

II

Ясный морозный день. Въ воздухѣ тишина невозмутимая. Небо совершенно голубое, точно лѣтомъ, и солнце свѣтитъ по-лѣтнему, только не грѣетъ, и бѣлый снѣгъ вокругъ блеститъ и искрится, такъ что больно смотрѣть, и вьется впереди наѣзженная дорога прихотливыми очертаніями, и не хочется отрывать взоровъ отъ сверкающей безконечной равнины, что тянется по лѣвой сторонѣ, нетронутая человѣческими ступнями, до самыхъ краевъ небосклона. Правый нагорный берегъ глядитъ на нее исподлобья, какъ старецъ-женихъ на молодую невѣсту, и тамъ, гдѣ раскинулись старыя Печоры съ ихъ колокольнями, утопающими лѣтомъ въ зелени садовъ, торчатъ оголенныя вѣтки. Угрюмъ и задумчивъ этотъ нагорный берегъ весь обросшій старыми лѣсами; заиндевѣлыя деревья производятъ самыя фантастическія сочетанія: то чудится въ нихъ какой-то теремъ волшебный, то узоры-вышитые по канвѣ, — цѣлый русскій сказочный міръ встаетъ въ воображеніи...

А тройки летятъ во всю мочь, крутя за собою снѣжную пыль. „Эхъ! Эхъ!" — покрикиваютъ ямщики. Чутко и вольно разносятся окрики, радостной пѣсней заливаются колокольчики, и снѣжная пыль летитъ прямо въ лицо и крѣпко садится на фартукъ повозки. Глядишь-глядишь во всѣ стороны и не хочется слова сказать. Вонъ что-то черное виднѣется въ сторонѣ: это — полыньи. Иногда полыньи встрѣчаются очень

большія, съ версту длиною; говорятъ, не будь ихъ рыба не могла бы зимовать въ рѣкѣ, — такъ ли? Некогда разбирать! Морозный воздухъ вплетается въ усы и въ бороду, сомораживаетъ рѣсницы. „Эхъ! Эхъ! други милые!“ слышится веселый окрикъ, и непонятно, чему веселится ямщикъ.

То тутъ, то тамъ, въ разныхъ мѣстахъ по рѣкѣ, возвышаются ледяные кресты, иногда до сажени ростомъ.

Бородатову надоѣло молчать. Онъ глядѣлъ направо, глядѣлъ налѣво: прекрасныя, но одинаковыя картины, хотя и одинаково прекрасныя, мѣнялись передъ его глазами. Онъ давнымъ-давно знаетъ волжскій обычай съ ледяными крестами, но ему хочется слышать человѣческій голосъ, который нарушилъ бы величаво-ледяное безучастіе природы.

— Ямщикъ!

Тотъ мгновенно обернулся, но тотчасъ же привсталъ, нахлобучивъ шапку, чтобъ не свалилась, гикнулъ и пустилъ тройку еще быстрѣе.

— Ямщикъ!

— Ась?

Бородатовъ почувствовалъ себя бариномъ и почему-то разсердился; по крайней мѣрѣ въ голосѣ его зазвучала командирская нотка:

— Что за кресты, я спрашиваю?

Ямщикъ опять привсталъ, хотѣлъ было опять гикнуть, но спокойно опустился на облучокъ и, балуя вожжами, отвѣтилъ:

— Обыкновеніе. Ребята дѣлаютъ изо льда; наколятъ и сложатъ крестомъ. Такъ ужъ заведено, чтобы въ Крещеніе послѣ обѣдни строить.

— Зачѣмъ же? Примѣта, что ли, какая?

— Кто жъ ихъ знаетъ, должно быть, примѣта.

Для разговоровъ однако не время: вотъ ужъ чернѣется кабакъ на седьмой верстѣ, у дверей котораго

лошади останавливаются сами, потому что это тоже— волжскій обычай, и ни одна тройка его не минуетъ. Ямщики проворно соскакиваютъ съ повозокъ и молча подходятъ къ Матвѣю Матвѣевичу, ухмыляясь и почесывая затылки. Лошади стоятъ, тяжело дыша; отъ нихъ валитъ паръ, замерзая вокругъ губъ и ноздрей.

Получивъ по двугривенному, ямщики черезъ минуту вернулись, утирая рукавами губы, вскочили снова на облучки, гикнули, и повозки, взвизгнувъ полозьями по скрипучему снѣгу, опять понеслись вдаль.

Много было прикушено языковъ, много было посажено синяковъ на лбы и шишекъ на затылки, прежде чѣмъ выдуманъ такой экипажъ. Русскій человѣкъ доходилъ до него постепенно, не торопясь, всякій разъ умудрялся горькимъ опытомъ, и наконецъ состряпалъ такую штуку, что кати на ней хоть къ чертямъ на кулички — горя мало! Это не сани съ ковровымъ задкомъ и мягкимъ сидѣньемъ, въ которыхъ ѣзжали, бывало, откупщики на прогулки; это не кошева, въ которой и до сихъ поръ ныряютъ по ухабамъ разные куплетисты и фокусники, неизбѣжные гости всѣхъ русскихъ ярмарокъ, или тащатся мелкіе комиссіонеры; это даже не монастырская кибитка, въ которой возятъ архіерея, хотя она тоже напоминаетъ, какъ и та, бабушкинъ чепчикъ. Все въ этой повозкѣ отличается прочностью и удобствомъ: косогоръ ли, ухабы ли, — все ни по чемъ! Засѣлъ въ этотъ „бабушкинъ чепчикъ“, придѣланный къ высокимъ розвальнямъ, натянулъ на ноги мѣховое одѣяло, и лети хоть за тридевять земель, ни о чемъ не горюя. Что ей сдѣлается, этой повозкѣ? Наскочила на кочку — не опрокинется на бокъ, потому что по бокамъ придѣланы отводы, въ родѣ вторыхъ оглоблей, которые берегутъ ее слѣва и справа; понесется ли она по ухабамъ, и то не бѣда,— развѣ только охнешь отъ неожиданности, а ужъ языкъ не прикусишь и не станешь бодаться съ ямщицкой

спиной или съ собственнымъ чемоданомъ. Чепчикъ сдѣланъ изъ прочнаго лубка и околоченъ цыновкой; на случай солнца сверху спускается „зонтикъ“, въ родѣ маркизы; на случай вьюги поднимается фартукъ до самаго „зонтика“, а на случай голода или жажды въ кузовѣ имѣются два кармана, гдѣ хранится все необходимое: закуска, водка, коньякъ, потому что непьющіе купцы такъ же рѣдки, какъ бѣлыя мыши. Подъ сидѣньемъ перина, за спиною подушки — ни сидишь, ни лежишь, — а натянешь на ноги мѣховое одѣяло да завернешься покрѣпче въ доху поверхъ полушубка, поднимешь фартукъ, опустишь зонтикъ, такъ тутъ не то что ухабы или морозъ, а никакая метель не страшна!

Пока тянулась однотонная ледяная картина, пока по свѣжему слѣду мчались повозки, крутя за собою снѣжную пыль, Матвѣй Матвѣевичъ, не успѣвши еще освоиться, ежился и потиралъ руки отъ холода, молча слѣдя за бѣгомъ коней, а потомъ, откинувшись глубоко на подушки, сказалъ Бородатову:

— Ну-ка, Ѳедоръ Николаевичъ!

Тотъ проворно вынулъ изъ кармана повозки откупоренную бутылку и молча налилъ коньяку въ дорожный стаканчикъ. Панфиловъ молча выпилъ, закусилъ леденцомъ и молча кивнулъ на бутылку, что означало: „выпей и ты!“

Выпилъ и Бородатовъ. Выпили и въ задней повозкѣ; только тѣ догадались это сдѣлать пораньше и теперь занялись разговорами. Кротовъ узналъ, что ямщика зовутъ Еремѣемъ и что у него пять человѣкъ дѣтей.

Переговариваясь и пощучивая съ ямщиками, путники весело и незамѣтно добрались до первой станціи Кстово, расположенной почти у самаго берега. Сдѣлавъ крутой поворотъ, тройка съ звономъ и шумомъ подкатила къ крыльцу.

Въ это время отъ крыльца отъѣзжали повозки Тирмана и Сучкова. Какъ только ихъ увидалъ Матвѣй Матвѣевичъ, такъ и остолбенѣлъ, не успѣвъ даже вытащить изъ повозки ногу, и стоялъ на одной, точно аистъ.

— Такъ и есть! — вскричалъ онъ въ негодованіи. — Надули! Надули! — И, выскочивъ на снѣгъ, не зналъ куда дѣваться. — А все вы! — набросился онъ на приказчиковъ. — Укладывались десять лѣтъ!! Староста! — закричалъ онъ еще громче, распахивая шубу.

Ему вдругъ сдѣлалось жарко. Видъ его былъ необычайно строгъ и грозенъ, а голосъ, на который мгновенно выбѣжалъ староста, прогремѣлъ какъ команда.

— Живо! курьерскихъ!.. А вы, молодцы, — обратился онъ къ ямщикамъ, — удружили: получай по рублю!

Новые ямщики цѣлой толпой хлопотали между тѣмъ у повозокъ, впрягая свѣжія тройки.

— Скорѣй! Скорѣй! — волновался Матвѣй Матвѣевичъ, то подходя къ повозкамъ и понукая ямщиковъ, то вглядываясь вдаль и щурясь на двѣ чернѣвшія точки.

— Прописаны подорожныя? Садитесь! Пошелъ, ямщикъ! догоняй тѣ тройки!

Взвился кнутъ, — и лошади помчались. Волненіе Панфилова однако не улеглось. Все вниманіе его было обращено на дорогу, по которой вдалекѣ неслись двѣ скачущія тройки.

— Пошелъ! гони! — покрикивалъ Матвѣй Матвѣевичъ, не спуская съ нихъ глазъ. — Да пошелъ же ты, чортъ тебя побери!

Ямщикъ нахлестывалъ лошадей и торопился, въ надеждѣ получить на чай, не обращая на брань вниманія. Тройка летѣла, а Панфиловъ все не могъ успокоиться.

— Гони! Гони!.. Ахъ, ты, скотина, какъ ѣдешь! Вотъ я тебя! я тебя!

Но браниться во весь голосъ на морозѣ не такъ-то легко, и Матвѣй Матвѣевичъ усталъ.

— Да ругайся хоть ты!—толкнулъ онъ Бородатова, откидываясь въ глубину повозки.

Бородатовъ началъ ругаться экспромтомъ, безъ всякаго вдохновенія. Между тѣмъ разстояніе между тройками мало-по-малу все сокращалось. Вотъ ужъ ясно виднѣется сучковская повозка съ ея глянцовитымъ чепчикомъ; алые лучи заходящаго солнца сверкаютъ на ея лощеной цыновкѣ.

„Теперь не уйдешь!“ радостно думаетъ Панфиловъ.

Лихо несутся передніе кони, но еще лише скачутъ панфиловскія тройки.

— Ухъ! Эй! Го-го! — вскрикиваетъ ямщикъ тонкимъ, почти бабьимъ голосомъ и, не помня обиды, взмахиваетъ кнутомъ и руками, привставши на облучкѣ.

Но вотъ и вторая станція — Кадинцы. Тройки лихо подкатили къ крыльцу, колокольчики безпорядочно заболтали на всѣ лады, точно перебивая другъ друга, а чрезъ полчаса они уже заливались надъ другими конями среди волжскаго раздолья.

Солнце сѣло. Начинало вечерѣть, когда миновали Юркино. Январскія сумерки стали заволакивать даль, и въ воздухѣ замѣтно свѣжѣло. Сѣрый иней всгавалъ надъ лѣсами, окутывая постепенно весь правый берегъ; бѣлая равнина тоже сѣрѣла и мало-по-малу сливалась съ туманною далью. Первыя звѣзды замигали на небѣ. Крѣпчалъ морозъ. Съ хрустомъ и скрипомъ осѣдалъ снѣгъ подъ полозьями; казалось, скрипѣла и самая повозка, точно сафьянный кошель. Серпъ луны, бѣлѣвшій недавно точно облако, теперь позолотился.

Анютинъ выглянулъ изъ повозки, и глаза его встрѣтились съ отблескомъ луны. Онъ было отвернулся, но

потомъ снова поднялъ глаза къ небу. Что-то ласковое просилось къ нему въ душу; эти кроткіе лучи среди мертвой природы будили въ немъ его полузадавленную молодость.

— Шельмецъ, шельмецъ! — тихонько прокряхтѣлъ онъ, и неизвѣстно къ кому относились эти слова.

Въ это время около нихъ показался задокъ чьей-то повозки.

— Никакъ обгоняемъ?

— Сучковская! — отвѣтилъ ямщикъ и завертѣлъ по воздуху кнутомъ.

Слышно было, какъ рядомъ сопѣли лошади и скрипѣла чужая повозка и чужой колокольчикъ вмѣшивался въ пѣсню ихъ колокольчика. Но приказчикамъ было все равно: они ли кого обгоняютъ, ихъ ли кто,— они вовсе не интересовались и спокойно лежали подъ чепчикомъ, разсуждая объ ужинѣ да любовно поглядывая впередъ, гдѣ среди вечерней мглы сверкали огненныя точки.

— Слава Тебѣ, Господи! Къ Лыскову подъѣзжаемъ.

Среди сумерекъ заманчиво блестѣли эти огни, напоминая семейный очагъ, и чѣмъ ближе къ нимъ подъѣзжали тройки, тѣмъ шире разсыпались и множились они, сверкая тутъ и тамъ и лаская утомленные взоры.

Всѣ четыре тройки, одна за одной, въѣхали въ Лысково, нарушивъ своимъ звономъ и скрипомъ мирную тишину. Впереди всѣхъ ѣхалъ Тирманъ съ Кумачевымъ, за нимъ Панфиловъ и приказчики.

Сучковъ оказался послѣднимъ.

III

Послѣ долгой однообразной ѣзды и мороза хорошо поразмять усталыя ноги, взбираясь вверхъ по лѣстницѣ; хорошо войти въ теплую горницу, сбросить съ

себя тяжелую промерзшую шубу, сѣсть за столъ, покрытый чистою скатертью, и отвѣдать горячихъ щей, которыя дымятся пахучимъ паромъ.

Лысково — большое село, раскинувшееся по полугорью, — по зернышку да по сѣмечку заманивало къ себѣ хлѣбную торговлю, а заманивъ, вцѣпилось въ нее, какъ сторожевая собака, и потянуло на свою сторону со всѣхъ концовъ Поволжья, съ маленькихъ селъ и деревенекъ, и нарѣзало себѣ улицъ, настроило каменныхъ домовъ, какіе сдѣлали бы честь даже уѣздному городу.

Пока пріѣзжіе топали по лѣстницѣ, крякали съ холода, сбрасывали шубы, Кумачевъ успѣлъ уже вбѣжать въ комнату и осмотрѣться. Посрединѣ стоялъ общій столъ съ тарелками, ножами и погребцомъ, изъ котораго торчала, разинувъ ротъ, горчичная банка. Вслѣдъ за Кумачевымъ вошли и всѣ остальные, расчесывая бороды и слипшіеся волосы. Человѣкъ, стоявшій въ дверяхъ съ салфеткою подъ мышкой, вопросительно глядѣлъ на нихъ, готовый сорваться съ мѣста по первому слову, но потомъ, раздумавъ, подошелъ къ столу и началъ лѣниво трепать о него салфетку, дѣлая видъ, что сметаетъ.

— Любезный, а гдѣ же хозяинъ? — сказалъ Сучковъ.

— Сію минуту-съ! — бойко отвѣтилъ человѣкъ и торопливо ушелъ.

Всѣ сѣли вокругъ стола; пробовали заговорить, но разговоръ не вязался. Веселѣе другихъ глядѣлъ Кумачевъ. Онъ не оставилъ безъ вниманія ни одного предмета: поглядѣлъ въ окно, поцарапалъ пальцемъ горчичную ложку, къ которой присохли комки, заглянулъ и въ сундукъ, окованный жестью, — такихъ сундуковъ много стояло здѣсь по стѣнамъ—для продажи. И все ему казалось забавнымъ и новымъ.

— А знаете, что намъ предложитъ сейчасъ хозя-

инъ?—шутливо сказалъ Панфиловъ.—Держу пари, что заливную стерлядь, щи и котлеты! Здѣсь двадцать девять лѣтъ подаютъ одно и то же.

Въ это время за стѣной послышался говоръ и кашель, потомъ заскрипѣли половицы подъ чьими-то мягкими шагами, и въ комнату вошелъ Дмитрій Ульяновичъ, сѣденькій, ветхій старичокъ, въ валенкахъ, въ длинномъ затасканномъ сюртукѣ. Появленіе его сопровождалось хриплымъ тяжелымъ дыханіемъ, довольно громкимъ, отчего казалось, будто въ груди у него спрятана машинка, которая должна была шипѣть и пищать при каждомъ вздохѣ. Едва взглянулъ Дмитрій Ульяновичъ на компанію, какъ всплеснулъ руками и даже остановился.

— Господи, Мать Пресвятая Богородица!.. вотъ радость-то! Привелъ Господь на старости опять увидаться!.. Матвѣй Матвѣевичъ! батюшка! И вы, Иванъ Александрычъ! Да что же такое, и Викторъ Германовичъ здѣсь!

Онъ въ умиленіи замолчалъ, склонивъ голову на бокъ и улыбаясь, а машинка въ его груди еще просвистѣла двѣ жалобныя нотки.

— Да какъ же это вы такъ... всѣ-то разомъ? Точно согласились? — заговорилъ онъ снова, здороваясь со всѣми за руку. —Почтеніе, сударики мои!—поклонился онъ приказчикамъ, привѣтливо улыбаясь, отчего все лицо его сморщилось и сѣденькая бородка запрыгала съ радости.

Предъ Кумачевымъ однако онъ въ недоумѣніи остановился и сказалъ:

— Молодого человѣка вотъ не признаю что-то. Не сынокъ ли Матвѣя Матвѣевича?

— Это молодой Кумачевъ, — отвѣтилъ Тирманъ.

На лицѣ хозяина сейчасъ же выразилось уваженіе къ громкой фамиліи московскаго богача.

— Здравствуйте и вы, батюшка! — поклонился онъ

почтительно.—Дѣдушку вашего, царство ему небесное, знавалъ, Савелья Никитича, и вашего батюшку всегда принималъ, когда пріѣзжали; вотъ и васъ Господь привелъ увидать... Хе-хе-хе, Господи Боже!.. Чего же прикажете, гости дорогіе? — обратился онъ ко всѣмъ.

— А что у васъ есть?

— Да что угодно: стерлядочку заливную можно.. хорошая стерлядочка! Щи можно подать, а то и котлетку, ежели будетъ угодно, зажаримъ.

— Ну, вотъ и пожалуйте всего этого.

Дмитрій Ульяновичъ, вздыхая и приговаривая что-то, ушелъ, а приказчики тѣмъ временемъ успѣли молча объясниться съ стоявшимъ въ дверяхъ человѣкомъ. Привлекши его вниманіе громкимъ кашлемъ, Анютинъ мигнулъ ему и молча щелкнулъ себя двумя пальцами въ шею, около уха, затѣмъ опять мигнулъ, а черезъ минуту человѣкъ притащилъ уже имъ водки и рыбы.

Въ это время въ дверяхъ показался смотритель съ подорожными въ рукахъ. Это былъ низкорослый, крѣпкій человѣкъ, которому, несмотря на его сѣдину, казалось, конца не будетъ. Одѣтъ онъ былъ въ двухбортный суконный сюртукъ съ двумя рядами мѣдныхъ пуговицъ, на которыхъ изображалась почтовая труба, изогнутая въ видѣ кренделя.

— Хлѣбъ да соль, господа! — сказалъ онъ, глядя на водку.—Для васъ все готово, извольте получить.

Онъ положилъ на столъ полупечатные, полуписанные листы казенной бумаги, затѣмъ, высоко поднявъ брови, погладилъ свою длинную бороду и поглядѣлъ на закуску не то лукавымъ, не то невиннымъ взглядомъ.

— Очень быстро изволите ѣхать! — одобрительно продолжалъ онъ, переминаясь съ ноги на ногу и потирая руки, точно готовясь чѣмъ-то погрѣться.

— Замѣчательно быстро! — похвалилъ еще разъ

смотритель, не отходя отъ стола, потомъ добавилъ угрюмо:— А между прочимъ имѣю честь кланяться!

Онъ нехотя удалился, а пріѣзжіе принялись за ужинъ, который былъ вскорѣ нарушенъ веселымъ смѣхомъ, внезапно раздавшимся внизу, и быстрымъ топотомъ по лѣстницѣ: кто-то вбѣгалъ торопливыми легкими шагами и, задыхаясь, смѣялся отъ всей души. Всѣ встрепенулись и взглянули на дверь.

Продолжая хохотать, въ комнату вбѣжала молодая женщина, но, увидавъ компанію, мгновенно остановилась и замолчала. За нею, отдуваясь, вошелъ молодой мужчина въ очкахъ, которыя запотѣли отъ холода и были спущены на конецъ носа.

— Занято! — подумалъ онъ вслухъ, видя, что сѣсть ему некуда.

— Мы можемъ подвинуться, — предложилъ Сучковъ. — Господа, подвиньтесь!

Вошедшій поклонился въ знакъ благодарности и сказалъ, вытирая платкомъ очки:

— Садись, Оля, есть мѣсто.

Очевидно, та не ожидала встрѣтить столько народа, когда, смѣясь, вбѣгала сюда, и сначала смутилась, но теперь оправилась отъ перваго впечатлѣнія и быстрымъ взглядомъ оглядѣла комнату и людей; взглянула мелькомъ на Сучкова и Кумачева, остальныхъ не замѣтила и снова весело улыбнулась.

— Охъ, устала!—промолвила она, садясь прямо на сундукъ и кокетливо поправляя на себѣ пуховый платокъ, который, казалось, ласкалъ и нѣжилъ ея шею и щеки.

— Садись къ столу, что жъ ты на сундукѣ!

— Дай отдохнуть минутку! Какая тяжелая лѣстница!

Она хотѣла вздохнуть, но вмѣсто того опять засмѣялась и встала, поправивъ еще разъ пуховый пла-

токъ, закрывавшій ея спину и грудь и однимъ концомъ спускавшійся до полу.

Это была женщина лѣтъ двадцати двухъ; голову ея покрывала высокая барашковая шапка, похожая на мужскую; изъ-подъ шапки виднѣлись волосы, почти такіе же темные, какъ барашекъ; и брови были темныя и рѣсницы темныя и длинныя, но когда она открывала глаза (взгляды ея были внезапны), то рѣсницы, казалось, блестѣли заодно съ ея крупными лучистыми глазами. Ея появленіе внесло что-то живое, непонятно-бодрое, вызывающее.

Запахъ щей, начинавшій было щекотать аппетитъ, утратилъ свое обаяніе; приказчики сбились въ кучу; Сучкову стали мѣшать его красивыя бакенбарды, которыя пришлось поэтому откидывать вправо и влѣво и хмурить на нихъ свои красивыя брови; Кумачевъ пересталъ ѣсть; Тирманъ задумался о чемъ-то очень лукавомъ, и только Матвѣй Матвѣевичъ продолжалъ свой ужинъ, хладнокровно наблюдая за всей компаніей.

— Оля, ты будешь ѣсть?

— Разумѣется, Леонидъ! Я голодна, — отвѣчала та, усаживаясь за столъ.

— Человѣкъ! Какой у васъ ужинъ?

— Щи-съ! Заливная стерлядь!

Оля, не давъ ему договорить, сказала:

— Стерлядь, стерлядь!

Пользуясь случайнымъ сосѣдствомъ, Матвѣй Матвѣевичъ спросилъ Леонида, далеко ли онъ ѣдетъ.

— Въ Малмыжъ, — отвѣчалъ тотъ угрюмо. — Чортъ знаетъ, какое сообщеніе, — на лошадяхъ! А женѣ вотъ нравится.

Та улыбнулась при этихъ словахъ. Улыбнулся и Панфиловъ, взглянувъ на нее. Улыбнулись и прочіе, предвкушая общій разговоръ.

— Да, мнѣ очень нравится, — сказала Оля, видя,

что всѣ на нее смотрятъ. — Желѣзная дорога такъ монотонна, такъ надоѣла! А здѣсь все новое. Говорили, будто дорога плохая, — нисколько.

— Это только сначала, сударыня, — вѣжливо замѣтилъ Панфиловъ. — А пойдутъ Чугуны, Осташиха... да еще Аракчеевскія аллеи, такъ не приведи Богъ!

— А вы далеко ли? — спросилъ Леонидъ.

— Мы на ярмарку, въ Ирбитъ ѣдемъ.

Стали говорить про Ирбитъ и Малмыжъ, и разговоръ мало-по-малу сдѣлался общимъ. Выяснилось, что Леонидъ — чиновникъ изъ Петербурга, ѣдетъ по дѣламъ службы, получивъ въ Малмыжѣ мѣсто инспектора, не то податного, не то еще какого-то, — никто этого не разобралъ.

— Я такъ рада, что ѣду на тройкахъ, — говорила его жена Кумачеву.—Это такое удовольствіе: летишь— сердце замираетъ!

Она очень мило зажмурила глаза и еще милѣе содрогнулась при этомъ, словно показывая, какъ у нея замираетъ сердце. Между тѣмъ ужинъ былъ оконченъ и Панфиловъ поднялся. Глядя на него, встали и прочіе.

— Желаю благополучнаго пути!—поклонился онъ Ольгѣ Васильевнѣ.

— Вы уже ѣдете? Поѣдемъ и мы, Леонидъ!

Тотъ, очевидно, не имѣлъ обыкновенія спорить, молча вытеръ губы, поправилъ очки и, положивъ деньги, сталъ собираться. Кумачевъ воспользовался случаемъ подержать Ольгѣ Васильевнѣ шубу; за это она поблагодарила его такою улыбкой, что не только у него, но даже и у Сучкова заблестѣли глаза.

Съ сожалѣніемъ подумалъ теперь Кумачевъ о своей лихой тройкѣ, которая унесетъ его далеко отъ всѣхъ: „Чортъ бы ее побралъ вмѣстѣ съ Тирманомъ,—куда торопиться!“ Однако, всѣ вышли на дворъ подъ веселый говоръ и пожеланія Дмитрія Ульяновича, который со свѣчкою стоялъ на лѣстницѣ и провожалъ ихъ на-

зывая всякаго по имени и вплетая сюда разныя слова, въ родѣ: „Господи Боже“, „батюшка“, „Никола милостивый“...

„Веселая барынька“, подумалъ Панфиловъ про Ольгу Васильевну, пока та усаживалась въ повозку. Зная хорошо слабости своихъ спутниковъ, особенно Сучкова, онъ былъ увѣренъ, что ихнія тройки теперь далеко не ускачутъ, а будутъ все время держаться поближе къ новой. Вотъ прекрасный случай уѣхать отъ нихъ такъ далеко, что послѣ и не догонятъ!

Обрадованный этой надеждой, Матвѣй Матвѣевичъ обратился къ своему ямщику сладкимъ упрашивающимъ голосомъ:

— Милый, уважь! поѣзжай какъ можно пошибче, голубчикъ. А ежели ты, мерзавецъ,—вдругъ перемѣнилъ онъ тонъ,—плохо поѣдешь, такъ я тебя...

Онъ что-то еще добавилъ, но уже вовсе тихо, почти шипя, чтобы не слыхали другіе.

IV.

Было темно, когда выѣхали на дорогу. Новорожденный мѣсяцъ весело блестѣлъ на небѣ, но не освѣщалъ пути. Всѣ тройки, одна за другой, ѣхали ровной рысью. Какъ ни торопилъ ямщика Панфиловъ, какъ ни упрашивалъ, какъ ни бранилъ, тотъ былъ ко всему равнодушенъ. Обладая лучшими лошадьми по всей Волгѣ, лысковскіе ямщики никогда и никуда не торопятся.

— Да пошелъ же! да обгони ты тѣхъ, ради Бога!—волновался Матвѣй Матвѣевичъ, боясь пропустить хорошій случай.—Ну, вотъ тебѣ рубль,—гони живѣй!

— Покорно благодарю, — отвѣчалъ равнодушный ямщикъ.—Ѣдемъ и такъ очень поспѣшно.

Безнадежно ругнувъ его за упрямство, Матвѣй Матвѣевичъ запахнулся, надвинулъ поглубже шапку и сталъ дремать. Мало-по-малу и всѣхъ убаюкала тихая

морозная ночь. Спокойно и ровно катились повозки по гладкой дорогѣ; спокойно глядѣлъ на нихъ одноглазый мѣсяцъ, окруженный широкимъ бѣлесоватымъ кольцомъ; одинъ только Кумачевъ долго не могъ успокоиться и лежалъ, уткнувшись въ воротникъ дохи. Какихъ-какихъ думъ не передумалось ему въ это время! То вставалъ передъ нимъ обольстительный образъ Ольги Васильевны, неустанно влекущій куда-то на радости и восторги; то видѣніе смѣнялось тоской о предстоящей жизни, безцѣльной и черствой; то вспоминалось старое, когда онъ былъ еще Мифочка, рѣзвый мальчишка, школьный затѣйникъ... Гдѣ они всѣ, его школьные сверстники? Куда, по какимъ путямъ разбрелась эта молодая ватага, когда-то сплоченная одними интересами, подчасъ разгульная и безшабашная? Куда дѣвались тѣ немногіе, мечтавшіе о наукѣ, объ идеалахъ?.. Прошла весна,—и нѣтъ никого, и разсѣялись они всѣ по городамъ и столицамъ, и не слыхать о нихъ. Вотъ несутъ и Мифочку быстрые кони, только куда? Зачѣмъ? Что ему нужно отъ всей этой ярмарки и всѣхъ этихъ коммерческихъ оборотовъ, которымъ придется посвятить всю свою жизнь?.. Всю жизнь!. Ничего ему не нужно отъ нихъ, и самъ онъ не знаетъ, почему такъ нелѣпо сложилась его судьба.

Беззаботною рысью несутся тройки, дремлютъ усталые сѣдоки, а дорога между тѣмъ, измѣнивъ ненадолго Волгѣ, устремилась въ сторону и пошла озерами. Показались Аракчеевскія аллеи, а съ ними и первые ухабы, по которымъ, ныряя, загромыхали повозки, то проваливаясь съ шумомъ, то опять выбиваясь.

Обсаженная деревьями, по приказу графа Аракчеева, дорога славилась своими ухабами. Проснувшись отъ сильныхъ толчковъ, Тирманъ въ раздраженіи крикнулъ какое-то слово, на которое даже ямщикъ обернулся и сочувственно сказалъ:

— Ничего не подѣлаешь!

— Ахъ, Аракчеевъ!—ворчалъ и Бородатовъ, когда на ухабѣ на него наваливался Матвѣй Матвѣевичъ.— Охъ Аракчеевъ...

Никто не могъ спать. То и дѣло раздавался чей-нибудь голосъ; чаще всѣхъ Ольга Васильевна взвизгивала на ухабахъ и затѣмъ хохотала. Ночной вѣтеръ проносился иногда между деревьями и передувалъ дорогу, выхватывая залежи разсыпчатаго снѣга. Долгая зимняя ночь казалась безконечной; ухабы и толчки не давали продолжительнаго покоя. Иногда, неожиданно просыпаясь, Матвѣй Матвѣевичъ вскрикивалъ раздраженно:

— Да пошелъ же ты, чортовъ сынъ!

Но зная ямщицкое упрямство, опять завертывался въ доху и засыпалъ тревожнымъ короткимъ сномъ. Долго тянулись Аракчеевскія аллеи, и сразу нельзя было привыкнуть къ ухабамъ; а когда съ ними уже свыклись, аллеи кончились, и тройки приближались къ городу Василь-Сурску.

Начинало свѣтать.

Ночная мгла разсѣивалась, но небо было мутное, и мутенъ былъ воздухъ. По скату горы чернѣли разбросанныя жилища, за ними вставали въ туманѣ городскія постройки и, точно скелетъ, торчала длинная тощая колокольня съ длиннымъ шпицемъ, стремившимся, какъ указательный перстъ, къ мутному небу, и, глядя на него, вспоминалась истина, что на устьѣ Суры построилъ царь Василій городъ Василь отъ набѣговъ татаръ-разбойниковъ; а глядя на громадный острогъ, господствовавшій надъ городомъ, приходила на умъ другая истина, что въ городѣ Василѣ развелось въ позднѣйшія времена очень много своихъ собственныхъ воровъ и разбойниковъ.

— А что, Матвѣй Матвѣевичъ, не испробовать ли здѣсь знаменитыхъ стерлядей? — сказалъ Сучковъ, подходя къ повозкѣ Панфилова, когда они

подъѣхали къ станціи.—Сурская стерлядь сама во рту, говорятъ, таетъ.

Матвѣй Матвѣевичъ былъ очень сердитъ, и ему было не до стерлядей.

— А ну ихъ...

Впопыхахъ онъ даже не нашелся, какъ выбраниться, и закричалъ:

— Староста! Лошадей!

Зимній разсвѣтъ способенъ всякаго навести на досаду: такъ онъ медлителенъ и какъ будто лѣнивъ. Ѣдешь-ѣдешь, а все та же муть вокругъ, все то же мутное небо и сѣдой туманъ впереди, какъ было и въ Василь-Сурскѣ, а между тѣмъ городъ уже миновали, и цѣлый часъ прошелъ, какъ тронулись дальше. Сѣро, блѣдно, неуютно. Вѣтеръ совершенно затихъ, но утренній морозъ пощипываетъ сильнѣе, едва высунешь носъ изъ-подъ шубы.

Дорога снова лежала вдоль Волги, гладкая, раздольная, а упрямцы, русскіе ямщики, смѣнились старательными чувашами.

— Смотри ты, если плохо поѣдешь! — пригрозилъ своему ямщику Матвѣй Матвѣевичъ, показывая кулакъ.

Чувашъ молча вспрыгнулъ, по-обезьяньи, на облучокъ и во весь духъ погналъ тройку, боясь ослушаться приказанія. Вся его фигура, маленькая, тщедушная, выражала такую покорность, что если-бъ лошади взглянули повнимательнѣе, кто ими распоряжается, пожалуй перестали бы слушаться.

Всѣ ямщики были точно братья родные: всѣ румяные, волосатые, съ узкими глазами и рѣденькими бородками; у всѣхъ одинаковыя шапки съ чернымъ околышемъ изъ поддѣльнаго барашка, одинаковые кафтаны и одинаковый общій видъ, — суетливый и жалостный, и странно ихъ видѣть на лихихъ тройкахъ среди волжскаго раздолья.

У станціи „Сумки“ чувашей стояла цѣлая толпа,

533676

когда къ ней подъѣхали тройки. Сучковъ, желая потѣшить Ольгу Васильевну, крикнулъ, подходя къ ямщикамъ:

— Василій Иванычъ!

— А?—хоромъ отвѣтили чуваши и разомъ обернулись на окрикъ.

Ольга Васильевна залилась звонкимъ хохотомъ.

— Василій Иванычъ!—крикнулъ съ другой стороны Тирманъ.

Вся толпа обернулась въ его сторону.

— Да развѣ васъ всѣхъ зовутъ Васильями Иванычами?—со смѣхомъ спросилъ Кумачевъ.

— А что же!—отвѣчали простодушные чуваши.

— Это у нихъ любимыя имена,—объяснилъ Панфиловъ, подойдя къ компаніи.

— Нисколько! — возразилъ Сучковъ. — Дѣло не въ любви. А когда ихъ переводили въ христіанскую вѣру, то для краткости взяли да окрестили всѣхъ Василіемъ, чтобъ недолго возиться.

Ольга Васильевна опять засмѣялась.

— А крестный отецъ у нихъ былъ тоже общій, дьяконъ Иванъ, — продолжалъ Сучковъ. — Вотъ погодите, скоро пріѣдемъ мы въ Чебоксары, въ ихъ чувашскую столицу, которую они считаютъ лучшимъ городомъ въ мірѣ. Попробуйте-ка сказать про нее дурное слово!

Ольга Васильевна то хохотала, то куталась въ свою шубу и ни минуты не могла пробыть спокойно на мѣстѣ. Мужъ ея, напротивъ, былъ сосредоточенъ и стоялъ поодаль, разговаривая съ старостой. Пока перепрягали повозки, уже совсѣмъ разсвѣло; на зенитѣ прояснѣло, но остальная часть неба была все еще мутна; сѣдой морозъ сгустился туманомъ и не хотѣлъ пускать сквозь себя солнечные лучи, и долго боролось солнце съ его упрямствомъ.

Тройки уже катились по гладкой спокойной дорогѣ,

а туманъ все держался, и солнце съ трудомъ пробивалось, но, наконецъ, пробилось и выглянуло сквозь его чащу желтымъ золотистымъ пятномъ, безъ лучей, какъ луна. На него можно было смотрѣть безъ боли, только некому было смотрѣть: утомленные безсонною ночью, всѣ спали, и лишь жадные до денегъ чуваши летѣли сломя голову, другъ за другомъ, заслуживая обѣщанную рублевку. То и дѣло нахлестывали они лошадей и кричали тонкимъ пронзительнымъ голосомъ, не то ихъ ругая, не то подзадоривая. Однообразны и неразборчивы были ихъ крики; казалось, они все время кричали одну и ту же непонятную фразу:

— Тары-бары! тары-бары!

Когда солнце окончательно побѣдило и, прогнавъ туманъ, глянуло полнымъ свѣтомъ, сѣрѣвшая окрестность вдругъ ожила. Помолодѣли угрюмые берега, засверкала дорога мелкими искрами и побѣжали за тройками уродливыя тѣни. Тирманъ проснулся, когда яркіе лучи ударили его по глазамъ, и спросилъ:

— Гдѣ ѣдемъ?

Но, не дожидаясь отвѣта, отстегнулъ отъ чепчика зонтикъ, чтобъ не безпокоило солнце, и снова завалился спать, а Кумачевъ отъ скуки велѣлъ ямщику пѣть.

Чувашъ можетъ всегда пѣть экспромптомъ: ѣдетъ лѣсомъ—воспѣваетъ лѣсъ, ѣдетъ рѣкою — воспѣваетъ рѣку и складываетъ въ пѣсни разныя были и небылицы... А если ему дать еще и „шыбырь“, чувашскую волынку, онъ готовъ дудить въ нее, покуда глаза не нальются кровью.

И ямщикъ запѣлъ:

— Кошъ, кошъ вурманъ, кошъ вурманъ! *).

— Да ты по-русски!—перебилъ его Кумачевъ.

— Не знаю,—отвѣтилъ тотъ и продолжалъ по-своему.

*) Шумитъ, шумитъ дубравушка.

Голосъ его былъ тихъ и вялъ, и слушать его было неинтересно.

Солнце приближалось къ полудню, когда, миновавъ Козьмодемьянскъ и Ильинскую пустынь и отдохнувъ по гладкой дорогѣ, путники увидали впереди чувашскую столицу. Бородатовъ, желая развлечься, обратился къ своему ямщику:

— Василій Ивановичъ! что это за деревня виднѣется?—сказалъ онъ, указывая на Чебоксары.

Тотъ угрюмо молчалъ.

— Я говорю, что это, молъ, за деревня тамъ?—повторилъ Бородатовъ, издѣваясь надъ самолюбіемъ чуваша.

— Дуракъ!—отвѣтилъ ямщикъ безъ всякой злобы, а съ такимъ сердечнымъ и глубокимъ сожалѣніемъ къ Бородатову, точно скорбѣлъ за его незнаніе.—Да это нашъ городъ Чуксары!—восторженно добавилъ онъ, повернувши свое волосатое румяное лицо.

— Вотъ какъ!—невиннымъ тономъ проговорилъ Бородатовъ, будто только-что догадавшись.—А давно ли она городомъ стала, Василій Иванычъ?

— Давно! Тутъ жилъ одинъ честный чувашинъ, тогда была деревня, а потомъ умеръ—и стала она городомъ.

— Чѣмъ же онъ былъ честенъ?

— Богатый былъ и добрый былъ, теперь такихъ нѣтъ. Чуксаромъ его звали. И деревню звали Чуксаровой, и городъ зовемъ Чуксары.

Однако, ставши городомъ, Чебоксары не далеко ушли отъ деревни и глядѣли сиротливо и жалостно, не веселѣе самихъ чувашей. Неизвѣстно, гдѣ находились жители; несмотря на ясный полдень, почти нигдѣ не встрѣчалось прохожихъ, а тѣ, которые встрѣчались обертывались, чтобы послушать, какъ гремятъ колокольчики, и, не останавливаясь, продолжали свой путь. Наперекоръ обычаю, даже у трактира не было замѣтно

оживленія, и самая вывѣска глядѣла угрюмо съ своей высоты, засиженная голубями. Высокая лѣстница, со слѣдами мокрыхъ подошвъ, вела прямо въ общую залу, гдѣ было грязно, тѣсно и пахло чѣмъ-то кислымъ. Здѣсь же находился приказчикъ за стойкой, державшій въ рукахъ номеръ столичной газеты и интересовавшійся „молодой особой", которая ищетъ мѣста и согласна въ отъѣздъ.

За столомъ, возлѣ стойки, подперевъ рукою голову сидѣлъ слѣпой старикъ, не пилъ, не ѣлъ и ничего не дѣлалъ; онъ казался спящимъ, хотя не спалъ.

За этой слѣдовала другая комната — купеческая гдѣ напиться чаю стоило дороже, чѣмъ въ общей. Она была свѣтлѣе, чище и богаче первой. На окнахъ стояли банки съ геранью, по стѣнамъ красовались отечественные герои и висѣла большая картина, съ изображеніемъ барина въ шляпѣ, танцующаго съ полногрудой дѣвицей, на которую зазѣвался бы любой изъ „Васильевъ Иванычей", большихъ охотниковъ до русской красоты; у дѣвицы висѣла чуть не до пятокъ толстая коса, а у барина рука съ платкомъ была лихо изогнута и поднята надъ шляпой; подъ картиной было подписано: „По улицѣ мостовой".

Среди комнаты стояло нѣсколько столиковъ. За однимъ изъ нихъ сидѣли пожилой купецъ, съ большой рыжей бородой, и худенькій застѣнчивый приказчикъ оба ѣли селянку—купецъ рѣшительно и громко, приказчикъ скромно и почтительно. Разслабленный органъ, прислоненный къ стѣнѣ, услаждалъ ихъ слухъ, наигрывая старинный танецъ—англезъ.

Окончивъ ѣду, купецъ перекрестился, вытеръ бороду салфеткой и сдѣлалъ что-то губами, похожее на „бр-вв..." И органъ, когда кончилъ танецъ, тоже издалъ звукъ, похожій на „бр-вв", и замолкъ.

Компанія новоприбывшихъ вошла въ эту комнату и, такъ какъ мѣста было немного, заняла почти всѣ столы.

Стали обѣдать. Сидѣвшіе рядомъ, Кумачевъ и Ольга Васильевна, не вслушиваясь въ общіе разговоры, занимались своею бесѣдой и иногда оба, закрывшись салфетками, хохотали до слезъ.

Ихъ тоже никто не слушалъ; только приказчики иногда поглядывали на нихъ и молча переглядывались между собою.

Послѣ обѣда потребовали себѣ—кто чаю, кто вина, и приказали позвать гусляра.

Черезъ минуту въ комнату вошелъ неслышными шагами тотъ самый слѣпецъ, что сидѣлъ возлѣ буфетной стойки. Войдя, онъ молча поклонился. Трактирный служитель снялъ покрывало съ небольшого стола, на который вначалѣ никто не обратилъ вниманія, и подставилъ стулъ. Это были старинныя гусли, съ виду похожія на низенькій столъ съ натянутыми струнами; вмѣсто крышки у этого стола былъ придѣланъ резонаторъ изъ тонкой пѣвучей доски, въ родѣ той, какая бываетъ у обыкновенной гитары. Гусли, несмотря на свою ветхозавѣтность, были очень чувствительны, и когда служитель, подставляя стулъ, слегка зацѣпилъ ихъ ногой, онѣ таинственно загудѣли.

— Ну-ка, Илья Михеевичъ,—сказалъ Панфиловъ,—сыграй что-нибудь.

— Что желаете?—спросилъ тотъ.

— Что знаешь, дѣло твое.

Старикъ не спѣша обтеръ руку объ руку и откашлялся. Потомъ приподнялъ немного правое вѣко, изъподъ котораго блеснулъ помутившійся глазъ молочнаго цвѣта, и опять зажмурилъ его, и опять обтеръ руку объ руку.

— Что жъ?—проговорилъ онъ, усаживаясь за гусли и засучивая рукава.—Нешто „Среди долины ровныя“, или „Во лѣсахъ было во дремучихъ“ сыграть?

Онъ опять откашлялся и поправилъ подъ собою

стулъ. Никто ему не отвѣтилъ. Всѣ съ любопытствомъ глядѣли на него и ожидали пѣсни.

Это былъ очень древній старикъ, изъ бывшихъ дворовыхъ. Глубокія морщины избороздили его высокое чело и легли двумя крупными складками надъ носомъ гдѣ срастались мохнатыя безцвѣтныя брови. Волосъ на головѣ было много, точно у молодого; спереди они были расчесаны на прямой проборъ, а сзади кончались своеобразными завитками; они вились только въ самомъ концѣ, вслѣдъ за перемычкой, оставшейся отъ ношенія картуза; вились они еще на вискахъ и надъ ушами; сѣдина серебрилась по всей головѣ, сильно впутавшись въ бороду и въ усы; слѣпые глаза казались крѣпко зажмуренными, и мелкія морщины лучились отъ нихъ во всѣ стороны.

Прежде чѣмъ заиграть, старикъ дунулъ на гусли, потомъ поднялъ обѣ руки и положилъ на струны. Его тонкіе пальцы, очевидно не привыкшіе ни къ какой грубой работѣ, быстро зацѣпились и пробѣжались по струнамъ, которыя красиво и мягко загудѣли. Звукъ ихъ походилъ на цитру или на арфу, только былъ еще мягче, еще меланхоличнѣе.

— Бурлацкую, что ли?—тихо проговорилъ старикъ какъ бы самъ съ собою и, послушавъ, всѣ ли молчатъ, взялъ первый аккордъ.

„Э-эй, ух-немъ!..“ дружно и бодро грянули струны, и сейчасъ же отозвались, точно эхо, другія струны—унылыя, тихія, повторяя тотъ же мотивъ, тѣ же слова: „Э-эй, ух-немъ!..“

Вотъ она безыскусная русская пѣсня, навѣянная не весельемъ, не радостью, а безпощадной нуждой. Что въ ней? Какія слова, какая музыка? „Эй, ухнемъ! эй ухнемъ! еще разикъ, еще разъ,—эй, ухнемъ!“ И больше ничего въ ней нѣтъ, въ этой пѣснѣ, и звучитъ она просто, однообразно,—но кажется, что мало ей низкой комнаты, просится она на просторъ, подъ глубокое не-

бо, на волжскіе берега, гдѣ она родилась. И кажется, что уже вырвалась она на желанную волю, звучитъ она уже гдѣ-то не здѣсь, а льется далеко за окномъ, и замираютъ ея скорбные звуки среди родныхъ береговъ:

Э...эй, ух-немъ!

Э...эй, ух-немъ!

Одинъ и тотъ же мотивъ, одни и тѣ же слова; ни конца, ни начала нѣтъ въ этой пѣснѣ, какъ не знаешь, гдѣ искать начало и гдѣ конецъ въ горемычной долѣ русскаго бездомнаго человѣка, у котораго и впереди нужда да горе, и позади то же самое.

„Э-эй, ух-немъ!..“ мягко и скорбно прошѣли еще разъ трепетавшія струны, и сладко замерли чуть слышные отзвуки среди глубокаго молчанія.

Слѣпецъ опустилъ на колѣни руки и сидѣлъ неподвижно, свѣсивъ на грудь сѣдую голову.

Панфиловъ сидѣлъ, откинувши голову назадъ и прислоняясь затылкомъ къ стѣнѣ.

— Экая пѣсня!—сказалъ онъ, умилившись, когда старикъ шевельнулся и кашлянулъ въ руку.—Молодчина, Илья Михеевичъ, хорошо играешь!

Леонидъ сидѣлъ, согнувшись надъ столомъ, и вертѣлъ въ рукахъ вилку. Очевидно, на него гусли произвели впечатлѣніе, хотя онъ молчалъ. Ольга Васильевна восторженно улыбалась.

— Какая прелесть!—шепнула она Мифочкѣ и не знала, что бы можно еще сказать, но видно было, что она желала что-то добавить.

— Дѣдушка, а ты не поешь?—спросилъ Мифочка, когда старикъ въ задумчивости сдѣлалъ опять небрежный переборъ струнъ, готовясь къ новой пѣснѣ.

— Ни,—отвѣчалъ старикъ, мотнувъ головой.—Голосу нѣту.

— Сыграй еще, Илья Михеевичъ,—сказалъ Панфиловъ.

— „Долину ровную“? — освѣдомился тотъ. — Али „Матушку“?

— Что знаешь.

— Ну, „Долину“.

Для чего было пѣть, когда тоскующая струна звучала слаще всякаго голоса? Подъ руками Ильи Михеевича гусли казались не инструментомъ, а живымъ русскимъ сердцемъ народнымъ, гдѣ скорбь, вѣками нажитая, переродилась въ сладкую пѣсню. И томятъ и ласкаютъ слухъ эти пѣвучія задумчивыя струны, и вливается пѣсня мягкой волной прямо въ душу и проситъ отвѣта, и во всякой душѣ готовъ ей отвѣтъ.

Бряцали и пыли медлительные аккорды, а какая-то тоненькая струнка, пробиваясь иной разъ черезъ общій гулъ, звенѣла такъ упоительно, точно заливалась горючими слезами о тѣхъ молодыхъ подружкахъ, которыхъ нѣтъ около высокаго развѣсистаго дуба, что стоитъ одинъ-одинешенекъ „среди долины ровныя, какъ рекрутъ на часахъ“.

И почему-то всякому припомнилось его собственное прошлое, съ тихими неповторяющимися радостями, и у всякаго шевельнулась на сердцѣ сладкая грусть. „Ничего нѣтъ горше для человѣка, какъ вспомнить свое счастливое время“... И это счастливое время было у всякаго. Было—и нѣтъ его. Закатилось оно, какъ вечернее солнце, когда глядишь въ потухающую даль и жалко становится дня, утраченнаго напрасно. Богъ вѣсть, кто и что чувствовалъ въ это время, но всѣ сидѣли въ задумчивости. Тирманъ опустилъ голову на руку, точно закрываясь отъ солнца, которое играло на его перстнѣ съ маленькимъ лучистымъ камешкомъ. Рыжій купецъ, гладя бороду, глядѣлъ въ потолокъ; Ольга Васильевна вслѣдъ за мотивомъ покачивала головой и чуть замѣтно шевелила носкомъ башмака. На лицѣ Матвѣя Матвѣевича сіяла улыбка, но не та, что раздвигаетъ губы во время веселья; это была рѣдкая

улыбка, озаряющая лицо человѣка только въ минуты тихой душевной радости.

Едва гусляръ окончилъ пѣсню, какъ Панфиловъ и Леонидъ, точно сговорившись, воскликнули одновременно:

— Псаломъ! Сыграй псаломъ!

— Въ самомъ дѣлѣ, псаломъ!—сказали и прочіе, но старикъ отвѣчалъ съ видимымъ сожалѣніемъ:

— Мѣсто не такое, господа хорошіе!—и громко вздохнулъ, какъ бы жалуясь:—трактиръ-съ!..

Это замѣчаніе заставило всѣхъ оглядѣться. И вся обстановка мгновенно опошлилась въ ихъ глазахъ, все стало нелѣпо, мерзко—и эти круглыя полоскательницы съ плавающими разложившимися окурками, и недопитыя чашки, и пляшущій баринъ на стѣнѣ, все стало грубо, гадко; не хотѣлось смотрѣть.

Панфиловъ вынулъ изъ кошелька нѣсколько серебряныхъ монетъ.

— Держи, Илья Михеевичъ!

— Благодарю покорно.

Пока давали другіе, Матвѣй Матвѣевичъ сказалъ, ни къ кому не обращаясь:

— Ну, я пойду!

И, усаживаясь въ повозку, строго спросилъ ямщика:

— Можешь ты ѣхать проворно?

— А что жъ!—согласился тотъ.—Можно.

— Валяй!—согласился и Панфиловъ, протягивая деньги.—Вотъ тебѣ рублевка!

Чувашъ засуетился, вспрыгнулъ на облучокъ и, дѣйствительно, такъ погналъ по городу тройку, что бродившія куры съ крикомъ бросились въ разныя стороны.

Опять выѣхали на Волгу. День блисталъ во всей красотѣ.

Анютинъ и Кротовъ, наслаждаясь въ своей повозкѣ полной свободой, то и дѣло передавали по очереди

другъ другу бутылку съ коньякомъ, и наконецъ, вспоминая гусли, запѣли „Среди долины ровныя“. Голоса ихъ раздавались на далекое пространство, но были дики и рѣзки; и такъ какъ это были два баса, а старались брать во что бы ни стало теноровыя ноты, то и ревѣли оба какъ заблудившіяся коровы.

— Кто ихъ тамъ рѣжетъ!—сердито сказалъ Матвѣй Матвѣевичъ.

Бородатовъ сейчасъ же привсталъ и высунулся изъ повозки. Увидѣвъ его, пѣвцы еще сильнѣе заголосили, но онъ погрозилъ имъ кулакомъ, потомъ махнулъ рукою. Тѣ поняли, въ чемъ дѣло, и пѣніе прекратилось.

V.

На каждой станціи чуваши мѣнялись, но видно было, что всѣ они жили по одному закону: даютъ—бери, бьютъ—бѣги!

Пока Панфиловъ раздумывалъ о своихъ дѣлахъ, а Бородатовъ, зѣвая по сторонамъ, придумывалъ отъ скуки поводъ, чтобы придраться еще разъ къ чувашу и посмѣяться надъ его простотой, ямщикъ все прислушивался къ повозкѣ, все крутилъ головой и, наконецъ, сказалъ сѣдокамъ, доѣхавъ до Кріушей:

— Погода мѣняется.

— А что?

— Не скрыпитъ.

Дѣйствительно, полозья уже не скрипѣли, и бѣлоснѣжная равнина не блистала мелкими искрами, какъ было поутру, но холодно было по-прежнему.

— Къ ночи распуститъ.

Но ночь была еще не близка.

Солнце едва начинало склоняться къ западу, когда, миновавъ Курочкино, подъѣзжали къ Свіяжску. Отъ него „рукой подать“ до Казани, и эта мысль занимала путниковъ больше всего.

— А что, Василій Ивановичъ,—сказалъ Бородатовъ, придумавъ наконецъ шутку надъ ямщикомъ:—отъѣхали мы теперь половину станціи?

— Во здѣсь половина,—указалъ тотъ кнутомъ на дорогу.—Проѣхали половину!

— А которая половина больше, Василій Ивановичъ: та, что проѣхали, или та, что осталась?

Чувашъ, не разобравъ всей коварности вопроса, отвѣтилъ попросту:

— Эта половина побольше противъ той половины.

Бородатовъ захохоталъ.

— У него даже половины неодинаковы!—восхищался онъ передъ Панфиловымъ.

— Вѣрно, вѣрно,—возразилъ снова чувашъ:—новая половина будетъ побольше.

Проѣхавъ еще немного, ямщикъ, вѣроятно, сообразилъ, что надъ нимъ посмѣялись, и пожелалъ отомстить.

— Купецъ,—обратился онъ къ Бородатову,—куда по-твоему дальше: съ Чуксаръ на Свіяжскъ или съ Свіяжска на Чуксары?

— А что?

— Да такъ.

— По-моему все равно.

— А какъ же такъ: съ Рождества до Пасхи—вонъ сколько, а съ Пасхи до Рождества — э-ге-ге сколько!

И оба они стали смѣяться: Бородатовъ надъ чувашемъ, а чувашъ надъ Бородатовымъ.

Чѣмъ ниже опускалось солнце, тѣмъ желтѣе становились его лучи, и закатъ нисколько не походилъ на вчерашній. Горизонтъ не рдѣлъ, какъ вчера, яркимъ румянцемъ, а весь закутался легкою сѣрою дымкой, и зарево было желто, точно больное. Эта желтизна широко разлилась по небу, почти до зенита, и глядѣлась

въ стекла свіяжскихъ построекъ, отражалась на стѣнахъ и крышахъ, отчего и весь городъ казался какимъ-то желчно-больнымъ. Желтолицые татары встрѣтили на почтовой станціи тройки и громко заболтали про нихъ непонятныя рѣчи.

— Живѣй, живѣй, князь! Некогда дожидаться!— крикнулъ имъ Матвѣй Матвѣевичъ.

Два татарина махнули ему рукой, и никто ничего не отвѣтилъ. Сравнительно съ чувашами, это были гордецы и упрямцы. Даже, когда тройки были готовы, ямщики залѣзли на облучки не по-ямщицки: осторожно и расчетливо, чтобъ усѣсться удобно.

Подобравъ вожжи, татаринъ издалъ сердитый гортанный звукъ, похожій на „ы“, и крѣпко ударилъ кнутомъ. Лошади тронули.

Сильно вечерѣло, но въ воздухѣ замѣтно становилось теплѣе.

— Послушай, князь,—сказалъ Тирманъ:—отсюда вѣдь есть на Казань прямая дорога, минуя Услонъ?

— Есть.

— Валяй по ней. На чай получишь.

— Не можно,—отвѣтилъ татаринъ такимъ рѣшительнымъ тономъ, послѣ котораго уже не на что было надѣяться.

— Три рубля дамъ,—соблазнялъ его Тирманъ.

— Не можно: вьюга была,—повторилъ ямщикъ и сердито зарычалъ на коней:—ы! ы!

Въ какіе-нибудь полчаса вечернія сумерки смѣнились совершенною темнотой. Ни звѣздъ, ни луны не было на черномъ небѣ,—скучно дѣлалось на рѣкѣ. Повозки ѣхали тихо, лошади часто фыркали и щелкали задней подковой о переднюю. Въ воздухѣ становилось сыро и знойко. Насилу добрались до Услона, который стоитъ на высокомъ берегу Волги. Отсюда днемъ видна была бы Казань какъ на ладони, но теперь среди темноты только блестѣли вдали стройными рядами огненныя точки.

Огни эти сливались въ широкую таинственную картину. Впереди была уже не почтовая станція, не торговое село съ мелькающими огоньками, а цѣлый городъ, освященный исторической славой. Не такъ ли, казалось, во тьмѣ ночной стоялъ Грозный царь, дожидаясь разсвѣта съ своею ратью? Не сюда ли направлены были черныя пасти орудій, гдѣ теперь заманчиво и мирно мелькаютъ и тянутся по всѣмъ направленіямъ огненныя точки, словно брызги великаго несокрушимаго пламени—прогресса!.. Но это не та Казань, стѣны которой въ густомъ дыму взлетѣли на воздухъ, не та Казань, метавшая стрѣлы и камни, лившая на враговъ горячую смолу. Та Казань далеко, за нѣсколько верстъ отъ этой и подо льдомъ журчитъ у слѣдовъ ея рѣчка Казанка, журчитъ о сѣдой древности, о славныхъ вождяхъ и дикихъ набѣгахъ,..

— Ну, господа, въ дорогу, въ дорогу!—заторопился Панфиловъ.—Не видали мы, что ли, видовъ! Не въ первый разъ ѣдемъ.

И повозки тронулись дальше.

Спустившись по крутизнѣ, переѣхали Волгу поперекъ и помчались затѣмъ по твердой землѣ. Городская жизнь чувствовалась на всякомъ шагу. Встрѣчались экипажи, извозчики и даже пѣшеходы. Послѣ волжскаго безлюднаго пути все это дѣйствовало отрадно... Встрѣчные окрики, огонекъ папироски и голоса прохожихъ усиливали нетерпѣніе. Вечерняя темнота загородила отъ взоровъ пирамидальный памятникъ надъ братской могилой воиновъ, стоящій одиноко, вдали отъ городской черты. Но вотъ миновали уже лѣтніе загородные сады, занесенные снѣгомъ, промчались мимо катка и ледяныхъ горъ,—и вотъ она, желанная Казань! Вотъ замелькали фонари и освѣщенныя окна; повозки, сдѣлавъ нѣсколько поворотовъ по улицамъ и переулкамъ въѣхали наконецъ во дворъ почтовой станціи. И всѣ

спѣшили въ теплую горницу сбросить съ плечъ дорожныя шубы и заморить „голоднаго червяка“.

Во время ѣды, замѣтивъ на стѣнѣ огромную желтую афишу, Тирманъ радостно воскликнулъ:

— Матвѣй Матвѣевичъ! да сегодня вѣдь *Фаустъ* въ театрѣ!

Онъ проворно подбѣжалъ къ стѣнѣ и началъ водить пальцемъ по строчкамъ.

— Смотрите, смотрите, съ какимъ составомъ! Не взять ли билеты? Напьемся чайку да и маршъ!

— Я съ удовольствіемъ,—согласился Сучковъ.

— И я не прочь; только мнѣ нужно на минутку въ Богородицкій монастырь заѣхать,—сказалъ Панфиловъ и обратился къ приказчикамъ:—пойдемте!

— Ну что монастырь! Богъ съ нимъ совсѣмъ!—соблазнялъ Тирманъ.—Лучше чайку стаканъ да прямо въ театръ.

— Традиціи, господа,—извините. Всѣ предки ѣзжали. И я не могу иначе.

Съ этими словами Панфиловъ вышелъ изъ комнаты, а за нимъ и приказчики; Сучковъ тоже ушелъ по какимъ-то дѣламъ вмѣстѣ съ своимъ приказчикомъ, освѣдомившись еще разъ у Тирмана:

— Такъ значитъ, увидимся въ театрѣ?

— Конечно, конечно!

А когда всѣ ушли, Тирманъ весело потеръ руки и проговорилъ съ усмѣшкой:

— Ишь ты, народъ какой музыкальный!

Ольга Васильевна, всю дорогу не обращавшая вниманія на своего мужа, очень удивилась и обидѣлась, когда тотъ заявилъ, что ни въ театръ не пойдетъ, потому что страшно усталъ, ни дальше не поѣдетъ, а будетъ ночевать въ Казани.

— Что за глупости ты выдумалъ—ночевать! Съ какой радости? Всѣ поѣдутъ, а мы ночевать!

— Сама знаешь иначе нельзя. Нужно Казань ос-

мотрѣть, потомъ визитъ генералу необходимъ... Вотъ только гдѣ ночевать,—вопросъ?

— Позвольте посовѣтовать?—сказалъ Тирманъ.— Возьмите извозчика, онъ вамъ покажетъ двѣ-три гостиницы; когда отыщете номеръ хорошій, возвращайтесь сюда за супругой и багажомъ,.. А мы тѣмъ временемъ васъ, сударыня, покараулимъ!—улыбнулся онъ Ольгѣ Васильевнѣ.

Леонидъ съ озабоченнымъ лицомъ началъ рыться въ карманахъ, вытащилъ нѣсколько серебра, опять убралъ его, заглянулъ въ бумажникъ и сталъ одѣваться.

— Такъ ты меня здѣсь дожидайся!—сказалъ онъ женѣ.

Кумачевъ сидѣлъ задумавшись: ему было на что-то досадно. Не то усталость тяготила его, не то печалила скорая разлука съ Ольгой Васильевной, которая, замѣтивъ его хандру, подошла и, погрозивъ пальцемъ сказала:

— Что вы такой кислый? Васъ растрясло?

Безъ мужа она стала еще бойчѣе. Шалила, топала на Мифочку ногами, обвязала его салфеткой и заставила что-то съѣсть.

Тирманъ только рукой махнулъ и рѣшилъ, что ему здѣсь дѣлать нечего.

— Пока до свиданія!—сказалъ онъ, вставая.—Позвольте, сударыня, оставить моего юношу на ваши заботы. Не обижайте его безъ меня, а я черезъ полчаса вернусь. Ровно черезъ полчаса. Меѳодій Ивановичъ! Прощайте!

Ни Кумачевъ, ни Ольга Васильевна ничего ему не отвѣтили. Они взглянули другъ на друга, и оба засмѣялись.

— Вы меня будете слушаться?—строго сказала она.—Васъ оставляютъ подъ моимъ покровительствомъ, берегитесь!

Мифочка повеселѣлъ.

— Не будьте къ нему строги,—путливо добавилъ Тирманъ уже въ дверяхъ.—А вы, Меѳодій Ивановичъ, поцѣлуйте ручку, чтобы васъ не наказывали!

И съ этими словами ушелъ, затворивъ дверь и подумавъ о городѣ Малмыжѣ, которому судьба посылаетъ такую инспекторшу.

VI.

Монастырскія ворота были заперты, когда къ нимъ подъѣхалъ Матвѣй Матвѣевичъ. Сначала приказчики подергали кольцо, потомъ Кротовъ началъ стучать кулакомъ.

— Отоприте!

Но кругомъ все молчитъ,
Монастырь крѣпко спитъ...

вспомнилось Панфилову.

Вскорѣ послышались торопливые шаги, и чей-то голосъ изъ-за ограды спросилъ:

— Кто тутъ?

— Доложите матушкѣ игуменьѣ,—сказалъ Матвѣй Матвѣевичъ,—что московскій купецъ Панфиловъ, проѣздомъ въ Ирбитъ, желаетъ помолиться.

Шаги начали удаляться, а черезъ нѣсколько минутъ послышался говоръ монахинь. Звякнули ключи, заскрипѣли тяжелыя ворота, и передъ путниками предстали старый сторожъ, мать-казначея и молодая послушница съ фонаремъ въ рукахъ. Панфилова принимали здѣсь всегда почтительно: каждый годъ, заѣзжая, онъ оставлялъ монастырю кое-какую лепту.

— Спаси васъ Царица небесная,—сказала мать-казначея, кланяясь чуть не въ поясъ. Пожалуйте, батюшка, пожалуйте.

Мраченъ и угрюмъ казался соборъ святителя Николая. Таинственная мгла висѣла подъ куполомъ, и священный трепетъ овладѣвалъ душою при взглядѣ на

мерцающія лампады. Сама вѣчность, казалось, царила здѣсь. Та вѣчность, что никогда и никѣмъ не будетъ разгадана, страшная, неумолимая вѣчность, поглощающая вѣка за вѣками. Нѣтъ ей предѣла и нѣтъ ей имени, и никакое слово не назоветъ ея тѣмъ, что она есть.

Икона Казанской Богородицы, древняго греческаго письма, была закована въ жемчужную ризу и бриллiантовая корона надъ нею сіяла мягкимъ лучезарнымъ блескомъ отъ множества неугасимыхъ лампадъ.

Панфиловъ, а за нимъ и другіе опустились на колѣна и, перекрестясь, поклонились въ землю.

Вліяла ли на нихъ молчаливая темнота съ дрожащими полосами свѣта, или минувшіе вѣка, вставая въ этомъ сумракѣ, подавляли своимъ величіемъ, но только всѣ тихо и молча приложились къ иконѣ, еще разъ поклонились въ землю и, не разговаривая, вышли изъ храма.

— Въ театръ!—сказалъ Матвѣй Матвѣевичъ, садясь въ сани.

Начался уже второй актъ, когда путники, взявъ билеты въ послѣднихъ рядахъ креселъ и смущаясь дорожными костюмами, стали пробираться на свои мѣста. Фаустъ пѣлъ уже каватину, и Панфиловъ, недовольный шумомъ, который самъ же производилъ, пролѣзая по ряду, сердился на публику, не убиравшую своихъ колѣнъ, а только шикѣвшую на него за безпокойство. Опустившись на стулъ, онъ оглядѣлся и, замѣтивъ невдалекѣ Сучкова, улыбнулся ему.

Фаустъ былъ очень хорошъ и знаменитое „до“ взялъ такъ легко и красиво, что каватину заставили повторить. Послѣ одинокой безлюдной дороги и послѣ всѣхъ разнообразныхъ впечатлѣній было странно сидѣть въ многолюдномъ собраніи и слышать громъ аплодисментовъ.

Мефистофель зато былъ черезчуръ нелѣпъ въ пе-

стромъ костюмѣ и грубомъ непозволительномъ гримѣ, отчего и казался паяцемъ.

„Посмотримъ, чья побѣда!“ пропѣлъ Мефистофель и, взявши Фауста подъ руку, увлекъ его за кулисы. Эта фраза заставила Матвѣя Матвѣевича оглядѣться, и, пока сцена передъ выходомъ Маргариты оставалась пуста, онъ всматривался въ публику, ища глазами Тирмана, а въ мысляхъ гвоздемъ засѣла мефистофелевская фраза: „посмотримъ, чья побѣда!“

Вошла Маргарита, съ традиціонной длинной косой, въ бѣломъ платьѣ, съ сумочкой, висѣвшей ниже колѣнъ, и мечтательно запѣла про незнакомца-юношу, а потомъ сѣла за прялку. Дѣйствіе проходило своимъ чередомъ, не возбуждая особенныхъ восторговъ. Явились опять Мефистофель съ Фаустомъ, взяли подъ руки: одинъ Марту, другой Маргариту, и пропѣли квартетъ. Мефистофель дѣлался съ каждой минутой несноснѣе, къ тому же онъ не выговаривалъ какой-то буквы, и Панфилову хотѣлось его освистать.

Но какъ хорошо было глядѣть на этотъ зеленѣющій садъ, погруженный въ тихій сумракъ! Вотъ пробились лунные лучи, вотъ Маргарита упала въ объятія Фауста; зажурчали тихія влюбленныя рѣчи... „О, ночь любви!“ пѣлъ Фаустъ, обнявъ Маргариту, но видно было, какъ онъ скосилъ глаза на дирижера, маленькаго лохматаго человѣка, который, взмахивая своей палочкой, весь устремлялся впередъ, точно собираясь вспорхнуть и улетѣть.

Въ антрактѣ, встрѣтясь съ Сучковымъ, Матвѣй Матвѣевичъ спросилъ его, здѣсь ли Тирманъ

— Не видать... Либо здѣсь, либо спитъ: у него вѣдь даромъ время не тратится.

Далѣе разговоръ перешелъ на оперу. Впечатлѣніе обоихъ было не лестное, и они рѣшили больше не слушать.

— Гдѣ Тирманъ?—спросили по пріѣздѣ на „Вольную почту“.

— Нѣту-съ,—отвѣтилъ слуга.

— А не сказалъ, куда онъ поѣхалъ?

— Одѣлись и поѣхали. Въ восемь часовъ еще собрались.

Панфиловъ стоялъ, вытаращивъ глаза.

— А повозка?—выговорилъ онъ со страхомъ.

— Въ повозкѣ поѣхали, ваше степенство.

Матвѣй Матвѣевичъ вспыхнулъ и, поднявъ обѣ руки, потрясъ надъ головой кулаками.

— Ахъ, я старый дуракъ!!—вскричалъ онъ въ негодованіи.—И какъ я не раскусилъ этого проклятаго Тирмашку!.. Надулъ! Опять надулъ!.. И какъ я не догадался! Сколько мы времени потеряли напрасно! Въ восемь часовъ удралъ, а теперь?..

Онъ вынулъ часы.

— Не догонишь! Теперь далеко... не догнать!—говорилъ онъ, чуть не плача.

— Да полно, Матвѣй Матвѣевичъ,—успокоивалъ его Сучковъ.—Видите, какая погода. Дорога испортилась,—по такой дорогѣ далеко не ускачетъ.

— Нѣтъ, какъ я попался, какъ я попался! Словно мальчишку надулъ. И догадало его подсунуть мнѣ эту чортову афишу!

Онъ дернулъ афишу за уголъ и сорвалъ ее со стѣны.

— Все равно, Матвѣй Матвѣевичъ, давайте закусимъ на скорую руку, да и маршъ вдогонку.

Подали ужинъ, но Панфилову не пилось, не ѣлось.

— Ахъ, этотъ Тирмашка несчастный!

Однако плотный ужинъ и хорошее вино успокоили его настолько, что, садясь въ повозку, онъ сказалъ Бородатову:

— Ну, теперь остается только спать!

Погода была гнилая. Съ неба что-то сыпалось, не снѣгъ, не дождикъ, а какія-то мокрыя и жесткія брызги.

Сначала ѣхали городомъ, и, когда миновали такъ

называемую Швейцарію, прилегающую къ Казани, повозки погрузились во мракъ.

Ночь была черна. Лошади бѣжали осторожно. Путь лежалъ уже не по Волгѣ, а по твердой землѣ. Ямщикъ боялся сбиться и сдерживалъ тройку, часто перекликаясь съ задними ямщиками. Мороза не было, но вѣтеръ дулъ винтомъ и забирался подъ шубы. Колокольчики надоѣдливо верещали, особенно по ухабамъ, откуда насилу вылѣзали повозки.

До Собакина еще кое-какъ добрались, но дальше пошла такая дорога, которую даже татары ругали по-русски, а путники бранили татаръ. Матвѣй Матвѣевичъ выходилъ изъ терпѣнія, но какъ на грѣхъ, то коренникъ распряжется, то пристяжная перескочитъ постромку или повозка такъ засядетъ въ ухабъ, что лошади по нѣсколько минутъ бьются на мѣстѣ, прежде чѣмъ ее вытащить; приходилось даже вылѣзать изъ повозокъ.— Ну-ка!—говорилъ тогда безцеремонно татаринъ,—выходи, бачка!

Когда же распрягся коренникъ и пришлось дожидаться, пока его приводили въ порядокъ, Панфиловъ истощилъ весь запасъ вразумительныхъ словъ, и ругаться началъ уже Кротовъ, который зналъ откуда-то много татарской брани. Длинная ночь, безжалостно длинная, скучная и сырая, казалось, завладѣла всѣмъ міромъ и не думала никогда проходить. Ѣдешь-ѣдешь, а все вокругъ прежній мракъ, и съ неба все что-то сыплется, и вѣтеръ мечется по полю, и слышится шумъ за повозкою, словно чей-то хвостъ мететъ за собою падающій снѣгъ...

Усталость взяла свое. Опустили зонты, подняли фартуки и стали дремать подъ скучную пѣсню начинающейся вьюги.

Матвѣй Матвѣевичъ спалъ какъ убитый, не просыпаясь даже на станціяхъ, когда въ повозку впрягали свѣжихъ коней. Когда онъ открылъ глаза, былъ уже

день. Онъ разсѣянно оглядѣлся, какъ бы стараясь что-то припомнить, и видно было по этимъ неувѣреннымъ взорамъ, что впечатлѣніе какой-то грезы не успѣло еще остыть.

— Гдѣ ѣдемъ?—спросилъ онъ Бородатова, протирая глаза.

Но Бородатовъ самъ только что проснулся и въ свою очередь спросилъ ямщика:

— Гдѣ ѣдемъ?

Не оборачиваясь, татаринъ поднялъ руку и указалъ на виднѣвшіяся вдали сквозь голые прутья деревьевъ первыя постройки уѣзднаго города.

— Вотъ онъ, Малмыжъ!

День былъ хмурый. Сѣрое небо съ бродячими рваными тучами словно обвисло отъ гнетущей тяжести и готовилось опять порошить снѣгомъ. Сухой вѣтеръ налеталъ порывами, ударялся въ задокъ повозки и пропадалъ надолго. Когда, проѣхавъ городомъ, вошли на почтовую станцію и Панфиловъ увидалъ смотрителя, то первое слово было про Тирмана:

— Давно ли проѣхалъ?

— Тирманъ?.. давно. Въ пять часовъ утра были здѣсь,—сказалъ смотритель, справившись по книгѣ.— И ѣсть ничего не стали; перепрягли лошадей—и дальше!

— Чортъ знаетъ, что за человѣкъ!—пожалъ плечами Панфиловъ и обратился къ Сучкову:—а вы говорите—догонимъ!

Въ комнатѣ за столомъ сидѣло нѣсколько человѣкъ; разговоръ у нихъ начался, вѣроятно, давно, потому что нельзя было понять, изъ-за чего они спорили. Развалившись на широкомъ стулѣ и лихо заложивъ ногу на ногу, сидѣлъ пожилой военный, въ теплой венгеркѣ, безъ погоновъ, но съ Георгіемъ на груди, съ пухлыми, точно отъ флюса, щеками, усатый, съ широкой плѣшью. Должно быть, въ своей жизни онъ накуралесилъ не мало; это замѣчалось по его толстому носу,

разрисованному, какъ драгоцѣнная ваза, мелкими красненькими узорами; наконецъ, по хриплому громкому кашлю было замѣтно, что его богатырское нутро сотни разъ простужалось, прокапчивалось табакомъ и выжигалось всѣми средствами, какія только вѣдомы акцизнымъ чиновникамъ. Передъ нимъ сидѣли два еврея: черноглазый, безъусый юноша съ оттопыренными ушами и сѣдой старикъ съ горбатымъ носомъ. Юноша молчалъ, а старикъ спорилъ и горячился; возражая, онъ то съеживался, то, растопыривъ пальцы, откидывался всѣмъ корпусомъ въ сторону, точно защищаясь обѣими руками отъ своего усатаго собесѣдника, лихо сидѣвшаго на стулѣ и глядѣвшаго веселыми круглыми глазами.

Еврей доказывалъ, что евреи необходимы Россіи, что безъ евреевъ заглохнетъ промышленность, а военный говорилъ, что „всѣхъ васъ нужно прогнать“.

— Мнѣ ужасно удивительно, какъ образованный человѣкъ можетъ такъ думать!

— А ты слыхалъ пословицу: „Жидъ самъ бьетъ, и самъ кричитъ“. И всегда вы такъ: запутаете человѣка разными гешефтами, облупите его, надуете, и сами же кричите, что васъ притѣсняютъ. Именно такъ: жидъ самъ бьетъ, и самъ кричитъ!

Еврей страшно заволновался, выслушавъ это. Онъ всплеснулъ руками, и глаза его заблестѣли.

— Жидъ самъ бьетъ, и самъ кричитъ!—воскликнулъ онъ въ ужасѣ.—Господинъ полковникъ! Ай-ай, господинъ полковникъ, какой это срамъ говорить такую пословицу! А вы знаете, почему такая нехорошая пословица стала насвѣтѣ? А вы знаете, господинъ полковникъ, откуда такая пословица? Былъ на свѣтѣ одинъ глупый панъ; у пана была дочь, которая сходила съума; одинъ глупый докторъ приказалъ, чтобъ сумасшедшая панна всегда веселилась... И вотъ тогда сдѣлали какое дѣло: взяли еврея, одѣли его въ длинный кафтанъ, надѣли колпакъ,

въ руки дали палку и привели еврея на дворъ, а на него выпускали стаю собакъ. Собаки рвали его со всѣхъ сторонъ за кафтанъ, бѣдный еврей билъ собакъ палкой и кричалъ на весь дворъ. Я думаю, всякій будетъ кричать, когда его рвутъ собаки! А безумная панна сидѣла у окошечка и хохотала, и говорила всѣмъ: вотъ какой жидъ—самъ бьетъ и самъ кричитъ! Вотъ, господинъ полковникъ, откуда эта глупая пословица!

Въ это время его увидалъ Сучковъ.

— А, Матвѣй Ивановичъ!—сказалъ онъ, подходя къ нему и протягивая руку.—И вы съ нами на ярмарку?

Еврей, очевидно, былъ радъ, что пришли посторонніе, и сейчасъ же пустился въ веселые разговоры съ Сучковымъ.

— Вы не забыли старика Левенштейнъ? Это его внучекъ,—говорилъ онъ, указывая на молодого еврея.—Отъ дѣдушки сынъ, отъ сына еще сынъ. Ого! вотъ какой старикъ Левенштейнъ!—И, желая пошутить, добавилъ:—дѣдушка—капиталъ, отецъ—процентъ, а этотъ—процентъ на процентъ.

Молодой еврей при этомъ началъ улыбаться все шире и шире, а военный, глядя на него, прыснулъ вдругъ со смѣху, и солидный животъ его опять заплясалъ по колѣнамъ.

Въ комнату вошли еще двое: мужчина въ старой рыжей енотовой шубѣ и дама необыкновенно крѣпкаго сложенія. Это оказались артисты: мужчина былъ фокусникъ, а дама—силачка, „дѣвица-геркулесъ“, какъ она называлась въ афишахъ. Такіе артисты за стаканъ водки не откажутся въ зимнюю стужу потѣшить попутчиковъ и когда Сучковъ предложилъ имъ „погрѣться“, то фокусникъ, прежде чѣмъ выпить, накрылъ шляпой рюмку, гдѣ потомъ вмѣсто рюмки оказалась перчатка.

— Вотъ это, братъ, люблю!—воскликнулъ военный.—У насъ тоже въ полку былъ одинъ... такъ тотъ, чортовъ

сынъ, у меня въ сапогѣ яичницу сдѣлалъ! Настоящую яичницу—съ лукомъ!!

Фокусникъ, не долго думая, досталъ изъ кармана колоду картъ и подалъ военному, щеголяя массой перстней съ поддѣльными камнями.

— Прошу замѣтить одну... Вотъ такъ! Держите всю колоду двумя пальцами. Вотъ такъ! Ну, ейнъ, цвей, дрей!

Онъ сильно ударилъ рукой по колодѣ, которая вся разлетѣлась по полу, и только замѣченный валетъ остался у военнаго въ пальцахъ.

— Ахъ ты, чортъ тебя забодай!—весело крикнулъ военный.

Фокусникъ еще много показывалъ разныхъ штукъ, такъ что его и „дѣвицу-геркулеса“ пришлось угощать обѣдомъ.

VII.

Время летѣло быстро. Закусивъ въ Малмыжѣ, Панфиловъ уже нигдѣ болѣе не оставался подолгу, и когда солнце стало клониться къ западу, тройки мчались отъ послѣдней деревни, приближаясь къ вятскимъ дремучимъ лѣсамъ, которые тянутся непрерывно на нѣсколько сотъ верстъ.

Маленькія пузатенькія лошадки, гнѣдыя, съ черными гривами, черными хвостами и такими же черными полосками по всему хребту, лихо несли повозки, такъ лихо, какъ не ѣздятъ еще нигдѣ въ Россіи. Ямщикъ-татаринъ даже не трогалъ кнута, а лишь покрикивалъ на нихъ, называя ихъ крысами.

Уже алѣли верхушки дремучаго лѣса и жуткая просѣка разинула свою пасть, какъ гигантское чудовище, и страшно было погружаться въ ея нѣдра.

Сразу стало темнѣе и глуше, едва въѣхали въ эту просѣку. Мѣткое народное слово недаромъ зоветъ такіе лѣса дремучими. Старый непроходимый лѣсъ теменъ

и страшенъ, похмуръ и задумчивъ. Сѣдыя сосны стоятъ сторожами по обѣ стороны просѣки, а дальше—мракъ и тайна.

Мчится тройка во весь духъ по гладкой скрипучей дорогѣ, звенитъ колокольчикъ, пофыркиваютъ шустрыя лошадки, но уже нѣтъ того раздолья, нѣтъ той свободы, что по широкой Волгѣ: гнететъ и давитъ окольная чаща. Старыя косматыя ели и толстыя сосны, отягченныя снѣгомъ, хмуро слѣдятъ и провожаютъ взорами рѣзвую тройку,—куда, молъ, летишь?.. А солнце все ниже опускается, и въ лѣсу становится мрачнѣе, мрачнѣе, и начинаетъ трогать душу нелѣпое предчувствіе.

— Абзы!—сказалъ Бородатовъ.

Ямщикъ обернулся. На этотъ откликъ повернется съ удовольствіемъ всякій татаринъ.

— Спой, что ли, намъ пѣсенку!

— Для ча нѣтъ, бачка! На водку дашь?

— Да вѣдь вамъ Магометъ запретилъ водку?

— Запретить—запретилъ, а все, бачка, пьемъ.

— Ну, ладно, дамъ. Затягивай пѣсню.

Татаринъ кашлянулъ, утерся и затянулъ грубымъ голосомъ, очень медленно, на двухъ нотахъ:

О... царь...
Царь... Иванъ...

Потомъ заголосилъ во всю мочь, на одной только нотѣ, быстро-быстро, какъ только можетъ выговорить языкъ:

Царь Иванъ Васильичъ Грозный
Казань городъ бралъ!

Потомъ опять медленно и грубо продолжалъ тягучій припѣвъ, опять на двухъ нотахъ:

Красный баш-макъ!..
Красный баш-макъ!..

И вся его пѣсня была въ такомъ родѣ, съ тѣми же грубыми тягучими двумя нотами вначалѣ, съ той же

одной зазвонистой скороговоркой и тѣмъ же тягучимъ припѣвомъ.

Между тѣмъ зубчатыя верхушки лѣса, рдѣвшія подъ косыми лучами, начинали блѣднѣть и сѣрѣть; иногда онѣ вдругъ потухали совсѣмъ, когда плывущее облако загораживало солнце, а то вдругъ опять вспыхивали умирающимъ свѣтомъ, но все слабѣе, слабѣе, и все угрюмѣе становилась лѣсная чаща, и тусклая тѣнь ложилась впереди дороги. Но небо было свѣтло, и думалось, что гдѣ-то далеко въ сторонѣ, на просторѣ, сіяетъ еще день, а здѣсь уже сгущались сумерки, и мохнатыя вершины тихимъ шумомъ возвѣщали о вечерѣ, и въ отвѣтъ имъ такъ же тихо скрипѣли голые стволы сосняка, и крѣпче задумывались угрюмыя ели, раскинувшія во всѣ стороны свои косматыя вѣтви.

Приказчикамъ было скучно. Кротовъ свирѣпо глядѣлъ по сторонамъ, досадуя на свою бѣдность: вотъ бы изъ этакого лѣса да построить себѣ палаты!.. Анютинъ тоже глядѣлъ въ лѣсъ, тоже всматривался въ чащу и вспоминалъ прежнее разбойничье время да современныя сплетни про нѣкоторыхъ извѣстныхъ купцовъ-милліонеровъ, у которыхъ дѣды содержали здѣсь постоялые дворы...

— Не выпить ли?—внезапно толкнулъ онъ Кротова, начиная завидовать этимъ безгрѣшнымъ потомкамъ.

Наливши стаканъ коньяку, Анютинъ залпомъ осушилъ его и такъ отъ удовольствія крякнулъ, что даже ямщикъ обернулся и съ минуту молча глядѣлъ, улыбаясь во все лицо, какъ Кротовъ наливалъ себѣ, и затѣмъ тоже выпилъ, запрокинувъ голову.

— Что глядишь?—окликнулъ его Анютинъ.

Татаринъ молчалъ и продолжалъ улыбаться.

— Больно якши!—сказалъ онъ, наконецъ, съ такимъ удовольствіемъ, будто самъ только-что выпилъ.

— Недурно!—похвалилъ Кротовъ, поглаживая себя по шубѣ.—Такъ, знаешь, и пошелъ огонекъ по жиламъ.

— Больно якши!—повторилъ татаринъ и вытеръ себѣ губы.

— Чего жъ утираешься?

Но татаринъ опять ухмыльнулся и, взглянувши мелькомъ на лошадей, повернулъ къ сѣдокамъ свое скуластое темное лицо съ подстриженными усами и густой, какъ щетка, бородой.

— Приказчики?—спросилъ онъ, выговаривая „брыкасшики“.

— Приказчики. А тебѣ что?

— Ничего, — отвѣтилъ лукаво татаринъ и опять улыбнулся.—Хозяинъ ѣдетъ—водку пьетъ, а насъ не потчуетъ, а брыкасшикъ самъ пьетъ и насъ потчуетъ.

— Да, такъ тебя попотчевать?

Тотъ весело и широко улыбнулся, даже глаза у него зажмурились отъ удовольствія... Но когда Кротовъ хотѣлъ налить ему коньяку и онъ увидалъ бутылку, то, махнувши рукою, сказалъ:

— Не могу вино. Водку могу.

— Вотъ еще какіе капризы!

— Законъ не велитъ.

— Полно врать!—разсердился Кротовъ. — Пей, что даютъ! Все равно, у васъ законъ ничего не велитъ: ни вина, ни водки, а вы вѣдь пьете не хуже нашего брата!

— Ничего,—успокоилъ его Анютинъ, наливая въ стаканъ.—Это тоже водка: перцовка; видишь, желтая. Самъ настаивалъ для дороги.

Татаринъ заколебался и нерѣшительно принялъ изъ его рукъ стаканъ. Выпивъ, онъ сильно крякнулъ и сильно потрясъ головой.

— Больно якши!!—восторженно сказалъ онъ, утирая губы.—Спасибо! Больно якши!

— Ну, теперь разсказывай, почему тебѣ водку пить можно, а вино нельзя?

Чувствуя себя обязаннымъ передъ ними, татаринъ

подумалъ, какъ бы разсказать покрасивѣе, и началъ поэтому издалека:

— Шелъ пророкъ Магометъ... Вотъ онъ шелъ и видитъ: люди сидятъ, вино пьютъ. И всѣ цѣлуются и обнимаются... Вотъ Магометъ говоритъ: „Ишь, вино— больно хорошо! Надо велѣть всѣмъ его пить: всѣ будутъ цѣловаться и обниматься, всѣ братьями будутъ,— больно хорошо!..“ Потомъ Магометъ шелъ назадъ. Видитъ: всѣ люди пьяные, и ругаются, и дерутся... Магометъ тогда сказалъ: „Нѣтъ, вино — скверное дѣло! сперва больно хорошо! потомъ больно гадко!..“ И запретилъ пить вино.

— А водку?

— Водки тогда не было,—отвѣтилъ татаринъ совершенно серьезно. Про водку законъ ничего не велитъ. Водку пьемъ, а вино нельзя. А старики у насъ и водку не пьютъ

Въ воздухѣ стояла непонятная тишина. Было глухо, почти мертво, но не было тихо, потому что неуловимые звуки исходили отъ бора; они не слышались, а скорѣе ощущались, какъ ощущается слухомъ въ пустой комнатѣ присутствіе живого человѣка, который молчитъ и даже не шевелится; но есть что-то слышное въ самой жизни. Обманываетъ ли зрѣніе, обманывается ли слухъ, но только никогда, ни въ какую пору, не бываетъ совершенно тихо въ густомъ лѣсу, хотя бы не дрожалъ отъ вѣтра ни единый листъ, ни единая хвоя. Вонъ — свалившаяся сосна; лѣтъ двѣсти росла она тутъ — огромная, сѣрая; свалилъ ее ураганъ и выворотилъ вверхъ корнями. Но не ему бороться съ вѣковыми лѣсами! Зацѣпили сосну товарищи за курчавую голову и держатъ на своихъ плечахъ; и не упала она трупомъ на землю, а легла поперекъ, какъ больная; а къ торчащимъ корнямъ ея протянула мохнатую лапу сосѣдняя елка; еще годъ—и дотянется она до корней, и закроетъ ихъ товарищескою рукою отъ постороннихъ взглядовъ и злыхъ непогодъ.

— Отмахали станцію!—весело воскликнулъ татаринъ, снова обернувшись къ Кротову и улыбаясь во все лицо.—Грѣться будемъ! водку пить будемъ!.. Гайда!!—крикнулъ онъ на коней и весело захлопалъ руками.

Дѣйствительно, вскорѣ показалась станція съ стариннымъ острокрылымъ орломъ наверху, а за нею раскинулся поселокъ, дворовъ въ пять или шесть.

Когда вошли въ комнату, тамъ за столомъ сидѣлъ молодой смотритель въ разстегнутомъ сюртукѣ и ерошилъ волосы, которые и безъ того были уже всѣ спутаны. У него было сумрачное, точно грязное, усталое лицо и взглядъ былъ разсѣянъ и золъ. Казалось, смотритель былъ пьянъ. Взглянувъ на пріѣзжихъ, онъ не перемѣнилъ своей небрежной позы и продолжалъ ерошить волосы.

— Лошадей поскорѣе!—сказалъ ему Панфиловъ.

Видя, что народу не мало, смотритель спросилъ утомленнымъ голосомъ, въ которомъ чувствовалась досада и разсѣянность:

— Сколько васъ тамъ?

— Сколько васъ тамъ?!—невольно передразнилъ его Матвѣй Матвѣевичъ, начиная сердиться. — Мы не бараны, чтобы насъ отсчитывать по-штучно! Вамъ говорятъ, лошадей!

— Да сколько, сколько?

— Три тройки, да поскорѣе!

— Столько нѣту,—заявилъ смотрителъ и, вставши, направился къ двери.

— Господинъ смотритель! — строго остановилъ его Панфиловъ. — Потрудитесь достать лошадей: у меня курьерская!

— Говорю, сейчасъ нѣтъ. Подождите!

— Это не мое дѣло!—разгорячился Матвѣй Матвѣевичъ.—Что за безобразіе! Пожалуйте лошадей, я знать ничего не хочу!

— Ради Бога потише,—сказалъ на это смотритель

вялымъ и лѣнивымъ голосомъ, видя, что Панфиловъ начинаетъ сердиться и повышаетъ тонъ.

— Нѣтъ, не потише, чортъ побери!—отвѣтилъ тотъ уже вовсе громко.—Знайте свою обязанность!

На бѣду въ дѣло вмѣшался мужикъ, стоявшій до этого у печки. Онъ подошелъ къ Панфилову и тихо, точно по секрету, началъ шептать ему:

— Будьте покойны! Сейчасъ вернется... По своему дѣлу поѣхали... Да что жъ, Михайло Кузьмичъ,—обратился онъ къ смотрителю,—вѣдь можно это сейчасъ...

Но Панфиловъ не далъ ему даже докончить. Едва онъ услыхалъ, что лошадей куда-то угнали по своему дѣлу, какъ закричалъ на смотрителя:

— Какъ же вы смѣли? Какъ вы смѣете! Тутъ курьерскія, а вы по своимъ дѣламъ!

Сучковъ и Бородатовъ тоже накинулись на него съ упреками; поднялся страшный шумъ. Смотритель только весь сморщился и замахалъ руками, а мужикъ все вздыхалъ: „Ахъ, ты, Господи! Да постойте! Да вѣдь это...“ Но его шопота не было слышно среди другихъ голосовъ.

— Не кричите вы, ради Бога!.. — закричалъ уже самъ смотритель тонкимъ взвизгнувшимъ голосомъ.

Онъ подошелъ къ Панфилову и добавилъ совершенно тихо:

— Здѣсь,—указалъ онъ куда-то, — умираетъ мой сынъ... ребенокъ... У меня голова мутится... Вонъ Савельичъ все сдѣлаетъ вамъ... Я ничего не знаю... Сынъ умираетъ... единственный... Отправилъ за докторомъ... Ну, жалуйтесь на меня... ну, дѣлайте, что хотите!

Онъ опять замахалъ руками и опустился на стулъ. Мгновенно наступило молчаніе; всѣ переглянулись. Только тутъ замѣтили, что смотритель былъ страшно блѣденъ, даже какъ будто позеленѣлъ. А мужикъ опять зашепталъ Панфилову:

— Сейчасъ все устрою... Три нужно? Двѣ-то найду,

а вотъ третью... Нешто у Сидора взять? Али къ Кривому сбѣгать?.. Небось Сидоръ услалъ... Ахъ, ты, матушки мои, свѣты! Одною минутой, господа, обождите!

И мужикъ, пыхтя и шепча, осторожными, но торопливыми шагами направился къ двери и скрылся. Всѣ чувствовали себя неловко. Чужое горе подѣйствовало на нихъ удручающе. Можетъ быть, имъ стало совѣстно за крики; можетъ быть, всякому пришла на мысль своя семья, съ которой тоже, Богъ вѣсть, что теперь дѣлается.

— Извините, пожалуйста,—сказалъ Матвѣй Матвѣевичъ, подходя къ смотрителю.—Кто же зналъ, что у васъ семейное горе и что ребенокъ больной. Я не сталъ бы кричать.

— Единственный! — отвѣтилъ на это смотритель и опять началъ путать волосы.

Всѣ молчали.

Анютинъ осторожно толкнулъ Кротова и, когда тотъ обернулся, мигнулъ ему въ сторону, гдѣ была выходная дверь, и оба затѣмъ вышли осторожными шагами во дворъ къ повозкамъ; туда же пришелъ и сучковскій приказчикъ. Говорили всѣ тихо, серьезно, точно боялись нарушить покой больного, хотя и стояли подъ открытымъ небомъ.

Вскорѣ вернулся мужикъ и привелъ лошадей. Сбѣжались ямщики, и въ четверть часа повозки были готовы.

— Ахъ, матушки мои, свѣты! Эко дѣло какое! — шепталъ суетливый мужикъ, хлопоча около лошадей и бѣгая вокругъ повозокъ.—Одно—къ Кривому идти!.. Лошадищей вотъ сколько!.. Эко дѣло несчастное! Лѣкарей этихъ тоже... легкое дѣло!..

И когда все было улажено, онъ побѣжалъ съ докладомъ. Всѣ вышли, размѣстились по повозкамъ и молча тронулись въ путь. Было уже темно. Лѣсная дорога стелилась гладко и ровно. На небѣ мерцали звѣз-

ды, но часто заволакивались плывущими тучами. Иногда выглядывалъ молодой мѣсяцъ; за эти двое сутокъ онъ значительно пополнѣлъ, хотя все еще былъ похожъ на шаловливаго мальчугана, старавшагося залить своимъ серебромъ всю землю, но черныя тучи одна за другой наползали на него, какъ старыя няньки, и онъ пропадалъ за ними, но вдругъ опять выскальзывалъ и шалилъ, расточая серебро на верхушки лѣса, на дорогу, на придорожныя сосны, но не дерзалъ проникнуть въ самую чащу, и тамъ по-прежнему было темно и страшно.

Лунный свѣтъ всегда странно дѣйствуетъ на душу. Когда лѣтнею ночью выйдешь на широкое поле и заглядишься вдаль, гдѣ все молчитъ, все дремлетъ, то стоишь среди простора и понимаешь ясно въ эти минуты, какъ ты одинокъ на свѣтѣ, одинокъ и ничтоженъ. Какою бы ни была красавицею ночь, но глядишь на нее не какъ очарованный, но съ тоскою, съ вопросомъ. Ночь ли тебя вопрошаетъ, ты ли вопрошаешь ее, но только есть какое-то непонятное общеніе человѣка съ этимъ блѣднымъ сіяніемъ, съ этими вѣковѣчными звѣздами, далью, съ этимъ глубокимъ небомъ... Только не понимаютъ твоей тоски ни небо, ни звѣзды, ни сіяющая даль, и ты видишь, что они не понимаютъ тебя. Можетъ быть, оттого, что видишь все это, и становится на душѣ такъ печально.

А зимой? среди лѣса? въ тѣсной повозкѣ?

Все вокругъ приняло вздорный, фальшивый видъ. Голые стволы сосенъ, загроможденные вѣтками елокъ, кажутся уродливыми великанами, снѣгъ кажется блѣдно-зеленоватымъ, а высокій пень или кустъ дѣлается похожимъ на человѣка, поджидающаго тебя издали съ недоброю цѣлью. Все фальшивитъ, все не то, что есть, все обманываетъ, и начинаетъ мало-по-малу обманываться сердце. Впереди—спина ямщика, человѣка вовсе чужого, незнакомаго даже лицомъ; сбоку—спящій со-

сѣдъ... онъ не убьетъ, не обманетъ, но онъ зато и не пойметъ тоски и одиночества, не раздѣлитъ ихъ. И томится въ чужбинѣ сердце о чемъ-то родномъ, и взываетъ къ безконечному небу: „Брата!.. друга!..“ Но поетъ колокольчикъ свою неугомонную пѣсню подъ дугой, и сиротлива становится жизнь, точно кто-нибудь насмѣялся надъ нею, горько насмѣялся и покинулъ тебя въ одиночествѣ.

VIII.

Иногда ляжешь спать лунною ночью, за окномъ такъ ясно и хорошо, а проснешься поутру—на дворѣ уже сѣрая муть, и снѣгъ сыплется какъ изъ рѣшета, и глядишь въ окно въ недоумѣніи: когда же все это случилось? Такъ думалъ и Матвѣй Матвѣевичъ, когда поутру не увидалъ ни неба, ни лѣса, а только мелькающій снѣгъ, который сыпался въ такомъ изобиліи, что сквозь него трудно было разглядѣть, что дѣлалось впереди дороги.

И онъ, и Бородатовъ долгое время молчали, думая о погодѣ, о Перми, гдѣ можно будетъ пересѣсть въ спокойные вагоны и отдохнуть въ теплѣ отъ всѣхъ невзгодъ Сибирскаго тракта. Пришелъ на память Матвѣю Матвѣевичу хитрый Тирманъ,—гдѣ-то онъ теперь рыщетъ? Вспомнился гусляръ чебоксарскій съ его задушевными пѣснями,—хорошо бы еще ихъ послушать!

— Трррр! —закричалъ вдругъ татаринъ, перебивая теченіе его мыслей, и тройка остановилась у станціи, похожей какъ двѣ капли воды на тѣ, которыя миновали еще вчера вечеромъ; такая же угрюмая, сѣрая, съ такимъ же старинным орломъ наверху, съ такими же хрустящими подъ шагами ступенями, съ тою только разницей, что здѣсь въ маленькое оконце выглянула на проѣзжихъ женская головка, мелькнуло затѣмъ розовое платье; но когда вошли въ комнату, тамъ никого

не было, кромѣ смотрителя; валялся лишь на окнѣ недочитанный романъ съ вышитою по канвѣ закладкой да около пустого стула лежалъ оброненный платокъ.

— Господинъ Панфиловъ! Какъ изволите поживать? Все ли въ добромъ здоровьѣ?—привѣтствовалъ смотритель Матвѣя Матвѣевича, улыбаясь и слегка пригибая спину.

Панфиловъ съ нимъ поздоровался, хотя и не помнилъ, что это за человѣкъ.

— Лошадей, пожалуйста, поскорѣй,—сказалъ онъ, распахивая шубу.—Да нѣтъ ли стакана воды?

— Лошади въ одну минуту будутъ готовы, а насчетъ воды,—возразилъ радушный смотритель,—Господи Боже, у меня самоваръ кипитъ! Воды, извините, не дамъ, господинъ Панфиловъ! Позвольте васъ чайкомъ угостить, не задержу-съ! Ей-Богу, не задержу!

Онъ ласково засмѣялся и крикнулъ, повернувъ голову къ двери:

— Сестрица! сестрица!

Въ дверяхъ показалась молодая дѣвушка въ розовомъ платьѣ, съ платкомъ на плечахъ; вѣроятно, она стѣснялась чужихъ и вышла съ очень сердитымъ лицомъ, точно ее обидѣли.

— Подай поскорѣе чаю господину Панфилову. Милости прошу, господа. Насчетъ лошадей не извольте безпокоиться: сію минуту все будетъ готово. У меня задержекъ не бываетъ-съ!

Онъ проворно собралъ все лишнее со стола, спряталъ недописанный листокъ почтовой бумаги, но сейчасъ же опять его подвинулъ къ Панфилову, сказавши:

— Мужичку письмо писалъ: сыну посылаетъ. Темный народъ! неграмотны.

При этомъ онъ указалъ въ письмѣ на двѣ послѣднія строчки и весело, добродушно, усмѣхнулся. Тамъ было написано: „Лошадки тебѣ кланяются, три коровки тоже, четвертую продали“...

— Хи-хи-хи, какіе поклоны!—сказалъ смотритель, принимая съ видимымъ удовольствіемъ папиросу изъ панфиловскаго портсигара.—Мужичокъ-то пишетъ отъ сердца, только читать смѣшно-съ! Просвѣщенія не имѣетъ.

Когда дѣвушка, стѣсняясь и краснѣя, подала Матвѣю Матвѣевичу большой стаканъ чаю на огромномъ черномъ подносѣ съ толстой мельхіоровой ложкой, смотритель, видя ея смущеніе, сказалъ, не отрываясь отъ дѣла (онъ прописывалъ въ это время подорожныя):

— Скучаетъ сестрица: людей не видитъ! Одичала совсѣмъ! Только книжками и развлекается, да у насъ какія книжки—пустяки одни!.. А погодка-то, господинъ Панфиловъ, вѣдь вовсе, съ позволенія сказать, дрянь! Форменная дрянь!

— А взгляните-ка въ книгѣ,—перебилъ его тотъ,—когда здѣсь проѣзжалъ Тирманъ?

— Тирманъ-то?

Смотритель не только не взглянулъ въ книгу, но даже бросилъ писать и повернулся къ Матвѣю Матвѣевичу.

— Съ Тирманомъ у насъ, я вамъ скажу, цѣлая катавасія вышла. Ей-Богу катавасія! Форменная катавасія! Помилуйте: подкатили это они къ вечеру, часовъ этакъ около семи на вчерашнія сутки. Я это съ Тирманомъ занялся, тѣмъ да другимъ, а тутъ молодой человѣкъ остался. Прихожу назадъ, батюшки мои! такъ-то съ сестрицей любезничаютъ, шуры-муры да разныя штуки... вѣдь какой тоже вострый!.. Поценяйте ему, молодому-то человѣку: никогда у меня этого не бывало. Не ѣдетъ да и шабашъ! Цѣлая катавасія! Тирманъ торопится, а этотъ уперся. Такого промежъ себя шума настроили, что, того гляди подерутся. Никогда у меня этого не бывало, чтобы шумъ заводили проѣзжіе.

Панфиловъ отъ души пожалѣлъ, что Мифочка по-

слушался Тирмана: пусть бы подольше поспорили! И, допивши стаканъ, простился съ смотрителемъ.

— Можетъ быть, въ послѣдній разъ, господинъ Панфиловъ, видимся. На возвратномъ пути, впрочемъ, заѣдете, а то скоро желѣзная дорога пройдетъ,—просвѣщеніе, святое дѣло! Гибнемъ мы здѣсь въ глуши-то. Да не у насъ ее проведутъ, намъ отъ этого еще хуже будетъ: ужъ совсѣмъ никого не увидимъ тогда! Будьте здоровы! Счастливаго пути!

На облучокъ залѣзъ татаринъ, сверкнувъ на лету зелеными пятками своихъ сапоговъ, и повозки снова тронулись въ путь по запушенной свѣжимъ снѣгомъ дорогѣ.

Гдѣ-то вдали на селѣ кончалась обѣдня. Звуки праздничнаго колокола доносились сюда вмѣстѣ съ вѣтромъ, и хорошо было сознавать, что какіе-то чужіе невѣдомые люди сейчасъ молились о „плавающихъ, путешествующихъ“... Уже нѣсколько верстъ отъѣхали отъ этого мѣста, а все еще время отъ времени казалось, будто въ воздухѣ разливаются звуки колокола. Это гудѣлъ лѣсъ тихимъ ропотомъ; но, гудя, онъ стоялъ строго, какъ великанъ, не трогаясь ни однимъ сучкомъ, и только боковыя сосны и ели качали укоризненно головами, точно стыдя вѣтеръ за его проказы съ молодыми елками. И вѣтеръ стихалъ, словно пристыженный. Тогда снѣгъ сыпался спокойно и ровно на землю, и было тихо вокругъ, пока опять не поднимался ропотъ и придорожныя деревья опять не начинали своихъ споровъ съ капризнымъ вѣтромъ.

— Завтра будемъ подъ Пермью!—увѣренно говорилъ Панфиловъ, видя, какъ мчатся по гладкой дорогѣ шустрыя вятки.—Авось, какимъ-нибудь чудомъ Тирманъ застрянетъ въ пути!..

Впереди уже открывался просторъ. Лѣса кончались съ ихъ таинственнымъ гуломъ, суровостью и гладкой дорогой.

На просторѣ снѣгъ сыпался иначе, чѣмъ въ лѣсу, и вѣтеръ гулялъ беззаботно по широкому полю, дуя то вправо, то влѣво, какъ вздумается.

Миновали станцію, гдѣ отняли вятокъ и дали русскую тройку, для которой понадобились снова и кнутъ, и брань... Проѣхали еще станцію, гдѣ старый татаринъ, онъ же староста, умѣлъ выпивать, не переводя духа, столовый стаканъ водки всегда на панфиловскій счетъ. И на этотъ разъ Панфиловъ не отказалъ ему въ заведенномъ обыкновеніи, только просилъ дать ямщика получше.

— Не безпокойся, бачка, хорошъ будетъ!

И далъ совсѣмъ пьянаго, который свалился на первомъ же ухабѣ, такъ что Бородатову пришлось держать его за кушакъ цѣлую станцію. Панфиловъ выходилъ изъ себя отъ досады и бранился безъ устали. Но ямщикъ, покачиваясь на облучкѣ, весело вскрикивалъ на тройку, не признавая себя пьянымъ, хотя вожжи валились изъ рукъ и глаза едва глядѣли, и голосъ былъ похожъ на мычаніе.

— Н-но! Но!—мычалъ онъ, стараясь поднять руку, на которой болтался кнутъ.

На всякомъ ухабѣ онъ страшно перегибался: спина валилась назадъ, голова тянула впередъ, и весь онъ, казалось, расчленялся по суставамъ, а ухабы были на каждомъ шагу. Несмотря на это, ямщикъ все бодрился и все кричалъ: „Н-но!“ и упрашивалъ Бородатова не безпокоиться и не держать его за кушакъ, увѣряя, что для него это дѣло привычное.

Моросилъ снѣжокъ. Лихо катили сани, поскрипывая полозьями; весело покрикивалъ задній ямщикъ, и на далекое пространство разносился говоръ колокольчиковъ.

Начинало уже вечерѣть, когда путники пообѣдали на одной изъ станцій и торопливо тронулись дальше. Грязное небо дѣлалось все сумрачнѣе и какъ будто опускалось все ниже и ниже.

Мелкій снѣжокъ закрутился быстрѣе, гуще и вдругъ повалилъ хлопьями. По деревьямъ, окаймлявшимъ дорогу, пробѣжалъ вѣтеръ, взвылъ на минуту и умчался неизвѣстно куда; потомъ опять загудѣлъ гдѣ-то сбоку и кинулся вверхъ и перепуталъ всѣ снѣжные хлопья, которые такъ и шарахнулись отъ него подъ ноги лошадямъ.

„Плохо дѣло!—подумалъ Матвѣй Матвѣевичъ, прислушиваясь къ гудѣнью вѣтра.—Неспроста гудитъ".

И вѣтеръ точно гудѣлъ неспроста.

Въ его пѣснѣ слышалось что-то зловѣщее, словно онъ явился предвѣстникомъ вьюги или, по тамошнему нарѣчію, буры. Онъ бѣгалъ больше по низу и, опередивъ повозки, дулъ прямо на нихъ, подметая снѣгъ подъ ноги лошадямъ, которыя съ трудомъ добѣжали до слѣдующей станціи.

Войдя, никто, противъ обыкновенія, не крикнулъ смотрителю: „Лошадей!" Всѣ молчали и не знали, на что рѣшиться.

— Скверная погода! — сердито вымолвилъ Панфиловъ, садясь на диванъ.—Того и гляди, метель!

— Главное дѣло, къ ночи!—поддакнулъ Бородатовъ.

Остальные поглядѣли въ окошко и ничего не сказали. За окномъ сильно стемнѣло, хотя было еще не поздно.

— Такъ какъ же, господа? — спросилъ Панфиловъ оглядывая всю компанію и не зная, на что рѣшиться.

Среди общаго раздумья и тишины вдругъ гдѣ-то жалобно-жалобно запищалъ вѣтеръ тоненькимъ голоскомъ, точно муха, попавшая въ паутину.

— Придется ночевать, должно быть...

Никто не возражалъ. Всѣ глядѣли въ разныя стороны, всѣ были невеселы.

— Въ третьемъ году вотъ такъ же, — сказалъ Сучковъ, — мы остались, а Игнатьевскіе приказчики поѣхали на авось! Ну, и поплатились: всю ночь плутали.

Нѣкоторые доѣхали до станціи, одного насилу оттерли, а другого вытащили изъ повозки закоченѣлаго... Что за удовольствіе!

Всѣ сочувствовали. Блуждать до утра подъ метелью никому не хотѣлось.

— Господа, я по совѣсти не могу васъ пустить,— вмѣшался въ разговоръ смотритель, сѣденькій старичокъ, стоявшій тутъ же въ дверяхъ. — Переночуйте лучше; за ночь погода уймется, и съ Богомъ! А то долго ли до грѣха? И волковъ здѣсь у насъ много, цѣлыми стаями ходятъ.

При этихъ словахъ Кротовъ машинально нащупалъ въ карманѣ револьверъ... Положеніе было тягостное, натянутое, и молчаніе долго не прерывалось, пока Сучковскій приказчикъ, перетрусившій еще на той станціи при первомъ вѣтрѣ, осмѣлился проговорить, запинаясь на каждомъ словѣ:

— Помилуйте-съ... куда же ѣхать?.. Изволите-ли видѣть, вьюга очень сильная... съ дороги собьешься...

Всѣ въ душѣ съ нимъ были согласны.

— А тамъ, говорятъ... волки-съ голодные...

— Конечно... конечно,— въ раздумьи соглашался Панфиловъ, послѣ чего приказчикъ, видя, что дѣло идетъ на-ладъ, продолжалъ уже съ большей увѣренностью:

— Что за бѣда! и всего-то потеряли бы какія-нибудь сутки-съ!

Это неосторожное слово сразу испортило все, и Панфиловъ вскочилъ.

— Сутки? — ужаснулся онъ, и даже попятился отъ приказчика, точно тотъ поднялъ вопросъ объ его чести.— Чтобъ я потерялъ сутки? Да вы съ ума сошли!.. Лошадей, пожалуйста!—рѣшительно заявилъ онъ смотрителю и затѣмъ обратился къ Сучкову:

— Вамъ какъ угодно, а мы поѣхали!

Поднялся шумный говоръ. Всѣ встали, всѣ гово-

рили. Смотритель пробовалъ успокоить, но принужденъ былъ въ концѣ-концовъ распорядиться о лошадяхъ.

— Я тридцать лѣтъ ѣзжу, Богъ милостивъ!—возвышался надъ всѣми голосами голосъ Панфилова.—Не первую метель выносить! Ѣдемъ, господа, нечего медлить! Съ Богомъ! въ дорогу!

И первый рѣшительными шагами направился къ выходу. Его воодушевленіе сломило и разогнало общую робость. Всѣ перекрестились и послѣдовали за нимъ; только смотритель, провожая ихъ, неодобрительно покачалъ головой.

На дворѣ былъ сущій адъ. Вѣтеръ съ визгомъ и ревомъ пригибалъ чуть не до земли деревья; въ мглистомъ воздухѣ крутился снѣгъ, шарахаясь летучими массами вправо и влѣво.

— Доѣдемъ, ямщикъ?—твердымъ голосомъ спросилъ Панфиловъ.

Тотъ отвѣчалъ, не смущаясь:

— Съ этакими сѣдоками—Богъ милостивъ!

Всѣ усѣлись, крѣпко запахнувшись. Прокричали голоса, зазвонили колокольчики, и повозки едва отдѣлившись отъ станціи, погрузились во мракъ.

Часа уже два прошло, какъ покинули станцію.

Лошади бѣжали, часто спотыкаясь. Ямщикъ гикалъ на нихъ и взмахивалъ рукавицей. За чепчикомъ повозки злилась непогода, и тоскующій вѣтеръ неотвязчиво лѣзъ подъ фартукъ съ нытьемъ и нетерпѣніемъ; то справа, то слѣва забѣгалъ онъ и, казалось, вотъ-вотъ ворвется, но отставалъ и силился вновь догнать и, догоняя, хлесталъ сзади по крышкѣ или опять скучалъ гдѣ-нибудь около. Мракъ и вьюга были кругомъ: ни неба, ни пути, ни бугровъ—все смѣшалось въ муть, которая безтолково крутилась... Сиротливо дѣлалось на душѣ. Колокольчикъ звонилъ неугомонно, точно плакалъ, какъ голодный младенецъ, и все вокругъ плакало на разные голоса. Было похоже, что въ при-

родѣ пропало что-то очень нужное и дорогое, за которымъ во всѣ стороны полетѣли гонцы, подъ страхомъ смерти старавшіеся найти пропажу по чьему-то велѣнію. Рыскали по низу, взлетали высоко къ небу, кружились на одномъ мѣстѣ, аукались и, очумѣвъ со страха, оплакивали свою горькую участь. И гдѣ-то тутъ же открылся надъ ними полевой судъ: милліонъ писцовъ бойко шуршали перьями по бумагѣ, а гонцы разносили экстренные приказы и тащили кого-то на казнь. Глухо звучала съ одной стороны побѣдная музыка, а съ другой—доносилось тихое похоронное пѣніе... Живая сила разгулялась въ полѣ; все жило своей особенной непонятной жизнью—и вьюга, и поле, и взбаломученные хлопья снѣга, и только кони, люди да колокольчики замѣшались сюда ни къ чему, какъ лишніе гости на чужой праздникъ.

Ѣхали все тише и тише. Колокольчики вздрагивали и стонали, но не заливались, какъ раньше, беззаботною пѣсней.

Лошади пошли шагомъ.

— Да ну! дьяволы! — раздался сердитый окрикъ, точно сквозь стиснутые зубы, и слѣдомъ затѣмъ щелкнули два рѣзкіе удара кнута.

Лошади потянули недолго изо всей силы и вскорѣ остановились, тяжело дыша. Слышно было, какъ кнутъ много разъ врѣзывался въ ихъ спины, но повозка стояла на одномъ мѣстѣ.

— Что такое? — спросилъ Бородатовъ, высунувши голову.

Однако ничего не могъ разглядѣть, кромѣ мутнаго вихря, который тотчасъ же влѣпился ему въ лицо и хлестнулъ по глазамъ. Лошади стояли понуривъ головы и вздрагивали отъ безпощадныхъ ударовъ. Вѣтеръ свистѣлъ въ хвостахъ и гривахъ, шуршалъ по крышкѣ и по оглоблямъ; съ невѣроятной злостью онъ дулъ прямо въ глаза, разыскивая малѣйшія лазейки

и сквозь двойныя шубы пробѣгалъ по груди и ногамъ. Всѣ присмирѣли, всѣ думали одну общую думу: какъ быть?.. Въ темнотѣ передъ глазами прыгали и носились снѣжные призраки, и ужасъ безсилія охватывалъ душу.

— Что, ямщикъ? — спросилъ заискивающимъ голосомъ Панфиловъ.

Ямщикъ, который съ кнутомъ въ рукахъ ходилъ отыскивать дорогу, выросъ вдругъ изъ мрака какъ привидѣніе и, подойдя къ повозкѣ, сказалъ, не слыхавъ вопроса:

— Нѣту пути.

— Да ты поѣзжай, голубчикъ, какъ-нибудь: авось, выберемся на дорогу.

— Гдѣ выбраться!.. Ишь, темень-то, хоть глазъ выколи!.. Да и бура разыгралась на-диво.

— А ты все-таки поѣзжай, милый! Авось, какъ-нибудь...

Ямщикъ, что-то проворчавши, усѣлся покрѣпче и потомъ, хлопнувъ рукавицами, подобралъ вожжи. Лошади рванули было впередъ, но подъ полозьями намело кучи снѣга. Долго бились, напрягая всѣ силы, чтобы стронуть съ мѣста повозку, и, наконецъ, поѣхали шагомъ.

А вьюга разыгрывалась все пуще. Какая-то сила съ шумомъ и свистомъ мчалась поверху и вдругъ упадала и пробѣгала дальше понизу, кувыркаясь и жалуясь.

— И дернулъ насъ чортъ поѣхать въ этакую погоду! — удивлялся Кротовъ. — На-смерть озябъ!.. Даже лошади не идутъ.

Дѣйствительно, повозки опять стали. А вѣтеръ метался по полю, кидаясь въ разныя стороны; то вдругъ онъ затихалъ и плакалъ, то вдругъ набрасывался съ бѣшенствомъ на повозку и стучалъ по ней, словно кулаками, желая выворотить на изнанку чепчикъ, который весь трясся подъ его напоромъ.

Вдругъ гдѣ-то поблизости послышался мрачный аккордъ, рѣзкій, звучный, постепенно переходившій въ протяжный вой. Лошади захрапѣли. Не было видно однако, прыгали онѣ или нѣтъ, но колокольчики зазвонили вдругъ часто, безтолково, тревожно, и повозки дернулись сильно назадъ, а ямщикъ, слѣзшій было на землю, бросился обратно въ повозку и закричалъ:

— Волки! волки!

Кротовъ высунулъ голову. Сквозь мракъ и вьюгу глядѣли на него зловѣщія точки, горѣвшія фосфорическимъ блескомъ. Трудно было опредѣлить разстояніе,—не то онѣ были около, не то вдалекѣ, но онѣ вспыхивали тутъ и тамъ и, казалось, росли и приближались. Порывы вѣтра, дергавшіе повозки, на всѣхъ наводили ужасъ.

— Пошелъ!!—вдругъ закричалъ Кротовъ, напрягши весь свой громовой голосъ, и вслѣдъ за крикомъ раскатился неожиданно выстрѣлъ.—Трогай!.. Гони!..—кричалъ безъ устали Кротовъ, оглашая просторъ то голосомъ, то выстрѣломъ.

Опасаясь бѣды, Сучковъ тоже пробовалъ кричать ему: „Въ небо стрѣлять! Кверху! Въ волковъ не надо!“ но своего голоса онъ не слыхалъ даже самъ.

Свистъ кнутовъ и крики слились съ общимъ гуломъ. Обезумѣвшія отъ страха лошади напрягли послѣднія силы, и повозки тронулись, ныряя по ухабамъ и разворачивая передъ собой сугробы снѣга. Выстрѣлы между тѣмъ сыпались одинъ за другимъ; зловѣщій рокотъ ихъ прорѣзывался сквозь стоны вьюги, и страшная ночь становилась еще страшнѣе. Встревоженные кони, храпя и косясь, бѣжали на-удачу впередъ, безъ пути, еле переводя дыханіе, а зловѣщіе огоньки отдалялись и многіе потухали... Уже нѣсколько верстъ отъѣхали повозки, уже давнымъ-давно исчезли огоньки, а лошади все бѣжали, фыркая, спотыкаясь и настороживъ уши. Онѣ бѣжали безъ направленія и отъ усталости

чуть не падали; наконецъ, измученныя, тяжело дыша, остановились сами.

Было черно вокругъ. Вьюга не унималась.

— Взглянуть бы, Матвѣй Матвѣевичъ, нѣтъ ли кабака близко: сами остановились! — посовѣтовалъ Бородатовъ.—Лошади на этотъ счетъ понятливы.

— Чего кабакъ!—сердито возразилъ ямщикъ. — Тутъ и кабаковъ нѣту.

Однако онъ слѣзъ и пошелъ куда-то.

— Поищи, нѣтъ ли дороги!—крикнули ему вслѣдъ.

Ямщикъ минутъ черезъ десять вернулся.

— Ни зги не видать,—сокрушенно сказалъ онъ, подходя къ повозкѣ. — Какіе тутъ кабаки! Отъ города далече,—кабаковъ не бываетъ.

— Такъ гдѣ же мы стоимъ?

— А Богъ-е знаетъ, нѣту пути! Ишь какая метель, развѣ что видно... Всю ночь плутали; чай, скоро свѣтать начнетъ.

Бородатовъ полѣзъ за часами и, испортивъ десятка два спичекъ, наконецъ разглядѣлъ: было около пяти.

— Ночевать, что ли, будемъ?—спросилъ ямщикъ.

Въ его голосѣ слышалось раздраженіе. Онъ и самъ не зналъ, что теперь лучше: ѣхать ли неизвѣстно куда, или остаться.

Кони еле дышали, измученные долгой тяжелой ѣздой.

— Недалеко до свѣта,—сказалъ на это Панфиловъ, тоже колеблясь: безъ пути и направленія ѣхать казалось ему безразсудно, но было жутко и ночевать подъ метелью.

Ямщикъ нѣсколько разъ крякалъ, какъ крякаетъ русскій человѣкъ только въ самыя затруднительныя минуты, когда бываетъ невыразимо досадно, но не знаешь, чѣмъ помочь горю или за что приняться, или хоть кого обвинить въ этомъ, и даже не находишь ни одного надлежащаго слова, чтобы выразить свою грусть.

Покрякавъ, ямщикъ опять удалился и долго совѣщался съ товарищами. Тѣ, такъ же, какъ и онъ, крякали и чмокали и ходили искать дорогу.

— Инъ быть по Божьему!—сердито рѣшилъ ямщикъ, возвращаясь къ повозкѣ.—Значитъ, до свѣта!

Онъ еще поворчалъ, хотя словъ его уже не было слышно... О чемъ-то громко спросили съ другой повозки, но онъ прокричалъ въ отвѣтъ что-то бранное. Опять раздался окрикъ.. Ямщикъ только махнулъ рукой и сердито прошепталъ себѣ въ бороду: „Все одно! Что жъ теперь будешь дѣлать!..“

Выходилъ нѣсколько разъ искать дорогу и Кротовъ, но всякій разъ возвращался ни съ чѣмъ и на вопросы Матвѣя Матвѣевича отвѣчалъ коротко: „Темнота!“ Наконецъ всѣ успокоились и замолчали. Прислушалась вьюжная пѣсня, ухо привыкло къ ея скучной музыкѣ; завернувшись поглубже въ доху, становилось уже безразлично, воетъ метель или нѣтъ. Ноги начали остывать. Усталая спина отдыхала послѣ долгихъ ухабовъ. Клонила дремота... Снѣгъ порошилъ по повозкѣ, улегаясь на крышку; подъ ноги лошадямъ наметалъ вѣтеръ цѣлыя кучи, которыя все росли и возвышались, а крутящаяся муть все еще не свѣтлѣла, продолжая выть и напѣвать свои долгія похоронныя пѣсни, и вѣтеръ все метался по полю, задѣвая за верхушки повозокъ..

Долго царили мракъ и вихрь, долго крутились снѣжные хлопья, пока, наконецъ, не засвѣтлѣло въ воздухѣ. Мало-по-малу блѣднѣла ночная мгла, и сумракъ дѣлался рѣже и затихала вьюга, но небо было сплошь затянуто тучами и порошило снѣгомъ. Начинало свѣтать... Понемногу, сквозь сыпавшійся снѣгъ очерчивались сначала ближайшіе предметы, виденъ сталъ облучокъ, силуэты коней, потомъ стало можно различить и лицо ямщика и образовавшіеся за ночь снѣжные холмы, и наконецъ, впереди сталъ виденъ заборъ, въ который почти упирался коренникъ.

— Батюшки! да вѣдь это станція! — воскликнулъ удивленный ямщикъ, хлопнувъ себя обѣими руками по бедрамъ.—Ишь ты, лукавый попуталъ!!.

И онъ пришелъ вдругъ въ такую ярость, что началъ ругаться, оговариваясь на каждомъ словѣ: „Прости ты мое согрѣшеніе!“

— Ахъ, ты, лукавый!.. Ахъ, ты, сила нечистая, куда завела!!. Вотъ чтобъ тебѣ ни дна, ни покрышки!

Въ бѣшенствѣ онъ много разъ ударялъ изо всей силы кнутомъ по свѣжему снѣгу, и прежде чѣмъ разбудить сѣдоковъ, онъ вволю отругалъ разсѣявшійся мракъ и насулилъ такихъ невзгодъ лукавому и всей его роднѣ, что горькая обида отлегла, наконецъ, отъ души, и облегчилось его русское сердце.

— Я говорилъ, что кабакъ!—разсердился на него Бородатовъ.—Лошади остановились, значитъ, кабакъ!

— Гдѣ жъ онъ, кабакъ?—разсердился ямщикъ въ свою очередь.—Станція нешто кабакъ?

— Какъ же ты станцію не знаешь!

— Гдѣ жъ ее знать? Очень хорошо ее знаю, а развѣ видно? Вонъ она, теперь ее видно, а давеча развѣ можно!.. Ахъ, ты, сила нечистая!!. чтобъ тебѣ...

Въ огорченіи онъ опять началъ браниться, стараясь припомнить, какъ было дѣло: наѣхалъ ли онъ на станціонный задворокъ, или лошади сами дошли по памяти, когда всѣ спали, но только нечистая сила была здѣсь больше всѣхъ виновата, и въ этомъ онъ былъ твердо увѣренъ.

Жалкіе, продрогшіе вошли путники въ станціонную залу. Раздѣвшись, всѣ сѣли и старались опомниться. Матвѣй Матвѣевичъ молчалъ и не могъ помириться съ мыслью, что станцію въ какихъ-нибудь двадцать верстъ ѣхали цѣлую ночь.

Тутъ же въ комнатѣ, развалившись на креслѣ, спалъ бритый мужчина, а на диванѣ маленькая худенькая дама; ея лицо отъ утренняго сѣраго свѣта казалось

очень непривлекательнымъ, со слѣдами утраченной красоты. Голоса прибывшихъ разбудили обоихъ. Сначала проснулся мужчина и взглянулъ на свѣтъ съ такимъ страдальческимъ выраженіемъ, точно отъ этого взгляда у него заболѣли всѣ нервы, протеръ глаза и откашлялся, а потомъ проговорилъ, ни къ кому не обращаясь:

— Ну, ночка! Чортъ знаетъ, что за погода!

— Большая бура!—сказалъ на это староста, вышедшій навстрѣчу.—Всеё ночь крутило.

— А дальше какова дорога?—спросилъ Матвѣй Матвѣевичъ.

— Нырковата, сударь. Ямщики вчерась были; сказываютъ, очень нырковата, къ тому же много обрѣзовъ намело за ночь.

Послѣ мучительной ночи всѣмъ хотѣлось отдохнуть, и сообщеніе старосты ихъ огорчило.

„Нырковата...“ Легко сказать, нырковата! когда опытный ѣздокъ заранѣе чувствуетъ отъ этого слова боль въ поясницѣ.

— Охъ, ужъ эти мнѣ „деревянныя“ станціи!—вздохнулъ Матвѣй Матвѣевичъ, называя такъ предстоявшія Клепово, Сосново, Дуброво, гдѣ всегда бываетъ отвратительная дорога, и, кромѣ того, начинаются опять Аракчеевскія аллеи, съ которыми не можетъ помириться путникъ и не можетъ забыть ихъ долгое время.

IX.

Послѣдній день!..

Впереди еще цѣлыя сутки, а всѣ уже говорятъ: „Слава Богу!“ и мечтаютъ объ отдыхѣ и спокойныхъ вагонахъ. Однообразенъ и безконеченъ кажется этотъ послѣдній день, желаніе отдыха возрастаетъ при видѣ каждой новой станціи, и, несмотря на ухабы, всѣ кричатъ въ нетерпѣніи: „Пошелъ! Пошелъ!“

Почти до полудня не переставало хмуриться; сѣрыя тучи обложили весь небосклонъ, и только тамъ, гдѣ

было солнце, онѣ казались свѣтлѣе и рѣже. Однако мало-по-малу тучи начали двигаться; поплыли сперва нижнія облака, легкія, какъ дымъ, а надъ ними поверху задвигались мохнатые сѣдые клочья; мѣстами дѣлалось чернѣе отъ нихъ, мѣстами проглядывала синева; иногда прорѣзывался внезапный лучъ солнца и вдругъ окрашивалъ огромную тучу въ золотисто-грязный цвѣтъ и кидался скорѣе на дорогу, озаряя на минуту бѣлоснѣжную окрестность ослѣпительнымъ блескомъ... Въ небѣ творилось что-то невѣдомое: было тихо въ воздухѣ, почти безвѣтренно, но тучи, разорвавшись на множество кусковъ, цѣлыми полчищами двинулись къ сѣверу; а съ юга вслѣдъ за ними выплывали новыя облака и тянулись дружными вереницами; за этими слѣдовали еще новыя, но уже не хмурыя, а веселыя и румяныя, потомъ бѣлыя, которыя серебрились на солнцѣ, плывя вразсыпную по голубому небу,— и день засіялъ во всей своей силѣ.

Впереди по дорогѣ, такъ же какъ первыя вереницы тучъ, тянулся нескончаемый обозъ, занимая собою цѣликомъ всю узкую дорогу, и тройкамъ нельзя было проѣхать. Шагъ за шагомъ двигались нагроможденные воза, прикрытые брезентами и рогожами, затянутые веревками; около нихъ шли одинъ за однимъ мужики на большомъ разстояніи другъ отъ друга и всѣ почему-то глядѣли внизъ на дорогу.

По совѣту Бородатова, никогда не терявшагося въ затруднительныхъ положеніяхъ, ямщикъ еще издали закричалъ обозникамъ:

— Свора-чи-вай!!

Но тѣ продолжали свой путь, нимало не заботясь.

— Свора-чи-вай!!.—кричалъ во весь голосъ ямщикъ, нагоняя обозъ.—Гу-бер-на-торъ ѣдетъ! Свора-чи-вай!

Ближніе обозники оглянулись.

„Гу-бер-наторъ!..“—услыхали они и, не понявъ, въ

чемъ дѣло, бросились къ возамъ и замахали руками переднимъ.

— Губернаторъ! губернаторъ! — кричали они уже сами.

— Губернаторъ!!—перекликались дальнѣйшіе.—Губер-наторъ!

И по всему обозу, до самыхъ переднихъ погонщиковъ, которые виднѣлись отсюда сѣрыми точками, донеслось это магическое слово, передававшееся изъ устъ въ уста.

— Губернаторъ!—раздавалось все дальше и дальше на разные голоса, и всѣ бросались къ своимъ подводамъ и спихивали лошадей въ придорожные сугробы, освобождая путь, по которому во весь духъ мчались тройки, а задніе мужики, поснимавшіе было шапки, увидѣвъ обманъ, стали кричать переднимъ:

— Держи! держи!

Но колокольчики громкимъ звономъ и ямщики своими криками заглушали ихъ голоса, и когда передніе обозники догадались, въ чемъ дѣло, повозки были уже далеко впереди, и только снѣжная пыль летѣла отъ нихъ въ обѣ стороны.

Чѣмъ ниже опускалось солнце, тѣмъ больше безпокоился Матвѣй Матвѣевичъ; его нетерпѣніе возростало съ каждой минутой: еще какихъ-нибудь три-четыре часа, и пермскій поѣздъ уйдетъ вмѣстѣ съ Тирманомъ... А до Перми еще цѣлыхъ три станціи!

Пока въ Оханскѣ мѣняли лошадей, Сучковъ отвѣдалъ вкусныхъ пельменей и браги, а Панфиловъ все ходилъ около повозокъ и въ волненіи поглядывалъ на небо. Ему хотѣлось остановить время; вернуть бы четыре часа, только четыре часа!.. Часто вытаскивалъ онъ свой женевскій хронометръ и глядѣлъ почти съ ненавистью, какъ маленькая проворная стрѣлка бѣжала по циферблату.

— Нѣтъ, не поспѣешь!

Вихремъ летѣли быстрые кони, духъ занимался отъ скорой ѣзды, а вечернее солнце давно уже закатилось, и сумерки вновь затемнили дорогу.

— Ура! Здѣсь Тирманъ! — воскликнули въ одинъ голосъ Сучковъ и Матвѣй Матвѣевичъ, когда подъѣхавъ къ „Култаеву", они увидали знакомую повозку, и прежде чѣмъ войти на станцію, поторопились ее оглядѣть.

— Она! Она! Это тирманская повозка!— ликовалъ Сучковъ.—Глядите, Матвѣй Матвѣевичъ,—тирманская!

— Ну, теперь не ускачетъ!—сказалъ тотъ, и войдя въ комнаты, торопливо освѣдомился у смотрителя:

— Гдѣ Тирманъ?

— Тирманъ? Давно ужъ проѣхали. Страсть какъ летятъ! Все боялись къ поѣзду запоздать: ихъ гдѣ-то очень метель задержала да потомъ лошадь околѣла на дорогѣ, такъ на парѣ и ѣхали, и деньги за нее отдали ямщику.

— Да онъ здѣсь!—возразилъ Панфиловъ.

— Нѣтъ-съ, уѣхали! — усмѣхнулся смотритель.—А насчетъ повозки,—дѣло пустое. Очень ужъ они торопились: бросили и багажъ, и повозки, а сами взяли салазки, впрягли лошадей, да и были таковы. Не знаю какъ только доѣдутъ. Страсть, какъ спѣшили на поѣздъ, а повозку вмѣстѣ съ багажомъ велѣли выслать въ Ирбитъ.

Панфиловъ слушалъ смотрителя съ нахмуреннымъ челомъ и, вздохнувши, проговорилъ спокойно:

— Ну, и чортъ его побери, когда такъ!

Спѣшить теперь было уже некуда: поѣздъ, судя по времени, ушелъ, и если Тирманъ поспѣлъ, то его все равно не догонишь, а если опоздалъ хоть минутой, то и самъ никуда не уѣдетъ до слѣдующаго вечера. Поэтому, не торопясь, перепрягли лошадей, выпили чаю и около полуночи подкатили съ шумомъ и звономъ къ

пермской заставѣ. Ямщики соскочили съ облучковъ и стали подвязывать колокольчики, звонъ которыхъ по городу воспрещался.

Впереди стояли два каменные столба, похожіе на пирамиды, съ гербами Пермской губерніи, изображавшими безхвостаго медвѣдя съ высунутымъ языкомъ и торжественно приподнятой лапой. За заставой тянулась длинная освѣщенная улица, съ вывѣсками, номерами, харчевнями. И тройки тихо въѣхали въ дремлющій городъ, безъ докучнаго звона, къ которому такъ привыкло ухо за эти нѣсколько дней, и понеслись по безлюдной улицѣ.

Въ первый разъ послѣ долгой дороги путники успокоились на диванахъ въ комнатахъ вольной почты, хотя, несмотря на удобства, Панфиловъ долго не могъ заснуть; ему все еще мерещилось движеніе и тряска; забываясь на минуту, онъ сейчасъ же пробуждался, воображая, будто диванъ нырнулъ по ухабу; и долго чудились ему эти ухабы и качка, долго звучали въ ушахъ колокольчики, и даже во снѣ онъ бесѣдовалъ съ Тирманомъ и воевалъ съ ямщиками.

X.

Къ вечернему поѣзду на другой день вокзалъ переполнился публикой, оживленной и разнообразной. Тутъ и степенный русскій купецъ съ мясистыми щеками, и забулдыга-сынокъ, и приказчикъ; здѣсь и татары въ собольихъ остроконечныхъ шапкахъ, и долгополый раскольникъ, и захолодавшій еврей въ плисовомъ картузѣ; тутъ же сидитъ за пустымъ приборомъ бритый актеръ, одѣтый какъ-нибудь да не такъ, какъ одѣваются люди, и, щеголяя убогой оригинальностью, глядитъ съ полупрезрѣніемъ на всѣхъ остальныхъ, какъ бы говоря каждому, что я, молъ, не такой болванъ, какъ ты, а совсѣмъ въ другомъ родѣ!.. Гдѣ-нибудь на видномъ

мѣстѣ пристроилась одинокая дама, у которой во всѣхъ движеніяхъ лѣнь и нѣга, и глаза съ поволокой; гдѣ-нибудь быстро знакомится и бесѣдуетъ пріятный, но скучающій молодой человѣкъ, который бранитъ забавы и карты, однако отъ скуки не прочь сыграть въ стуколку или метнуть банчишко. Всюду громкій оживленный говоръ, смѣхъ и разсказы. Этотъ говоръ и смѣхъ переносятся съ вокзала на платформу, съ платформы въ вагоны и тамъ раздаются еще оживленнѣе, пока не засвиститъ паровозъ и поѣздъ не двинется съ мѣста.

Послѣ нѣсколькихъ сутокъ утомительнаго пути на лошадяхъ по морозу и вьюгѣ какъ хорошо и пріятно очутиться въ теплыхъ вагонахъ, не страшась болѣе ни холода, ни проклятыхъ ухабовъ, и отдохнуть на мягкихъ спокойныхъ диванахъ, подъ веселый говоръ попутчиковъ! Сутки въ вагонѣ кажутся пустяками въ сравненіи съ сутками на лошадяхъ. Тутъ и словоохотливые сосѣди со свѣжими новостями, тутъ и разсказчики, потѣшающіе публику „русскими завѣтными сказками“, отъ которыхъ въ горлѣ пересыхаетъ отъ хохота и за которыя жестоко попадаетъ впослѣдствіи отъ благонамѣренныхъ женъ.

Сильно утомленный дорогою, Матвѣй Матвѣевичъ спалъ какъ убитый всю ночь, вплоть до Кушвы, извѣстной Панфилову не столько своей магнитной горой Благодатью, сколько вкусными пирожками съ всевозможными начинками, на которыя жадно набрасываются пассажиры.

Время летитъ незамѣтно: промелькнулъ Тагиль, знаменитое Демидовское гнѣздо съ чугунными заводами, промелькнула Шайтанка—„чортова“ станція, и Невьянскъ, гдѣ подсѣлъ извѣстный по всему Уралу золотопромышленникъ Лоболомовъ, берущій въ дорогу вмѣсто чемодана боченокъ водки и угощающій всѣхъ налѣво и направо, знакомыхъ и незнакомыхъ.

Отъ Екатеринбурга подсѣло много актеровъ и оди-

нокихъ дамъ, которыя сейчасъ же завербовали себѣ толпу поклонниковъ. Но многіе уже спали. Спалъ и Матвѣй Матвѣевичъ, не слыша ни громкаго смѣха, ни хоровыхъ пѣсенъ. Разбудилъ его среди ночи кондукторъ.

— Ваши билеты! До Камышлова билеты!—взывалъ онъ громкимъ голосомъ, стараясь говорить какъ можно пренебрежительнѣе, отчего и казалось, будто онъ кого-то передразниваетъ.

— Ваши билеты! ваши билеты!

Поѣздъ сталъ медленнѣе идти и вскорѣ остановился.

— Скорѣй, скорѣй, господа!—торопилъ Панфиловъ, когда приказчики, волоча за собой чемоданы, вышли на станцію. У вокзала ихъ уже дожидались повозки, вытребованныя телеграммой. Ночь была ясная; луна освѣщала станціонный задворокъ, гдѣ толпились ямщики.

— Панфилову тройки!—крикнулъ во весь духъ Бородатовъ.

Къ крыльцу подкатили двѣ повозки, почти такія же, какъ и прежнія, только пошире и потяжеле. Артельщики вынесли багажъ, прикрутили его къ повозкамъ и громко скомандовали:

— Пошелъ! отъѣзжай!

Опять заболтали колокольчики подъ дугой, и тройки, миновавши дворъ, гдѣ шумно рядились извозчики съ сѣдоками, понеслись по скрипучему снѣгу среди безмолвія зимней ночи.

Востокъ разгорался. Широкою полосою разливалась по небу румяная заря; звѣзды гасли, и только луна не успѣла еще уйти и глядѣла во всѣ глаза, притаившись на западѣ, какъ застигнутый яснымъ утромъ ночной гуляка, возвращающійся съ пирушки домой.

Тройки летѣли, обгоняя запоздавшіе обозы, которые

тянулись почти безпрерывно, распространяя далеко отъ себя по свѣжему воздуху рѣзкій запахъ сырья.

Около возовъ шли молчаливые обозники, на большомъ разстояніи другъ отъ друга.

Шли они понуривъ головы. Лошади тянули подводы съ такимъ же унылымъ и сосредоточеннымъ видомъ, будто тоже сокрушаясь о своемъ житьѣ-бытьѣ, трудовомъ и безрадостномъ... А вокругъ уже все просвѣтлѣло. Уже брызнули по небу солнечные лучи, и засверкала дорога, когда Матвѣй Матвѣевичъ открылъ глаза и толкнулъ Бородатова:

— Проснись! скоро Ирбитъ!

Дѣйствительно, вскорѣ показались двѣ башенки городской заставы, а за ними крыши построекъ. Чувствуя близость конца, лошади помчались во весь духъ, обгоняя обозъ за обозомъ...

А городская застава все выростала и приближалась: вотъ уже ясно виднѣются ея остроконечные столбики: вотъ городская окраина и длинная улица, по которой замелькали дома и прохожіе, вывѣски, лавки съ товарами; вотъ, наконецъ, театръ и сибирскій банкъ; вотъ нотаріусъ, докторъ, биржа и гостиный дворъ, у котораго стояла группа людей, глядѣвшихъ съ любопытствомъ на проѣзжихъ.

Прежде всѣхъ Матвѣй Матвѣевичъ замѣтилъ въ этой группѣ Тирмана. Онъ стоялъ высоко на порожкѣ и, узнавши Панфилова, замахалъ ему шапкой и крикнулъ во весь голосъ:

— Съ пріѣздомъ, Матвѣй Матвѣевичъ! Добро пожаловать!

— Скотина!—прошипѣлъ въ отвѣтъ ему Панфиловъ, услыхавши вслѣдъ за собою хохотъ.

Тройки остановились на углу гостинаго двора предъ запертымъ магазиномъ. Матвѣй Матвѣевичъ перекрестился и вылѣзъ. Ямщикъ улыбался, снявъ съ головы шапку.

— Счастливыхъ успѣховъ!—говорилъ онъ Панфилову.—Съ ярмаркой васъ.

Бородатовъ доставалъ ключи изъ кармана, а подбѣжавшіе сторожа готовились отворять желѣзные ставни у которыхъ Анютинъ и Кротовъ осматривали печати.

— Сходи за попомъ, черезъ часъ будемъ молебенъ служить,—сказалъ Панфиловъ и обратился къ Бородатову:

— Съ Богомъ! Ломай печати!

Подъ звуки желѣзныхъ болтовъ, загремѣвшихъ по желѣзнымъ ставнямъ, на Матвѣя Матвѣевича вдругъ нахлынули дѣловыя заботы о срочныхъ векселяхъ, товарѣ и покупателяхъ, а дорожные интересы со всѣми приключеніями, видами и природой отодвинулись на задній планъ.

Ярмарочная суетливая жизнь захватила всѣ его мысли.

КРАМОЛА.

I.

Съ нѣкоторыхъ поръ, неизвѣстно зачѣмъ и откуда, сталъ появляться въ городѣ прилично одѣтый господинъ, лѣтъ 40, съ пушистыми бакенбардами и въ цилиндрѣ, не очень модномъ и не новомъ; такъ же не очень новъ и не очень моденъ былъ его костюмъ, и это придавало ему много солидности; ничто не обнаруживало въ немъ ни легкомысленнаго франта, ни прогорѣлаго барина, напротивъ—видѣлся въ немъ простой человѣкъ, которому некуда было дѣвать свободнаго времени; этимъ и объясняли его склонность поговорить, пошутить и разсказать множество новостей.

Появлялся онъ то въ Охотномъ ряду, гдѣ заглядывалъ въ мясныя и зеленныя лавки, восхищался пѣвчими птицами, то захаживалъ провѣдать купцовъ на Старую Площадь, то въ Ряды, то появлялся на торговыхъ подворьяхъ, и вездѣ стали знать его въ лицо и разговаривать съ нимъ. Обыкновенно онъ выбиралъ такія лавки, гдѣ торговцы бывали попроще и посѣрѣе, а заходилъ къ нимъ въ такое время, когда они бывали не очень заняты. Въ мясной лавкѣ онъ покупалъ курицу или говядины, въ колоніальной—папиросъ, въ галантерейной—галстукъ, а познакомившись, заходилъ нерѣдко и такъ: потолковать отъ нечего дѣлать, или „почесать языкъ“, какъ выражались торговцы.

— Ну-ка, отецъ-благодѣтель, — обращался онъ весело къ одному изъ приказчиковъ, — заверни-ка мнѣ фунтикъ колбаски.

— Ну-ка, отецъ-благодѣтель, достань десяточекъ папиросъ,—говорилъ онъ въ другомъ мѣстѣ.

Поэтому за нимъ и укрѣпилось прозвище „Благодѣтель“, хотя въ глаза его всѣ называли просто господиномъ. Кто онъ такой и какъ его имя—почему-то никто не спрашивалъ; интересовались имъ только одни мясники, съ которыми онъ имѣлъ особенную склонность бесѣдовать. Здоровенные ребята, съ мускулистыми руками и толстыми лицами, въ грязныхъ засаленныхъ фартукахъ, обвѣшанные кругомъ бедеръ широкими, длинными ножами, они иногда загадывали другъ другу: кто такой Благодѣтель? Одни говорили что онъ непремѣнно дворцовый лакей, потому что у него баки очень вылощены.

— И все знаетъ. Сколько разъ про войну предсказывалъ: что скажетъ, то, гляди, и случится на завтра. Ты попробуй, распахни ему пальто: у него, небось, все пузо въ золотѣ!

Другіе не соглашались.

— Нѣтъ. Лакей не можетъ такъ разговаривать. Да у нихъ и харчи казенныя: на какой ему говядина, или сырая курица!

— А, можетъ, онъ для любовницы покупаетъ?

— Вотъ ежели для любовницы... Только онъ, все-таки, скорѣе всего по монопольной части,—оттого все и знаетъ.

— А зачѣмъ у него баки-то такія, если онъ по питейному дѣлу?

— А чего-жъ имъ не быть? Это у мѣнялы баки не вырастутъ, а акцизному можно и съ баками...

Къ хозяевамъ Благодѣтель относился болѣе почти-

тельно, здоровался съ ними за руку и вздыхалъ о плохихъ барышахъ, а на плохіе барыши купцы всегда любятъ пожаловаться.

— Вѣдь этакъ дѣла-то въ двѣсти лѣтъ не поправятся,—сочувственно говорилъ Благодѣтель, качая головой и задумываясь. — Кого ни послушаешь, одно и то же: плохо и плохо. А что за причина? Что за напасть пошла на Россію?

— Насчетъ дѣловъ—это вѣрно, что напасть. Наши дѣла теперь, по-русски сказать...

— Не договаривайте. Знаю, какъ скажете.

— То-то и оно! Всякій знаетъ, какъ ежели по-русски протеперешнія дѣла сказать...

Однажды Благодѣтель явился въ мясную лавку поутру, въ самый разгаръ торговли. Всѣ были заняты: рубили, рѣзали, вѣшали, получали деньги, завертывали, считали; возлѣ прилавковъ, дожидаясь очереди, стояли кухарки въ теплыхъ платкахъ, съ сумками и корзинками.

— Я подожду,—сказалъ Благодѣтель. — Мнѣ не къ спѣху.

И сѣлъ на табуретъ возлѣ конторки.

— Дожили до времечка... нечего сказать! — вздохнулъ онъ, видимо, сердясь на кого-то.

На слова его никто, однако, не обратилъ вниманія. По-прежнему раздавалось на разные голоса: „Людской говядины-то не положили“... „Сію минуту-съ“... „Съ васъ два рубля тридцать восемь“... „Баранины восемь фунтовъ“... „Сдачи извольте получить“...

Работа кипѣла: хрустѣли подъ топорами кости, звенѣли на мраморной доскѣ деньги, щелкали счеты, — и Благодѣтеля не замѣчали. Тогда онъ всталъ и громко сказалъ:

— Слышали новость? Всѣхъ крестьянъ опять скоро крѣпостными сдѣлаютъ.

Мгновенно все затихло и остановилось, точно въ

вертѣвшееся колесо кто-то просунулъ палку. Всѣ руки опустились, всѣ глаза глядѣли на Благодѣтеля, а онъ, будто не замѣчая этого, закуривалъ папиросу и молчалъ.

— То есть... какъ... крѣпостными?.. — вымолвилъ чей-то голосъ, въ которомъ было и недовѣріе, и страхъ, и злоба.

— Какъ въ старину было. Будутъ опять господа, будутъ и крѣпостные. Такъ рѣшили сдѣлать ученые люди—интеллигенты. У нихъ ужъ дѣло налажено.

— Чтобъ имъ издохнуть!—взвизгнула молодая горничная съ завитыми волосами и съ брошкой.—Чэрти!. Право, чэрти!!!

— Сперва они рѣшили спровадить всякое начальство,—продолжалъ Благодѣтель,—чтобъ безъ него легче съ вами управиться, а потомъ и всѣхъ крестьянъ расписать себѣ: кому сколько достанется.

— Мы люди вольные! Пущай сами себя расписываютъ!—волновались слушатели.

— Теперь да: вольные, пока начальство за васъ.

— Да нешто дозволимъ?!—закричали мужчины.

— Безъ начальства дозволите.

— Какъ бы не такъ!

— А что сдѣлаете-то?

— Да мы ихъ...

— Что?

— Въ морду!!!

— Кого въ морду-то?

— Всѣхъ!

— Тогда будетъ поздно.

Онъ поглядѣлъ на взволнованныя, раздраженныя лица и добавилъ:

— Развѣ не слышали, что они даже на самого царя хотятъ наложить свою опеку? Это называютъ они кон-сти-туціей!.. Чтобы царь нашъ только бумаги ихнія подписывалъ, а править всѣмъ государствомъ будутъ они.

Всѣ облегченно вздохнули и стали даже смѣяться.

— Эна куда!.. Мы подумали, указъ такой вышелъ. А это... что! Дураки они и больше ничего.

— И чэрти!—добавила горничная, капризно встряхивая плечами.—Право, чэрти.

И опять всѣ заговорили по-старому: „Котлетъ отбивныхъ“... „Кому солонины?“.. „А то ишь выдумали: крѣпостные“!.. „Шесть по осьмнадцати—въ кассу!..“

Однако новость, пущенная Благодѣтелемъ, не умерла тутъ-же, въ лавкѣ. Вернувшись по домамъ, прислуги сообщили другимъ прислугамъ: тѣ въ свою очередь взволновались и за себя, и за родныхъ, сидѣвшихъ гдѣ-то по глухимъ деревнямъ, и невольно начали приглядываться осторожно къ хозяевамъ и къ гостямъ, и иногда имъ стало казаться, что среди господъ происходитъ что-то новое и секретное, чего не бывало раньше.

— Шушукаются,—передавали горничныя кухаркамъ, а тѣ сообщали въ лавкахъ:

— Шушукаться начинаютъ...

Благодѣтель, когда его спрашивали, не отрицалъ опасности, однако, сталъ добавлять, что всего этого желаютъ только студенты да ученые.

— А настоящіе господа здѣсь не при чемъ: чиновники, дворяне разные, генералы... Эти развѣ затѣютъ такую гадость! Это все мутятъ волосатые эти...

— Взять бы этихъ волосатыхъ!—горячо воскликнулъ лавочникъ, молодой хозяинъ,—взять бы ихъ всѣхъ за волосья да въ пучки повязать, да въ Америку багажомъ: тамъ все одно купля-продажа негровъ! А мы бы ихъ по дешевымъ цѣнамъ: пятачокъ за пучекъ, а въ пучкѣ цѣлый десятокъ! Гы-гы-гы!! — расхохотался онъ надъ своимъ предложеніемъ, и долго не могъ успокоиться, и всѣ мясники его хохотали съ нимъ вмѣстѣ.

Благодѣтель серьезно глядѣлъ на ихъ веселыя жир-

ныя лица, на бѣлые здоровые зубы, на крѣпкія складки щекъ и, когда ликованіе затихло, сказалъ, приложивъ ко лбу палецъ:

— А что?.. Вѣдь объ этомъ стоитъ подумать. Хорошая мысль... Надобно подумать. Вы умный человѣкъ, господинъ Красавицынъ, и настоящій русскій, истинно-русскій человѣкъ! Почемъ знать: можетъ быть, изъ васъ для Россіи судьба готовитъ новаго Минина.

Красавицынъ даже растерялся отъ такой неожиданной похвалы. Онъ стоялъ молча, съ опущенными глазами, сохраняя на своемъ молодомъ румяномъ лицѣ гордую и счастливую улыбку.

— А я вотъ не знаю, какъ сдѣлаю, — раздался новый голосъ.—Но только ничему этому не бывать.

Это сказалъ, волнуясь и блѣднѣя, юноша лѣтъ восемнадцати. Онъ выговорилъ это негромко, но твердо.

— Я самъ крестьянинъ. И отецъ мой, и дѣдушка—крестьяне. И тому, что вы сказали о крѣпостныхъ,—не бывать.

Благодѣтель приподнялъ надъ головою цилиндръ и согнулъ шею.

— Радуюсь, молодой человѣкъ. Отъ души радуюсь,— сказалъ онъ, вглядываясь въ возбужденное лицо юноши, въ сдвинутыя брови и раздувшіяся ноздри. — Съ такими молодцами всякіе страхи исчезаютъ, какъ привидѣнія. Подумайте: вотъ уже двое въ одну минуту Да этакъ вся Москва за нами пойдетъ! Вся Россія!

Онъ надѣлъ цилиндръ и протянулъ руку.

— Радъ познакомиться. Вы чѣмъ же занимаетесь, молодой человѣкъ?

— Я съ дѣдушкой иконами торгую; вотъ здѣсь, у подворья, лавка Синицына. А съ Денисомъ Петровичемъ,—указалъ онъ на Красавицына,—мы въ дальнемъ родствѣ.

— Побываю у васъ, побываю, — отвѣчалъ Благодѣтель.—Я ужъ бывалъ кое у кого изъ вашихъ сосѣдей. Дѣдушка-то вашъ не очень занятъ? Не обидится?

— Нѣтъ. Дѣдушка любитъ поговорить.

— Вотъ и прекрасно. Кстати, мнѣ нужно крестикъ золоченый купить. Такъ я побываю. Очень пріятно.

Онъ весело пожалъ руки обоимъ молодымъ людямъ, поклонился приказчикамъ и ушелъ, тихонько напѣвая, точно мурлыкая:

— Славься ты, славься, нашъ русскій царь...

II.

Яшу Синицына съ одиннадцати лѣтъ взяли изъ школы и начали пріучать къ дѣлу.

Съ утра до вечера онъ находился въ лавкѣ, гдѣ писалъ покупателямъ письма подъ диктовку старшихъ, лизалъ языкомъ и наклеивалъ гербовыя марки на счета, ѣлъ у разносчиковъ горячіе пироги и наливалъ дѣдушкѣ, отцу и себѣ въ толстые стаканы чай изъ мѣднаго огромнаго чайника. Свободнаго времени было у него, несмотря на занятія, много, и онъ, прогуливаясь по своей линіи, расширялъ знакомство среди сосѣдей, дежурныхъ городовыхъ, артельныхъ сторожей и разныхъ людей, заходившихъ въ лавку какъ по дѣламъ, такъ и безъ всякаго дѣла. Дѣдушка любилъ побесѣдовать и у него было много знакомыхъ, которые только для этого и заходили. Здѣсь Яша много разъ слыхивалъ, что дѣдушка — крестьянинъ, и хотя платитъ въ гильдію и считается временнымъ купцомъ, но коренного званія своего не желаетъ мѣнять.

— Родился крестьяниномъ и помру крестьяниномъ,— твердо и съ удовольствіемъ говорилъ обыкновенно дѣдушка.— Вотъ и сынъ тоже ни во что иное не лѣзетъ и внукъ не полѣзетъ. Такъ и будемъ всѣ крестьяне какими Господь создалъ.

Черезъ годъ уже и Яша говорилъ своимъ знакомымъ не безъ достоинства, что онъ крестьянинъ, какъ его отецъ и дѣдушка, и что онъ это званіе никогда не промѣняетъ ни на какое иное.

Лавка ихъ была небольшая, вся заставленная иконами и кіотами, а на прилавкѣ подъ стеклянной крышкой лежали мелкіе образки и крестики, и все вокругъ хорошо пахло кипарисомъ и свѣжимъ маслянистымъ лакомъ, такъ что о. Ѳедоръ, заштатный священникъ, когда входилъ, бывало, въ лавку, то прежде чѣмъ поздороваться, втягивалъ въ себя ноздрями воздухъ и разводилъ руками:

— Благоуханіе-то какое!

Въ лицѣ и во всей фигурѣ этого священника было нѣчто загадочное и затаенное; большіе сѣрые глаза его были грозны и проницательны, но онъ старался всегда сощуривать ихъ и дѣлать ласковыми: голосъ его былъ громокъ и рѣзокъ, но онъ старался говорить тихо и мягко, точно боясь, что за настоящіе взоры и за настоящій голосъ его сейчасъ же прогонятъ. А жизнь его была нелегкая, полная бѣдствій, гоненій и нищеты, и онъ теперь ломалъ себя и свою натуру, чтобы какъ-нибудь не сорваться и не остаться голоднымъ.

— Пустой человѣкъ! — говорилъ про него дѣдушка.—Всю жизнь съ мѣста на мѣсто гоняютъ... Кабы не семейный, и на порогъ бы къ себѣ его не пустилъ.

Однако, когда Ѳедоръ надолго пропадалъ, дѣдушка начиналъ все чаще о немъ вспоминать и даже безпокоиться.

— Что-то давненько нашъ попикъ-то не бывалъ. Живъ ли, непутевая голова?

Время шло, и Яша привыкалъ. Его посылали къ мастерамъ съ заказами и научали распознавать старинные образа и складни; бесѣдовали съ нимъ про „мездринный“ клей, про грунтовку „левкасомъ“ и про „твореное“ золото, которымъ дѣлаются узоры на одеждѣ святыхъ. Онъ уже сталъ отличать рублевскую живопись отъ суздальской, кустарную отъ монастырской и товаръ свой научился узнавать по первому взгляду, хотя

это было и не такъ легко на первое время, особенно съ иконами Божіей Матери, Троеручицу, Живоносный источникъ, Утоли моя печали, Прозрѣніе очей, Взысканіе погибшихъ, — онъ заучилъ безъ труда, но Владимірскую, Казанскую, Иверскую, Корсунскую, Египетскую—онъ перепутывалъ и долго не умѣлъ различать. Потомъ дѣдушка сталъ разсказывать ему про разные стили, или „пошибы"—строгановскій, московскій, фряжскій, — знакомилъ съ руководствами „толковыми" и „лицевыми" и указывалъ то на „рѣзкость", то на „плавность" рисунка.

— Всему тому цѣна разная,—умудрялъ старикъ,—все равно какъ рублю и двугривенному. И въ обманъ себя ты не долженъ давать никому.

Лавка у нихъ была холодная, безъ печей. Въ зимніе морозы она такъ выстывала, что въ чернильницѣ замерзали чернила, а бумага, на которой Яша писалъ, дѣлалась, какъ ледъ, и жгла ему руку. Завернутый въ шубу и туго подпоясанный для тепла кушакомъ, Яша окуналъ перо въ чернильницу, подцѣплялъ на кончикъ его блестящіе черные кристаллы, въ родѣ чернаго снѣга, и начиналъ дышать на перо молодымъ горячимъ дыханіемъ; снѣгъ таялъ, и перо дѣлалось влажнымъ; Яша пользовался моментомъ и наносилъ на бумагу нѣсколько строкъ, потомъ опять поддѣвалъ изъ чернильницы на кончикъ пера чернаго снѣга, опять оттаивалъ его дыханіемъ — и продолжалъ дописывать счетъ; руки зябли и ныли, и онъ, отрываясь нерѣдко отъ работы, бросалъ перо на половинѣ слова и согрѣвалъ посинѣвшіе пальцы тѣмъ же дыханіемъ, а иногда грѣлъ ихъ о стѣнки мѣднаго чайника, если тотъ бывалъ въ это время горячъ.

— На то и руки, чтобы ими работать,—утѣшалъ онъ себя.—Нечего ихъ жалѣть.

Отецъ Яши тоже въ свое время не жалѣлъ себя на работѣ, но его хватило не надолго; теперь онъ

былъ хворымъ и слабымъ, сильно страдалъ отъ неизлѣчимыхъ болѣзней, въ лавкѣ почти не бывалъ и, вообще, не замѣчалъ ничего вокругъ себя; зато дѣдушка вглядывался въ Яшу опытнымъ проникновеннымъ взоромъ и, наединѣ съ самимъ собою, молча кивая самъ себѣ сѣдой головой, думалъ съ удовольствіемъ:

— Дѣловой человѣкъ получается!

Линія, гдѣ торговали Синицыны, вся состояла, направо и налѣво, изъ такихъ же лавокъ; по ней цѣлые дни ходили люди, выкрикивали на разные голоса разносчики, и только къ вечеру все пустѣло и затихало, когда купцы затворяли ставнями окна и двери, запирали ихъ замками, запечатывали на нихъ пломбы изъ чернаго липкаго вара и расходились по домамъ.

III.

На Спасской башнѣ пробило полдень. Зычные тяжелые удары одинъ за однимъ монотонно прорѣзывали воздухъ, точно падали куда-то съ высоты, расплываясь и тая надъ окрестными улицами и дворами, полными суеты.

Къ этому времени на подворья стремятся всякіе разносчики; скорымъ шагомъ проходятъ они по линіямъ, съ ящикомъ на ремнѣ черезъ плечо, или съ лоткомъ на головѣ; всѣ выкрикиваютъ нараспѣвъ свои товары и, дорожа временемъ, останавливаются лишь на минуту, чтобы отпустить кому-нибудь горячихъ пироговъ или рыбы, или мяса, и спѣшатъ дальше—къ другимъ, громко предлагая каждый свое и на свой особый голосъ и ладъ:

— Горячая вет-чина!

— Бѣлужка малосольная!

— Кишки бараньи: съ кашей, съ огнемъ!

Главнымъ вниманіемъ пользуется пирожникъ, мо-

лодой веселый парень со вздернутымъ короткимъ носомъ: онъ громче и звонче всѣхъ кричитъ о своихъ пирогахъ еще издали, стараясь придать окрику непонятное балагурство:

— Спи... рогами! — слышится его удалой голосъ, соотвѣтствующій плутоватому, дерзкому и веселому его лицу.

— Ну-ка цыкни пирожника, — говоритъ торговецъ, заслышавъ его приходъ, и магазинный мальчикъ бросается со всѣхъ ногъ за дверь.

— Цс! цс!.. Рогачъ! Рогачъ!.. Съ чѣмъ нынче пироги?

— Съ лукомъ-говядиной; съ селедочными башками; съ кашей-съ яйцами; съ клубничнымъ вареньемъ, — отчетливо и торопливо перечисляетъ пирожникъ, приподнимая надъ ящикомъ уголъ теплаго одѣяла, изъ-подъ котораго клубится пахучій паръ.

Пробило полдень и въ лавку Синицына вошелъ священникъ, о. Ѳедоръ. Какъ всегда, онъ потянулъ носомъ воздухъ, пахнущій масломъ и кипарисомъ, и похвалилъ:

— Благоуханіе-то какое!

Затѣмъ поздоровался.

— Въ полночь врагъ человѣческій приходитъ, а въ полдень — другъ человѣческій, — пошутилъ онъ, взглядывая на стѣнные часы.

— Гдѣ пропадалъ-то? — спросилъ дѣдушка, накрывая газетой только-что принесенные пироги.

— Не пропалъ, — отыскался! — отвѣтилъ Ѳедоръ.— Это кому живется весело, тотъ пропадаетъ, а нашего брата и могила не беретъ... Въ больницѣ лежалъ: думалъ въ послѣдній заштатъ выйти — нѣтъ! выздоровѣлъ!

— Все ропщешь?—упрекнулъ дѣдушка.

— Возропщешь, Семенъ Никитичъ, когда пять дочерей и ни одной копейки! Впрочемъ, я это шучу.

Я послѣ болѣзни что-то веселымъ сдѣлался, давно такимъ и не бывалъ. Хорошо похворать. Право, хорошо: и въ теплѣ полежалъ, и кормился какъ слѣдуетъ. И чаемъ поили—чего еще!

— А табачку, небось, не давали понюхать?

— Да. Этого не давали. Скучно тому безъ табаку, кто привыкъ.

Дѣдушка вынулъ изъ кармана серебряную табакерку, похлопалъ ее по стѣнкамъ, открылъ и поднесъ Ѳедору.

— На-ка, понюхай.

Придерживая осторожно широкій отвисшій рукавъ, Ѳедоръ двумя пальцами взялъ щепоть табаку и сунулъ въ обѣ ноздри.

— Ахъ, хорошъ табачокъ!.. — сказалъ онъ улыбаясь. — Очень хорошъ!.. Скучно безъ него... кто привыкъ.

— А вѣдь ты похудѣлъ, батюшка!

Ѳедоръ вмѣсто отвѣта провелъ ладонями себя по тощимъ бокамъ и груди и, помолчавъ, опять сказалъ:

— Ахъ, хорошъ табачокъ!

Несмотря на сырую и холодную погоду, онъ пришелъ въ легкой рясѣ и черной соломенной шляпѣ. Ряса, особенно на спинѣ и плечахъ, выцвѣла и трудно было понять — была ли она зеленая и теперь стала желтѣть, или была желтая и начала зеленѣть; внизу ея образовалась уже бахрома, а воротникъ былъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ заштопанъ. Подъ глазами у Ѳедора, которые онъ все старался защуривать, синѣли болѣзненныя полоски, и мохнатыя брови надъ ними безпокойно подергивались; волосы его были жидки и рѣдки, но непокорны, и въ безпорядкѣ дыбились на темени, отчего и казалось, будто надъ головой у него стоитъ дымъ—какъ надъ вулканомъ; и это очень подтверждало отзывъ о немъ благочиннаго, который въ Клировыхъ вѣдомостяхъ, въ графѣ о поведеніи, напи-

салъ, когда Ѳедора увольняли за штатъ: „Поведенія онъ весьма тихаго, но характера горячаго, а въ защитѣ своихъ правъ и добраго имени настойчивъ до самозабвенія“... Послѣднее слово было даже подчеркнуто.

— Садись-ка, да разскажи,—пригласилъ дѣдушка.—Вотъ пирожка не хочешь ли пожевать; не знаю только—которые съ чѣмъ.

Онъ снялъ съ пироговъ газету и опять сказалъ:

— Поѣшь. Тутъ былъ который-то съ рыбой.

— Съ рыбой хорошо, — согласился Ѳедоръ, беря и откусывая первый попавшійся пирогъ.

— Постой! Ты съ вареньемъ взялъ.

— Ничего, я и съ вареньемъ люблю,—сконфузился тотъ.—Хорошо тепленькаго проглотить... хорошо!.. Ну, вотъ и позавтракалъ; спасибо,—говорилъ онъ, вытирая сладкія губы.

— Возьми еще пирожокъ; да чайкомъ прихлебни.

— Спасибо. Не откажусь... Вотъ онъ и съ рыбой попался. Солененькая рыбка... хорошо! Очень соленая... прелесть!

— Ну,—проговорилъ дѣдушка, раскалывая щипцами сахаръ на мелкія части, — у насъ безъ тебя новаго было много, а хорошаго—ничего: торговля плохая, товаръ нашъ изъ моды выходитъ; не только икону купить, а и въ церковь лобъ перекрестить не идетъ публика, вотъ до чего доучились. И ни Богъ, и ни царь на нихъ не потрафляютъ; все не по ихнему! Крѣпостными хотятъ всѣхъ крестьянъ опять сдѣлать... Нешто это терпимо!

— Не удастся имъ это!—горячо крикнулъ Яша изъ-за своей конторки.—Ни за что не допустимъ!

Ѳедоръ въ недоумѣніи раскрылъ свои большіе сѣрые глаза и глядѣлъ то на дѣдушку, то на Яшу, отодвинувъ отъ себя даже стаканъ съ чаемъ.

— Христосъ съ вами! Кто же этого хочетъ? Никто не хочетъ!

— Студенты хотятъ! Ученые хотятъ!

— Крѣпостныхъ желаютъ, такіе-сякіе! — сердился дѣдушка, сжимая въ кулакъ свою сухую, уже слабую руку.—Надо имъ показать... крѣпостныхъ-то!

— Да что вы, миленькіе мои! — пытался успокоить ихъ Ѳедоръ, начиная нервно гладить себя по бокамъ и груди.—Съ чего это вы такъ вдругъ?

Онъ всталъ, но опять сѣлъ.

— Что вы, что вы!.. И нѣтъ этого нигдѣ, и быть этого не можетъ, и сказалъ вамъ, должно быть, про это человѣкъ невоспитанный... худой человѣкъ!

— Вотъ кто сказалъ,—съ удовольствіемъ перебилъ старикъ, указывая на дверь, которую отворялъ Благодѣтель, входя въ лавку. — Добро пожаловать, господинъ! А мы какъ разъ объ теперешнихъ дѣлахъ разсуждали.

Ѳедоръ поднялся со скамьи, нагнулъ немного голову въ отвѣтъ на поклонъ Благодѣтеля и отошелъ въ сторону, за большое распятіе, стоявшее среди магазина, и оттуда глядѣлъ пристальнымъ холоднымъ взоромъ на незнакомца.

— Очень рады васъ видѣть; садитесь, — говорилъ дѣдушка, указывая на освободившуюся скамью. —А его можете не стѣсняться,—кивнулъ онъ на Ѳедора, — это свой человѣкъ и старинный пріятель.

— Духовныя лица чрезвычайно желательны и должны быть украшеніемъ нашего дѣла. И во многомъ они намъ будутъ полезны... Кланяюсь вамъ, батюшка.

— И я кланяюсь,—просто отвѣтилъ Ѳедоръ, не выходя изъ-за распятія.

Всѣ помолчали.

— Вы знаете князя Сардинина? — спросилъ Благодѣтель.

— Какъ не знать: извѣстнѣйшій князь.

— А вы знаете, что онъ обѣщалъ намъ тысячу рублей на расходы? Онъ очень сочувствуетъ намъ и

совѣтуетъ собраться да рѣшить—какъ и что. Сегодня вечеромъ, въ восемь часовъ пожалуйте въ здѣшній трактиръ; тамъ мы все и устроимъ. Комнату я уже взялъ.

— Дѣдушка, надо пойти!—вызвался Яша.

— Непремѣнно идите. И вы, Семенъ Никитичъ, пожалуйте. Можетъ пріѣхать и самъ князь!—съ таинственной важностью сообщилъ Благодѣтель.

— А кто да кто будетъ?

— Красавицынъ придетъ—родственникъ вашъ; сосѣди ваши будутъ; брандмейстеръ одинъ... хоругвеносцы хотѣли придти... Народу человѣкъ тридцать сберется. А въ слѣдующій разъ всѣхъ позовемъ; а у насъ теперь—тысячи!... Не угодно-ли, батюшка, и вамъ пожаловать къ намъ?—обратился онъ къ Ѳедору.

Но тотъ отвѣчалъ по-прежнему сухо и холодно:

— Я вина не пью.

— Какого вина?—удивился Благодѣтель.

— Никакого.

— Да вѣдь у насъ будетъ собраніе; дѣловое собраніе. Патріотическое!.. Никто про вино и не думаетъ.

— Извиняюсь. А мнѣ показалось, будто зовете вы насъ попировать на княжескія деньги. Значитъ, я не такъ понялъ. Послѣ болѣзни я вообще что-то сталъ непонятливъ. Да и въ больницѣ у насъ случай былъ: тоже одного молодого человѣка на собраніе пригласили, очень серьезное собраніе, вотъ какъ у васъ. А на утро оказались всѣ пьяные и въ непотребномъ домѣ... Послѣ этого молодой человѣкъ и въ больницу попалъ... Вотъ я и спуталъ все это. Ужъ извините.

Всѣмъ стало неловко. Всѣ молчали.

Ѳедоръ, облокотясь на нижнюю перекладину креста, стоялъ съ согнутой спиной и молча ожидалъ непріятности. Ему было жаль покидать эту лавку, жаль было и Яшу, и дѣдушку, и самого себя, но сердце его начинало горѣть и онъ мысленно обрекалъ уже себя на

изгнаніе. Онъ ждалъ сейчасъ, что Благодѣтель обидится и скажетъ ему что-нибудь рѣзкое, и вотъ сердце его разгоралось и готовило достойный отвѣтъ.

Но въ это время вошли покупатели, и разговоръ кончился.

— Такъ мы васъ ждемъ,—сказалъ Благодѣтель.

— Непремѣнно,—отвѣтилъ Яша.

А дѣдушка уже былъ занятъ продажей и, не слушая ихъ, говорилъ кому-то съ упрекомъ:

— Этотъ ликъ не хорошъ? Помилуйте: надо бы лучше, да не бываетъ-съ!..

IV.

Трактиръ, въ который вечеромъ отправился Яша, находился недалеко отъ ихней лавки и занималъ собою подъ огромнымъ многоэтажнымъ домомъ обширный подвалъ съ толстыми каменными стѣнами и сводчатымъ каменнымъ потолкомъ. Маленькія окна его выходили прямо на тротуаръ, точно лазейки, и посѣтителямъ видны бывали днемъ только однѣ ноги проходящихъ и слышались только безпрерывные глухіе звуки шаговъ. Трактиръ этотъ назывался „Низокъ“ и напоминалъ собою внутренность корабля: такъ же вела внизъ отъ солнца и воздуха широкая лѣстница, такъ же были накрыты столы въ общихъ обѣденныхъ компатахъ, а по длинному коридору вправо и влѣво были отгорожены крошечные кабинеты, похожіе на каюты, гдѣ съ утра до ночи горѣли лампы.

Одну изъ общихъ комнатъ хозяинъ отвелъ для простого народа и понизилъ въ ней всѣ цѣны, чтобы чернь не лѣзла къ чистой публикѣ, а на стѣнѣ повѣсилъ рукописное объявленіе: „Покорнѣйше просятъ посѣтителей по неприличному вслухъ не выражаться“. Эту комнату, совершенно отдѣльную отъ другихъ, онъ и уступилъ Благодѣтелю, потому что она по вечерамъ

обыкновенно пустовала. Ее вымели и убрали, накрыли посрединѣ одинъ длинный столъ и освѣжили воздухъ; только забыли снять рукопись со стѣны съ „покорнѣйшей просьбой“, которая такъ и осталась на засѣданіи.

Къ восьми часамъ начали собираться гости.

Первымъ пришелъ торговецъ сырыми кожами, Матюговъ, высокій старикъ съ большимъ животомъ, съ сѣдой окладистой бородой и краснымъ лицомъ, говорившій всѣмъ про себя, что онъ не только патріотъ, но и „столпъ отечества“; на груди его висѣли двѣ медали за двѣ коронаціи: одна—темная на красной лентѣ, другая—бѣлая на голубой лентѣ. Однажды въ пьяномъ видѣ онъ сломалъ себѣ ногу и съ тѣхъ поръ ходитъ съ палкой, прихрамываетъ и воображаетъ себя пострадавшимъ героемъ.

Пришелъ еще одинъ торговецъ теплымъ товаромъ, никому не знакомый, сумрачный и молчаливый; если онъ и отвѣчалъ иногда на вопросы, то говорилъ больше непонятными междометіями: „дѣлишки—хны; денежки—турлы, обстоятельства—хрю!“

Потомъ явился мѣняло, низенькій человѣкъ съ безбородымъ сморщеннымъ лицомъ и тонкимъ женскимъ голосомъ, вообще похожій на старую бабу, надѣвшую сюртукъ.

Мясникъ Красавицынъ пріѣхалъ прямо изъ лавки съ работы, не успѣвъ переодѣться, и хотя молодымъ лицомъ своимъ съ розовыми щеками и голубыми глазами напоминалъ херувима, но вокругъ себя разносилъ запахъ крови и сала. Онъ привезъ себѣ на подмогу еще молодца изъ лавки—съ короткой бычьей шеей и тупымъ лбомъ.

Пришелъ со спутанными волосами и всклокоченной бородой содержатель бань, Друзьёвъ, которому все время хотѣлось не то заснуть, не то выпить еще водки, не то разбить зеркало.

Пріѣхалъ подрядчикъ Осьмухинъ, которому многіе

были должны крупныя суммы, а самъ онъ былъ долженъ другимъ еще того больше; одѣвался онъ въ поддевку и высокіе сапоги, но ѣздилъ на дорогихъ рысакахъ и резиновыхъ шинахъ.

Пришелъ маклеръ Сучилинъ, съ желтыми обвисшими усами, весь въ морщинахъ, съ худыми дрыгающими ногами и съ длиннымъ корявымъ носомъ, въ очкахъ, очень сердитый и никому не вѣрящій безъ расписокъ ни подъ какія слова. У него было огромное знакомство и огромныя связи, но онъ былъ золъ на всѣхъ за то, что его никогда не избирали въ настоящіе маклеры, и онъ всю жизнь былъ такъ называемымъ „биржевымъ зайцемъ“ и не могъ имѣть шнуровой книги; а шнуровая книга съ печатью—была его завѣтной мечтой.

Когда вошелъ Яша, всѣ они сидѣли уже за столомъ; одни молчали, другіе разговаривали о цѣнахъ:

— Осетрина какъ вздорожала!

— Къ рыбѣ приступа нѣтъ!

— Уважаю я осетрину.

Мало-по-малу подходили все новыя лица: пришелъ издатель сонниковъ и страшныхъ предсказаній, пришелъ похоронный кондитеръ, пришли лабазники, хозяинъ двадцати лихачей и хоругвеносцы. Среди нихъ вошли незамѣтно и четыре сыщика—второго сорта—на случай поддержать настроеніе. Вскорѣ комната наполнилась и Благодѣтель приступилъ къ дѣлу.

Прежде всего онъ отрекомендовался:

— Русскій патріотъ, Василій Васильевичъ Вороновъ, преданный своему отечеству, престолу, самодержавію и православію. По совѣту князя Сардинина я пригласилъ васъ сегодня, Почтенное собраніе, обсудить наши русскія дѣла и принять мѣры къ спасенію нашего государства, которому грозитъ великая опасность отъ внутреннихъ враговъ, болѣе дерзкихъ и опасныхъ,

чѣмъ враги внѣшніе... Вотъ господинъ Щовъ, только что вернувшійся изъ Петербурга, лучше меня объяснитъ вамъ суть дѣла. Господинъ Щовъ, — будьте любезны сказать вступительное слово.

Изъ-за стола поднялся высокій худощавый человѣкъ съ маленькими безстрастными глазами, гладко остриженный, съ выбритой бородой и подрѣзанными усами; лицо это, казалось, было очень удобно гримировать и придавать ему любое выраженіе.

— Почтенное собраніе!—началъ онъ, вынимая изъ кармана бумажку и все время косясь на нее.—Трудное и ужасное время переживаетъ наше дорогое отечество. Измѣнники и крамольники, потерявшіе честь и совѣсть, кричатъ по всей Россіи „долой правительство и царя, мы сами хотимъ управлять народомъ и царствомъ". Они хозяйничаютъ уже въ городахъ и земствахъ, выжимаютъ съ крестьянъ земскіе сборы и мечтаютъ опять возстановить крѣпостное право.

— Крамольники!—крикнули четыре голоса изъ разныхъ угловъ,—и въ отвѣтъ имъ по собранію глухо пронесся ропотъ.

— Они отрицаютъ Бога и православную вѣру, отрицаютъ отечество, царя и вѣрныхъ слугъ его, убивая лучшихъ людей, преданныхъ губернаторовъ и честныхъ министровъ. Кто-жъ эти люди, ведущіе насъ на край пропасти? Эти люди—студенты, профессора, учителя, адвокаты, писатели и жиды!

Новая волна ропота пронеслась по собранію.

— Взглянемъ же, что стало съ нашимъ народнымъ хозяйствомъ. Все разорено: дѣла испорчены, кредитъ подорванъ, и все это началось съ проклятаго слова „довѣріе", которое, не подумавши, бросилъ одинъ либеральный министръ — на зло дѣйствительной опорѣ Россіи—самодержавію! Этимъ проклятымъ словомъ онъ ввергъ страну въ несказанныя бѣды. А другой ми-

пистръ, покровитель жидовъ, прямо отдалъ отечество на растерзаніе инородцамъ и всякимъ врагамъ...

— Правильно!—закричалъ вдругъ банщикъ, очнувшись отъ спячки.—Всѣ жулики и измѣнники!

Онъ ударилъ по столу тяжелой ладонью и, перебивая оратора, горячо продолжалъ:

— Всѣхъ ихъ къ чортовой матери!

Настроеніе вдругъ поднялось. Много голосовъ заговорило сразу, но банщикъ кричалъ громче всѣхъ, стуча по столу:

— Къ чортовой матери! Всѣхъ ихъ къ чортовой матери!

Ораторъ пытался что-то сказать, но его уже не слушали, а бранили обоихъ министровъ, называя ихъ предателями. Кто-то прибавилъ къ двумъ министрамъ третьяго, потомъ прибавили еще одного, а потомъ уже всѣ загалдѣли вообще про начальство.

— Велика больно власть дана!—сердился одинъ.

— Тѣснятъ народъ и знать ничего не желаютъ,—перебивалъ другой.

— Зазнались! —добавлялъ третій.—Ни суда на нихъ, ни управы!

— Жертвы наши разграбили; а мы-то сдуру несли денежки-то. А онѣ по карманамъ...

— Денежки наши—турлы!.. Фью!

— А полиція? Житья нѣтъ! Что захочетъ, то и ломитъ, безъ мѣры, безъ толку: штрафуетъ, оретъ, придирается.

— Приставъ у насъ былъ—этакое животное!

— А нашъ-то приставъ: намедни такъ на меня и хрипитъ, такъ и топочетъ ногами.

— А моего дворника изъ Москвы выслалъ. Спрашивается: за что?!

— Зазнались! Пора бы имъ кулаки-то сшибить!

— Только себѣ морды отращиваютъ, окаянные!

— Всѣхъ ихъ къ чортовой матери!

Говорили и кричали всѣ разомъ, и чѣмъ больше шумѣли, тѣмъ больше разгорячались. Бранили войну, бранили какихъ-то мошенниковъ, роптали на налоги и ругали полицію. Настроеніе слагалось не въ пользу оратора. Напрасно пытался онъ перейти снова къ рѣчи, напрасно кричали сыщики про жидовъ и студентовъ, и напрасно махалъ руками Вороновъ, призывая къ порядку.

— Почтенное собраніе!.. Почтенное собраніе!—надрывался онъ, обливаясь холоднымъ потомъ.—Вы не про то! Тише! Не про это рѣчь! Подождите!.. Почтенное собраніе!..

Но страсти разгорѣлись и имъ уже не было удержа.

—Мининъ! Спасайте!—бросился, наконецъ, Вороновъ, чуть не со слезами къ Красавицыну.—Лѣзьте на столъ. Кричите имъ что-нибудь!

Красавицынъ точно ждалъ этого. Ловко занесъ онъ на столъ ногу и вдругъ выросъ надъ всѣмъ обществомъ съ раскинутыми врозь руками.

— Народъ православный!—гаркнулъ онъ во весь голосъ.

Неожиданность удалась. Всѣ повернули глаза къ новому оратору и притихли, тѣмъ болѣе, что привезенный имъ молодецъ успѣлъ кое-кого пырнуть пальцами подъ ребра и сказать:—Гляди! гляди!

— Народъ православный!—повторилъ Красавицынъ, не зная самъ что говорить дальше; сердце его колотилось, кровь стучала въ виски.

Самолюбіе не позволяло ему слѣзть теперь со стола не сказавши ни слова, и онъ съ своей высоты глядѣлъ почти съ ужасомъ въ эти десятки чужихъ глазъ, въ эти бороды и лица, обращенныя къ нему въ ожиданіи чего-то важнаго и большого. Это молчаніе, которое онъ вызвалъ своимъ окрикомъ, теперь давило его. Онъ понималъ, что еще секунда—и всѣ расхохочутся и онъ уйдетъ, сгорая со стыда, а завтра весь

городъ будетъ знать, какъ Красавицынъ говоритъ рѣчи.

— Народъ православный! — воскликнулъ онъ еще разъ, теряясь, не разсуждая и дѣлая что-то безсознательное.

Трясущимися руками онъ распахнулъ вдругъ полу своего пиджака и, хватая изъ бумажника деньги, запальчиво мялъ ихъ и бросалъ на столъ, приговаривая:

— Вотъ!.. Вотъ!.. Вотъ!..

Потомъ вытащилъ кошелекъ и такъ же страстно и неожиданно для самого себя раскрылъ его надъ столомъ и, когда зазвенѣли рубли, полтинники, золото и мелочь, онъ почти уже шопотомъ восклицалъ, но рѣзко на всю комнату:

— Вотъ! Вотъ!

Отъ денегъ, сыпавшихся на скатерть и на полъ, и отъ той страстности, съ которой Красавицынъ все это дѣлалъ, впечатлѣніе было велико и сильно. Всѣ осторожно начали подгребать бумажки въ одну кучу, а нѣкоторые нагибались и поднимали съ пола монеты.

— Жертвую!—восклицалъ Красавицынъ, овладѣвая опять собою и чувствуя, что честь спасена.—Сложимся, объявимъ подписку, наймемъ добровольцевъ: пусть дуютъ проклятыхъ крамольниковъ!

— Бить!—радостно поддержали сыщики.

— Бей ихъ! бей!—отвѣтили еще голоса, а Вороновъ захлопалъ въ ладоши и весь просіялъ.

— Кладу и я отъ себя на доброе дѣло,—сказалъ онъ, медленно роясь въ бумажникѣ.

— И я кладу на алтарь отечества!—добавилъ торговецъ съ медалями, выбрасывая золотой.

И другіе всѣ согнули головы надъ кошельками, стараясь достать и положить въ общую кучу такъ, чтобы другіе не замѣтили—сколько.

— Теперь мы видимъ,—говорилъ Вороновъ,—какъ велико негодованіе противъ крамолы во всѣхъ слояхъ

населенія. Намъ дорого ваше сочувствіе, а за средствами и силами дѣло не станетъ: народъ горитъ желаніемъ сокрушить враговъ родины. Да погибнетъ крамола!— торжественно воскликнулъ онъ, поднимая надъ головою кулакъ.

— Бить! бить!—поддержало собраніе.

— Телеграмму послать въ Петербургъ!—настаивалъ кто-то.

— Уже близится радостный часъ,—громко продолжалъ Вороновъ, покрывая голосомъ общій шумъ,—когда всѣ мы, истинно-русскіе люди, соберемся побѣдоносно подъ святыя стѣны Кремля, подъ благовѣстъ и трезвонъ нашихъ московскихъ колоколовъ. Изъ соборовъ вынесемъ мы торжественно наши хоругви и святыя иконы, и крестнымъ ходомъ двинемся тысячными толпами по древней столицѣ, колыбели нашей вѣры и самодержавныхъ царей! Да сгинетъ измѣна! Нѣтъ пощады крамольникамъ!

— Ур-а-а!—закричали сыщики, а остальные горячо подтверждали:

— Правильно! Дѣльно! Нечего ихъ миловать!

— Сочувствуемъ!—кричалъ банщикъ, ероша волосы.—Гнать ихъ всѣхъ къ чортовой матери!..

V.

Не прощаясь ни съ кѣмъ, Яша незамѣтно ушелъ.

Странное, смутное чувство испытывалъ онъ, выйдя на свѣжій воздухъ. Магазины всѣ были заперты и темны, и всѣ эти торговыя улицы и переулки, оживленные днемъ, теперь были тихи и безлюдны. Полная луна освѣщала пустые тротуары и мостовую, золотила желѣзныя глухія ставни дверей съ висячими большими замками и глядѣлась въ сѣрыя зеркальныя стекла. Кое-гдѣ сидѣли сторожа на принесенныхъ ящикахъ, скучливо прохаживался городовой и только

изрѣдка проѣзжали экипажи, точно среди глухой ночи, хотя было вовсе не поздно и на другихъ улицахъ было еще свѣтло, оживленно и людно.

Часа два тому назадъ Яша шелъ сюда возбужденный и бодрый, а возвращался теперь усталый и подавленный. Онъ не понималъ себя; чувствовалъ какое-то недоумѣніе и не зналъ что сказать завтра дѣдушкѣ.

Путь его лежалъ черезъ Кремль.

По обычаю, снявши шапку въ Спасскихъ воротахъ, онъ съ непокрытой головой шелъ противъ сквознаго вѣтра и думалъ о томъ, какъ всѣ они, тысячными толпами, вскорѣ пойдутъ здѣсь съ пѣніемъ и хоругвями, а тѣ—другіе—будутъ въ это время лежать по кладбищамъ и больницамъ съ переломанными костями. И ему было жутко и въ то же время соблазнительно ожиданіе этого.

— Яша! а, Яша! — услышалъ онъ осторожный окликъ и вздрогнулъ отъ неожиданности.

Передъ нимъ стоялъ Ѳедоръ и протягивалъ руку, но не такъ, какъ здороваются, а какъ благословляютъ.

— Отецъ Ѳедоръ!—изумился Яша.—Вы какъ здѣсь?

— Я здѣсь у пріятеля... Еще вѣдь не поздно. Я все тебя поджидалъ: второй ужъ разъ выхожу глядѣть. Ну что? Кончилось собраніе?

— Я ушелъ. Другіе еще остались.

— Ночь-то какая красавица! — шепнулъ Ѳедоръ, взглядывая на небо.—Вотъ хорошо какъ! Чисто лѣтомъ!.. Я тебя провожу немножко. Я сегодня ночую здѣсь вотъ,—кивнулъ онъ куда-то въ сторону. — Мнѣ не поздно; меня пустятъ.

Они шли уже рядомъ.

На Ѳедорѣ было надѣто чье-то чужое черное пальто, похожее на монашеское, очень узкое, которое онъ

все старался запахивать, но оно расходилось и обнажало ему то ноги, то шею.

— Разскажи, Яша, что было?

Яшѣ и самому хотѣлось высказаться раньше, чѣмъ сообщать дѣдушкѣ. Ѳедора онъ знавалъ съ дѣтства и, хотя считалъ его человѣкомъ пустымъ и пропащимъ, все-таки вѣрилъ ему и не стѣснялся съ нимъ.

— Пойдемъ къ памятнику,—звалъ его Ѳедоръ,—тамъ скамеечка есть; посидимъ, потолкуемъ. Очень мнѣ интересно, Яша. Даже спать не могу.

— Пойдемте,—согласился Яша.

Они пересѣкли плацъ-парадъ и, взглянувъ мелькомъ на статую Александра, вошли въ гулкую сквозную галлерею, всю освѣщенную луной, съ черными тѣнями отъ колоннъ и арокъ, распластавшимися наискось по каменному полу.

— Со всей Россіи сюда жертвы несли,—промолвилъ Ѳедоръ, оглядываясь направо и налѣво.—Весь народъ давалъ по грошамъ да по монеткамъ въ память Освободителя. А его вонъ куда занесли, за ограду, въ четыре стѣны!.. Все боятся, какъ бы народъ-то дальше не заговорилъ про свободу... Вотъ и спрятали... Свобода, видно, въ родѣ сокровища: всякому хочется взять, да не всякому хочется дать.

Они сѣли на гранитную скамью у самаго обрыва, откуда при свѣтѣ луны виднѣлось Зарѣчье съ его домами и колокольнями, съ длинными фабричными трубами, утопавшее въ туманной серебристой мглѣ.

Яша началъ разсказывать, а Ѳедоръ молча слушалъ и только изрѣдка покашливалъ или произносилъ: гм! гм!—словно подтверждая что-то.

— Что же вашъ Вороновъ своимъ колокольнымъ звономъ хочетъ весь народъ что ли сдѣлать счастливымъ?—спросилъ, наконецъ, Ѳедоръ, неожиданно и ласково накрывая своей холодной рукой Яшину руку.—Нѣтъ, Яша! народъ по деревнямъ съ голоду пухнетъ,

и ему не до колокольнаго звона. Голодному нуженъ хлѣбъ, а обиженному—правда. А святую правду еще никто кулаками да палками не доказывалъ. Такъ-то милый! Ты подумай объ этомъ.

Онъ помолчалъ и добавилъ:

— Гдѣ правда и гдѣ неправда—кому лучше знать? Образованнаго человѣка въ этомъ дѣлѣ не проведешь: онъ понимаетъ. И нужду народную понимаетъ получше чиновника или жандарма. Ты подумай объ этомъ.

Яшѣ было непріятно все это слушать. И безъ того онъ чувствовалъ себя сбитымъ съ толку, а тутъ еще Ѳедоръ подливалъ масла въ огонь.

— Видишь Александра Второго? Онъ освободилъ крѣпостныхъ, а и въ его время тоже всякіе „царскіе слуги“ во все горло орали, что этого нельзя и ненужно, и тоже собирались бить образованныхъ людей. А народъ ему памятникъ поставилъ. Подумай-ка.

— А студенты его убили!—воскликнулъ вдругъ Яша и всталъ.—Прощайте, отецъ Ѳедоръ. Мнѣ пора. Вы ужъ дѣдушкѣ-то не очень говорите про ваши мысли, а то онъ васъ и въ лавку перестанетъ пускать. Лучше помалкивайте, а то прогонитъ!

— Помолчу до поры до времени,—жестко улыбнулся Ѳедоръ, тоже вставая и запахивая свое узкое пальто.

Яшѣ показалось, что онъ обидѣлъ Ѳедора, и ему стало жалко его и стыдно. Чтобы загладить это, онъ протянулъ ему руку и сказалъ, точно прося прощенія:

— Приходите въ субботу... У насъ въ Линіи будетъ общественный молебенъ. Пѣвчихъ человѣкъ сорокъ будетъ... Протодьякона пригласили.

Ѳедоръ почувствовалъ настроеніе Яши. Онъ понялъ его и съ улыбкой отвѣтилъ, пожимая въ свою очередь руку и забывая обиду:

— А драться не будешь, помолясь Богу?

— Нѣтъ!—засмѣялся тотъ.

— Ну, ладно; приду. И дѣдушкѣ ничего говорить не стану. Да вѣдь онъ все равно убѣжденъ, что я очень люблю студентовъ, и говорю то же, что говорятъ студенты; а студенты, по его мнѣнію, изъ человѣческихъ череповъ пиво пьютъ... Стало быть, ни имъ, ни мнѣ никакого довѣрія нѣтъ. Знаю я это.

Онъ засмѣялся и все еще не выпускалъ Яшину руку. Ему хотѣлось сказать Яшѣ что-то хорошее, хотѣлось сказать спасибо за то, что онъ устыдился своей грубости.

— Дай, я тебя поцѣлую,—сказалъ онъ тихо.—А теперь иди съ Богомъ. Прощай.

И когда Яша пошелъ, Ѳедоръ черезъ минуту окликнулъ его.

— Яша!.. Народъ можетъ быть счастливымъ и сытымъ!

— А какъ?—спросилъ тотъ.

— Подумай,—отвѣтилъ Ѳедоръ, и голосъ его странно и загадочно прозвучалъ среди ясной тихой ночи.

Яша задумался.

Все въ эту ночь было для него тайною и вопросомъ. Онъ медленно шелъ, опустивъ голову, пытаясь одинъ на одинъ съ самимъ собою разобраться во всемъ, что сегодня слышалъ и видѣлъ. Острая любознательность томила его: онъ зналъ, что крестьянъ освободилъ Александръ Второй и что его же, Александра Второго, убили бомбой...

Почему? За что? наконецъ—кто?

Яшѣ было непонятно все это, и онъ съ жестокостью и съ отвращеніемъ думалъ объ этихъ людяхъ, и въ то же время ему вспоминались слова Ѳедора о царскихъ слугахъ, которые и тогда были, и тогда кричали, что освобожденіе есть погибель, и что все это ненужно и невозможно, и тоже, какъ теперь, собирались колотить образованныхъ людей... Стало быть, ученые люди стояли за что же: за свободу? и за кого: за народъ?

А Яша слыхалъ отъ дѣдушки, что такое значило быть крѣпостнымъ. Если бы не свобода, то и Яша теперь былъ бы гдѣ-нибудь пастухомъ или поваренкомъ, или ѣздилъ бы на запяткахъ кареты... Его продалъ бы одинъ баринъ другому барину, какъ продаютъ теперь лошадь или собаку, или вотъ эти сапоги, въ которыхъ онъ идетъ... Его драли бы палками и розгами на конюшнѣ, женили бы на кривой пузатой дѣвкѣ, отдали бы на всю жизнь въ солдаты—и никто не могъ бы вступиться за него и сказать, что все это разбой и ужасъ.

А это все бывало. Это все помнитъ его бывшая нянька; она и до сихъ поръ еще не знаетъ, куда дѣвался ея мужъ, котораго однажды позвали къ барину. Уже полсотни лѣтъ прошло, а она все не знаетъ еще—поминать ли его за здравіе, или за упокой...

Проходя черезъ мостъ, Яша остановился. Облокотясь о перила, онъ взглянулъ внизъ, гдѣ темныя далекія воды, сверкая верхними струями, безшумно стремились куда-то въ даль и тьму. На серебрившуюся поверхность было весело и пріятно глядѣть, но было жутко и страшно думать, что подъ этимъ серебромъ таится что-то темное, глубокое и живое. Оно также движется, медленно и тяжело, огромное, невидимое, движется во тьмѣ и плыветъ гдѣ-то внизу и тайно уходитъ куда-то въ даль, и никто не знаетъ—*что* оно въ эту минуту несетъ въ себѣ...

VI.

Настала суббота о которой говорилъ Ѳедору Яша.

Въ этотъ день вся Линія имѣла необычный праздничный видъ. Еще съ вечера на двухъ лошадяхъ привезъ мужикъ изъ деревни зеленыхъ можжевеловыхъ вѣтокъ и свалилъ въ кучу. Теперь эту кучу разбиралъ рядскій сторожъ, Терентьичъ; мелкія вѣтки

онъ разбрасывалъ по дорогѣ, будто устилая ее зеленымъ пахучимъ ковромъ, а крупными вѣтвями украшалъ каждую лавку, засовывая ихъ за петли, за гвозди и за рѣшотки и привязывая къ окнамъ, дверямъ и къ вывѣскамъ.

Къ десяти часамъ все было готово.

Среди Линіи возвышались пустые ящики, подпертые тяжелыми кипами товаровъ, и все это было покрыто краснымъ сукномъ и приготовлено для того, чтобы поставить сюда тяжелыя огромныя иконы, которыя ожидались ровно въ одиннадцать.

Передъ ящиками поверхъ зелени постелили коверъ, покрыли чистой скатертью столикъ, поставили на него миску съ водой, принесли изъ церкви большіе стоячіе подсвѣчники съ золоченными длиными свѣчами и на блюдце насыпали ладану—для кадила.

Старостой ежегодно избирали дѣдушку, и теперь въ его лавкѣ сидѣлъ соборный дьяконъ въ ожиданіи молебна и держалъ на колѣнахъ узелъ, гдѣ былъ завернутъ его золоченый стихарь. Тутъ же сидѣлъ пѣвческій регентъ, вертя въ рукахъ камертонъ, а Ѳедоръ скромно удалился на свое любимое мѣсто за большимъ распятіемъ и грустно молчалъ. Чувствуя себя знаменитостью, дьяконъ небрежно дымилъ папиросой, не обращая никакого вниманія на захудалаго попа, и бесѣдовалъ съ дѣдушкой о торговыхъ дѣлахъ.

— Ѣдутъ! ѣдутъ!—закричалъ вдругъ мальчикъ, вбѣгая въ лавку и взмахивая руками.—Иверскую везутъ!

Не надѣвая шапокъ, всѣ вышли изъ магазина, а регентъ бросился бѣгомъ къ своему хору, стоявшему позади ящиковъ, приготовленныхъ для иконъ. Всѣ сорокъ человѣкъ пѣвчихъ повернули къ нему головы и глядѣли въ его глаза; это были подростки и дѣти, одѣтые въ одинаковыя длинныя пальто съ низко опущенными широкими карманами; были среди нихъ и мужчины молодые и старые, всѣ безъ шапокъ, но съ теплыми

шарфами на шеяхъ. Регентъ поднялъ два пальца, сложенные кольцомъ, пропѣлъ тихонько: о-о!.. о-о!.. потомъ махнулъ рукою—и вся Линія вдругъ огласилась дружнымъ привѣтственнымъ пѣніемъ.

А по улицѣ въ это время подъѣзжала къ Линіи огромная тяжелая карета, которую везли шесть лошадей, запряженныя цугомъ по двѣ и по четыре. На одной изъ переднихъ лошадей скакалъ верхомъ въ сѣдлѣ мальчикъ, обвязанный башлыкомъ, но безъ шапки, и взмахивая безъ надобности кнутомъ, кричалъ тонкимъ мальчишескимъ голосомъ на прохожихъ, которые поспѣшно снимали шапки и начинали креститься. Кучеръ на козлахъ и два человѣка въ поддевкахъ, сидѣвшіе на запяткахъ позади кареты, были также съ непокрытими головами и сытыми лицами.

Какъ только карета остановилась, эти двое соскочили и отворили дверцы, откуда сначала просунулась чья-то большая нога въ тяжеломъ ботикѣ, потомъ запестрѣла золоченая парча съ красными цвѣтами, а затѣмъ вылѣзъ іеромонахъ, плохонькій старичокъ, державшій набокъ сѣдую голову; риза надѣта была на немъ поверхъ теплаго пальто и ему было въ нихъ неловко поворачиваться; за священникомъ вылѣзъ дьяконъ въ такомъ же золоченомъ стихарѣ съ красными цвѣтами и въ черной скуфьѣ, и оба они, согнувъ головы, равнодушно пошли по Линіи, топча набросанный можжевельникъ, а торговцы, сторожа и артельщики, человѣкъ восемь, вынули изъ кареты огромную икону, всю въ серебрѣ и алмазахъ, и пошатываясь подъ страшной тяжестью, краснѣя, пыхтя и вытаращивъ глаза, понесли ее на приготовленное мѣсто подъ громкое пѣніе хора, а неизвѣстно откуда взявшаяся старуха все мѣшала имъ идти, подползая подъ икону и путаясь въ ногахъ у артельщиковъ.

Не успѣли еще дойти они до мѣста, какъ на улицѣ показалась новая процессія: шелъ угрюмый человѣкъ

съ стекляннымъ зажженнымъ фонаремъ, за нимъ приходскій протопопъ въ лиловой бархатной камилавкѣ и дьяконъ съ кадиломъ, оба въ парчевыхъ ризахъ; за ними несли небольшой образъ на старой пеленѣ и высокій деревянный крестъ съ потемнѣвшей живописью. Едва они повернули въ Линію, какъ на улицѣ произошло новое движеніе: подъѣхала карета, еще больше прежней, но запряженная четверней.

— Спаситель! Спаситель!—зашептали вокругъ,—и хоръ запѣлъ новое привѣтствіе на новый мотивъ.

Изъ кареты также вышли священникъ и дьяконъ въ ризахъ съ зелеными разводами, а богомольцы, такъ же силясь, надуваясь и пошатываясь, выдвинули изъ кареты икону съ темнымъ, невѣроятно огромнымъ ликомъ и, хватаясь за скобки и мѣдныя жерди, закидывая на плечи привязанные къ ней ремни, съ трудомъ понесли ее по Линіи, отпугивая окриками усердную старуху. Всюду пахло можжевельникомъ, дымомъ углей, ладаномъ и горячимъ воскомъ.

Начался молебенъ.

Общее вниманіе сосредоточивалось на хорѣ и на соборномъ дьяконѣ, который, весь въ золотѣ, лохматый, толстый и бородатый, торжественно доказывалъ публикѣ свою принадлежность къ первокласснымъ басамъ. Остальные всѣ: монахи, дьяконы и священники, одѣтые въ мишурныя пестрыя ризы, сознавали свое безсиліе и заботились только о томъ, чтобы нѣсколько словъ, доставшихся на ихъ долю, произнести какъ можно трогательнѣй и проще; всѣ они были подавлены обаяніемъ героя-дьякона и возглашали тексты, стѣсняясь и чувствуя, что ихъ никто не слушаетъ и никто ими не интересуется.

Боевымъ номеромъ для дьякона считалось чтеніе Апостола. Покашлявъ въ сторону и набравши въ легкія воздуха, дьяконъ взялъ въ обѣ руки книгу и, не раскрывая ее въ знакъ того, что все, въ ней написанное, онъ

знаетъ наизусть, вышелъ на средину и, медленно растягивая слога, прогудѣлъ низкимъ густымъ басомъ:

— Бра-ті-е...

Начальныя фразы онъ продолжалъ читать тѣмъ-же тономъ, но мало-по-малу углубляясь въ текстъ, онъ все болѣе напрягалъ голосъ, выговаривалъ слова болѣе раздѣльно и болѣе громко; уже становилось замѣтно, что лицо его краснѣетъ отъ напряженія и на вискахъ выступаютъ жилки, а голосъ начинаетъ звенѣть какъ металлъ; уже теряется смыслъ произносимыхъ словъ, утрачивается связь между фразами и слышится только голосъ—громкій, звучный и чистый, сотрясающій воздухъ, и всѣ начинаютъ бояться за него, любуясь этой силой, и ждутъ скорѣе развязки, а дьяконъ между тѣмъ заносится все выше и выше и все медленнѣе и все громче вытягиваетъ слога, напрягая голосъ почти до звона; глаза его уже не видятъ передъ собой ничего кромѣ мути; кровь стучитъ въ голову и въ шею, и весь черепъ его звенитъ и содрогается, а изъ открытаго горла широкимъ потокомъ вырываются и мчатся оглушительные звуки, уже неслышные ему самому, и разносятся въ воздухѣ, сотрясая стекла и пламя свѣчей.

— Самъ искушенъ бысть,—слышится послѣдняя фраза, и всѣ съ напряженіемъ глядятъ на золоченую широкую спину и круто поднимающіяся плечи дьякона, не смѣя свободно вздохнуть.

— И иску-ша-е-мымъ по-мо-щи-и!!.. протянулъ дьяконъ, видимо, изъ послѣднихъ силъ, и хоръ, точно спѣша на выручку, громкимъ восклицаніемъ покрылъ эту ноту, и отчаянное, почти безумное „щи“ утонуло въ отвѣтномъ гулѣ и громѣ молодыхъ и сильныхъ голосовъ.

— Молодчина! Молодчина!—перешептывались и восторженно переглядывались всѣ.

А Яша стоялъ, опустивъ голову, и думалъ; о чемъ онъ думалъ, онъ и самъ не зналъ. Онъ слышалъ хоръ

и возгласы, но мысли его были далеко отъ всего того, что онъ слышалъ и видѣлъ.

— Перекрести лобъ-то!.. Нехорошо!—строго шепнулъ ему дѣдушка, незамѣтно для другихъ толкнувъ его ногою.

Яша встрепенулся и, по привычкѣ повинуясь, началъ креститься, видя какъ священникъ окунаетъ въ воду крестъ, и многіе становятся на колѣна, и слыша какъ хоръ поетъ о дарованіи побѣды надъ „супротивными“..

Далѣе онъ видѣлъ, какъ сквозь толпу началъ протискиваться Вороновъ, неся въ рукѣ цилиндръ, а другой рукой разглаживая на ходу свои баки. Въ первый разъ замѣтилъ Яша на его остриженой головѣ небольшую розовую шишку, точно изъ его черепа кто-то показывалъ маленькій кукишъ. Онъ сталъ глядѣть на его затылокъ—и опять мысли его унеслись куда-то далеко, и глаза уже не видѣли опять ни Воронова, ни иконъ, ни монаховъ. Потомъ онъ опять очнулся, когда брызги холодной воды упали ему на лицо. Это священникъ, окуная въ чашу волосяную кисть, кропилъ водою народъ, широко взмахивая рукой и стараясь брызнуть какъ можно дальше.

А пѣвчіе заливались уже хвалою, и громкими голосами воспѣвали славу и благодать; словно бубенчики звенѣли дисканты, чередуясь и смѣшиваясь съ альтами, дружно выкрикивали иногда басы, тяжело ревѣли октавы и сладко замирали звучные теноры... А толпа весело двигалась и колыхалась; всѣ устремились къ иконамъ, чтобъ приложиться къ нимъ и выпить глотокъ освященной воды.

VII.

Кареты разъѣхались, публика разошлась и только нищіе оставались теперь въ Линіи, робко заглядывая въ двери, да двое городовыхъ обходили лавки съ поздравленіемъ:

— Помолясь Богу!

Послѣ стройнаго хора теперь слышались одиночные выкрики разносчиковъ, и голоса ихъ казались гнусавыми и смѣшными.

— Спи... рогами!..

— Горячая ветчина!

— Кипитъ баранина!

По тротуару, при входѣ въ улицу, прохаживались пять молодцовъ, одѣтые въ короткіе зипуны, и все поглядывали въ ту сторону, куда скрылся отъ нихъ Благодѣтель, который въ это время сидѣлъ у дѣдушки въ лавкѣ.

Когда входили знакомые благодарить дѣдушку за хлопоты, Вороновъ нѣкоторымъ говорилъ:

— Взглянули бы на нашихъ добровольцевъ; они на углу дожидаются. Такихъ у насъ теперь уже много, а будетъ еще больше. По первому моему слову ринутся какъ львы—куда прикажу.

— Яковъ Ильичъ,—обратился онъ къ Яшѣ.—Мнѣ нужно съ вами нынче поговорить. День возмездія близокъ, и крамола доживаетъ свои послѣднія минуты. Говорю вамъ правду-истину!

Тогда изъ-за большого распятія поднялась вдругъ высокая сухая фигура, которую Вороновъ раньше не замѣтилъ.

— Здравствуйте, батюшка,—проговорилъ онъ, приподнимая надъ головой свой цилиндръ.—А я васъ и не вижу—за крестомъ-то.

Не отвѣчая на поклонъ, Ѳедоръ холодно и строго замѣтилъ:

— Правда и истина не одно и то же, сударь.

— То есть какъ—не одно?

— Правда и истина не одно и то же,—повторилъ Ѳедоръ,—ибо противоположность правды есть ложь, а противоположность истины есть заблужденіе. Не ложь, а заблужденіе.

— Къ чему эта философія?

— А къ тому, сударь, что дѣдушка и Яша—заблуждаются, а вы, извините меня, лжете!.. Они искренно желаютъ добра и истины, но не знаютъ, гдѣ они, а вы хорошо знаете, что истина не съ вами, но лжете умышленно. Вы ихъ къ чему призываете? Къ погрому? Зовете калѣчить молодежь и интеллигенцію, да?

— Ну, да!—рѣзко отвѣтилъ Вороновъ, почувствовавъ въ Ѳедорѣ явнаго, но слабаго врага.—Вы слыхали, батюшка, пословицу: дурная трава изъ поля—вонъ!

— А вы слыхали пословицу,—отвѣтилъ Ѳедоръ: Богъ не выдастъ, свинья не съѣстъ!

У Яши вдругъ задрожало сердце. Онъ тоже почувствовалъ, какъ и Вороновъ, что Ѳедоръ выступаетъ на этотъ разъ не собесѣдникомъ, не спорщикомъ, а именно—врагомъ. Онъ слышалъ въ его голосѣ вызовъ, а въ большихъ, точно загорѣвшихся глазахъ его видѣлъ рѣшимость побиться не на жизнь, а на смерть. Онъ вспомнилъ вдругъ шишку на головѣ Благодѣтеля, прикрытую теперь цилиндромъ, и она показалась ему почему-то страшной, таившей въ себѣ непонятную силу, и подумалъ про Ѳедора:—Нѣтъ, не сладить!..

Всѣ молчали.

— Именно такъ,—подхватилъ Вороновъ чужую фразу,—именно: Богъ не выдастъ, свинья не съѣстъ! А свинья эта хотѣла сожрать самое драгоцѣнное для русскаго человѣка: величіе Россіи и самодержавіе! Но нѣтъ! Не дадимъ! Богъ не выдастъ; Богъ за насъ! А мы, вѣрные царскіе слуги, осѣнимъ себя крестнымъ знаменіемъ и растопчемъ крамолу какъ змѣю! какъ червя!

Онъ перевелъ духъ и, указывая на икону, добавилъ:

— Вонъ какъ Георгій Побѣдоносецъ растопталъ дракона!

Ѳедоръ поднялъ глаза. И Яша, и дѣдушка тоже взглянули туда, куда показывалъ Вороновъ.

— Вижу, вижу,—сказалъ Ѳедоръ.—Да кто драконъ-то? Какъ это понимать надобно?.. По сказанію, это былъ кровопійца: изъ городовъ и селеній выхватывалъ дѣвушекъ и юношей, самый цвѣтъ молодежи, и терзалъ ихъ, пока Георгій святой не растопталъ его. Вотъ что такое—драконъ!

— Да?—вопросительно сказалъ Вороновъ, пытливымъ взглядомъ отыскивая Ѳедора въ глубинѣ магазина.

— Да,—твердо проговорилъ тотъ и, чувствуя, что его плохо видно, вышелъ изъ-за распятія на середину лавки; голова его была не покрыта и жидкіе волосы непокорно стояли на ней дыбомъ.—Да!—повторилъ онъ громко, оглядывая сверху до низу магазинъ.—Со всѣхъ стѣнъ, со всѣхъ полокъ, изъ всѣхъ угловъ и сторонъ глядятъ на насъ пречистые лики угодниковъ Божіихъ. Они лучше меня отвѣтятъ вамъ, сударь, на всѣ ваши слова, на всѣ намѣренія ваши. Вотъ они! Смотрите! Вотъ—страстотерпцы, великомученики, защитники правды божьей—кроткими очами своими глядятъ на васъ и спрашиваютъ васъ: „кто были гонители и мучители наши?..“ И вы должны имъ отвѣтить: это были не столько цари, сколько вѣрные царскіе слуги!

— Какъ!—воскликнулъ Вороновъ и вскочилъ со скамьи.

— Вѣрные царскіе слуги, — отчетливо повторилъ Ѳедоръ,—были во всѣ вѣка главными гонителями и мучителями нашихъ святыхъ страдальцевъ. Отъ такихъ-то вѣрныхъ слугъ и ограждалъ свою паству святой угодникъ божій Николай Чудотворецъ; недаромъ поется: „положилъ еси душу твою о людехъ твоихъ и спаслъ еси неповинныя отъ смерти“. И не было болѣе грознаго, болѣе гнѣвнаго защитника народа отъ прислужниковъ и приспѣшниковъ царскихъ, что грабили и угнетали невинныхъ ради личныхъ, корыстныхъ цѣлей. Святой Николай крѣпко стоялъ за народъ, за права его, за человѣческую его честь!

Вороновъ весь насторожился и глядѣлъ то на Ѳедора, то на Яшу, то на дѣдушку, словно не вѣря, что здѣсь сейчасъ раздаются такія слова. Онъ сдѣлалъ было шагъ впередъ, но остановился, попятился и замеръ, какъ бы почуя добычу; только глаза его бѣгали, прищуривались и иногда вспыхивали въ ожиданіи чего-то очень пріятнаго, очень желаннаго. Чуть улыбаясь, онъ стоялъ, опершись рукой о прилавокъ, гдѣ наложены были одна на одну орѣховыя кіоты съ стеклянными дверцами, и весело закручивалъ свои пушистыя баки.

— Да! Да!—разгораясь, все громче и громче говорилъ Ѳедоръ.—Это вы взяли ключи разумѣнія, вы связали бремена тяжелыя, неудобоносимыя и навалили ихъ на плечи людямъ. Горе вамъ, лицемѣры!.. Вотъ они—святые великомученики! — восторженно взывалъ онъ, поднимая обѣ руки и широко указывая ими на иконы, которыми была переполнена вся лавка.—Мы чтимъ страданія ихъ, мы молимся имъ, заступникамъ нашимъ въ бѣдахъ и въ горѣ, павшимъ за истинное Христово ученіе; а Господь нашъ Іисусъ Христосъ заповѣдалъ людямъ душу свою положить за други своя и возлюбить ближняго какъ себя самого.

Ѳедоръ повернулся вдругъ къ Воронову и, вытянувъ во всю длину свою руку съ широкимъ отвисшимъ рукавомъ, указывалъ прямо въ его лицо.

— А вы, вѣрные царскіе слуги, говорите: бей ближняго своего, топчи его какъ червя, ибо онъ позналъ, гдѣ правда, и готовъ за чужое счастіе, за народъ свой обиженный и обездоленный, идти на страданіе и даже на смерть. И идутъ, и идутъ, какъ мученики, отважные люди, и несутъ чашу свѣжей воды жаждущему народу. А вы вырвали у нихъ эту чашу и расплескали ее. Не христіане вы, вѣрные слуги! не люди вы, а волки въ овечьей шкурѣ, лисицы вы хитрыя, змѣи вы и драконы! Это вы цѣлителя Пантелеймона въ котлѣ кипятили, желѣзными бороздами колючими тѣло его стру-

гали, Максимильяна-царя обманывали и гнѣвъ его распаляли—это вы!.. Это вы царя Дадіана наущали святого Георгія звѣрями травить, да живымъ въ могилу закапывать. Это вы, слуги царскіе, Варвару великомученицу огнемъ пытали, Вѣру, Надежду, Любовь терзали и мучили, головы имъ рубили, святую Ирину предавали постыдству и поруганію—это все вы!.. Вотъ они—глядите: всѣ здѣсь!—воскликнулъ Ѳедоръ, поднимая вверхъ руку и опять указывая на иконы.

— И нѣтъ имъ числа, замученнымъ вами. Всѣ смотрятъ на васъ пресвѣтлыми очами своими. Смутитесь-же, разбойники, передъ новыми жертвами!.. А вотъ и самъ Спаситель нашъ, призывающій къ себѣ всѣхъ труждающихся и обремененныхъ...

Ѳедоръ стремительно шагнулъ къ распятію и, высоко поднявъ обѣ руки надъ грудью Христа, какъ бы защищая Его отъ кого-то, въ самозабвеніи воскликнулъ:

— Онъ пришелъ исцѣлять сокрушенныхъ сердцемъ, проповѣдывать плѣннымъ освобожденіе, слѣпымъ прозрѣніе, отпустить измученныхъ на свободу. А вы распяли Его! Вы двѣ тысячи лѣтъ распинаете Его своими дѣлами!

У подножія высокаго креста тощая и длинная фигура Ѳедора, въ холодной заштопанной и полинявшей рясѣ, съ открытой головой и жидкими поднявшимися волосами, казалась точно возникшей откуда-то изъ глубины вѣковъ. Говоря о святыхъ, Ѳедоръ и самъ былъ похожъ сейчасъ на какого-то мученика, навлекающаго на свою голову страданія и казнь; видно было, что онъ уже не владѣетъ собой и кидается въ бездну, а Вороновъ сторожитъ его какъ паукъ съ раскинутой сѣтью, выжидаетъ и томитъ свою жертву.

Дѣдушка сидѣлъ молча, шевеля губами, точно пережевывая что-то, моргая и тяжело дыша, а руки его тряслись и хватались за газету, за счеты, за бороду и за дрожавшія колѣна.

Яша, взволнованный и поблѣднѣвшій, какъ въ первое знакомство съ Вороновымъ, съ раздувшимися ноздрями и стиснутыми зубами, стоялъ и глядѣлъ на Ѳедора и переносилъ взоры туда, куда тотъ указывалъ: на иконы, на Воронова и на распятіе. Онъ глядѣлъ сейчасъ на блѣдное тѣло Христа въ терновомъ вѣнцѣ, на печально опущенную голову съ закрытыми глазами, на распятыя руки и ноги, на пробитое ребро и на кровь, струившуюся изъ раны.

— „Сія есть кровь Моя“!—взывалъ восторженно и изступленно Ѳедоръ, протягивая ладонь и указывая ею на рану.—„Кровь Моя, за васъ и за многіе изливаемая“... Изливаемая за людей, обманутыхъ и обворованныхъ сильными міра сего, и даже за васъ, вѣрные царскіе слуги, за васъ, враги темнаго несчастнаго народа, и за тебя,—крикнулъ онъ на Воронова, обжигая его взоромъ, полнымъ гнѣва и презрѣнія,—и за тебя, обманщикъ и палачъ! и за тебя, христопродавецъ!..

Вороновъ попятился и сжался.

— Вотъ какъ?—прошипѣлъ онъ въ отвѣтъ.—Такъ вотъ ты какой?—сказалъ онъ, выпрямляясь и мѣряя Ѳедора взглядомъ съ головы до ногъ.—Ну, и попъ!—обратился онъ къ дѣдушкѣ, и опять перенесъ взглядъ на Ѳедора.—По такимъ молодцамъ давно тюрьма плачетъ.

— Ну, и попъ!—повторилъ Вороновъ, взглядывая на Яшу и словно въ удивленіи разводя руками.—Вотъ такъ попъ!

И вдругъ закричалъ и затопалъ ногами.

— Въ тюрьму тебя, Гришка Отрепьевъ! въ тюрьму тебя, разстрига!

Онъ вытащилъ вдругъ откуда-то изъ кармана полицейскій свистокъ и, быстро всунувъ его въ ротъ, надулъ щеки, краснѣя отъ напряженія и злобы. Рѣзкій, переливающійся, тревожный свистъ загремѣлъ неожиданно на всю лавку.

Въ этотъ же мигъ Яша, схвативъ себя за волосы, ринулся изъ-за конторки впередъ, не помня себя, не разсуждая и отшвырнвая ногами стулъ и табуретку, съ грохотомъ покатившіеся по полу. Какъ это случилось, никто не успѣлъ замѣтить.

— Вотъ ты какой!!—задыхаясь, крикнулъ Яша и, схвативъ первый попавшійся на глаза кіотъ, поднялъ его обѣими руками надъ головой и со всего размаха ударилъ имъ Воронова по цилиндру.

Зазвенѣло и застучало разбитое вдребезги стекло, заглушивъ сразу свистокъ. Острые мелкіе осколки посыпались на полъ, полетѣли въ стороны, засверкали въ складкахъ одежды и запутались въ бакахъ; цилиндръ отъ удара сплющился весь, перекосился и налѣзъ почти на глаза.

Исцарапанными, окровавленными руками Яша быстро взмахнулъ опять, поднимая кіотъ, и опять ударилъ изо всей силы по цилиндру, и вновь замахнулся, но Вороновъ уже бросился къ двери и побѣжалъ по Линіи, путаясь въ можжевельникѣ, загораживая руками голову и во весь голосъ крича:

— Караулъ!!. Крамола! Крамола!

А Яша, настигая его на бѣгу, съ ожесточеніемъ билъ его пустымъ ящикомъ куда попало—по шеѣ, по плечамъ, по спинѣ, по поднятымъ рукамъ, по затылку...

Оба они бѣжали одинъ за другимъ, не видя ни пути, ни встрѣчныхъ, не разбирая ни канавъ, ни пороговъ.

Вороновъ задыхался; цилиндръ его былъ весь изломанъ, баки всклокочены, а изъ носа, торчавшаго прямо изъ-подъ шляпы, текла кровь.

— Крамола! Спасите! Крамола!—хрипѣлъ онъ, скользя и спотыкаясь, а Яша, тоже изнемогая, молча и тяжело ударялъ его на бѣгу разъ за разомъ, пока чья-то сильная рука не ударила его самого по лицу.

Онъ пошатнулся.

Пятеро молодцовъ въ короткихъ зипунахъ набросились на него, и голова его стала метаться отъ ударовъ туда и сюда; свѣтъ померкъ, сердце захолонуло, и Яша, опустивъ руки, повалился безъ памяти на каменный порогъ магазина.

Изъ виска его потекла кровь...

Тогда всѣ попятились отъ него и замолчали.

А на шумъ и крики уже бѣжали съ разныхъ сторонъ—съ улицы дежурный городовой, а изъ лавки—дѣдушка.

ПѢВЕЦЪ БОГОМАТЕРИ.

Среднев҃ковая легенда.

I.

Ярко горитъ въ небесахъ солнце. Спокойно и величаво озаряетъ оно цвѣтущія поляны, холмы, лѣса и голубыя дальнія горы; подъ его лучами ласково плещутъ морскія волны; разсыпаясь бѣлыми кудрями, онѣ приходятъ и уходятъ и неустанно шепчутъ таинственныя рѣчи. Ярко горитъ въ небесахъ солнце, разливая по всему міру жизнь и радость,—и счастливъ человѣкъ, сбирающій подъ его лучами золотистую жатву на родныхъ поляхъ!

Но еще счастливѣе тотъ, кто не думаетъ о завтрашнемъ днѣ, не сѣетъ, не жнетъ, не собираетъ богатствъ въ житницы, а живетъ какъ небесная птица и туда лишь идетъ, куда влечетъ его свободная душа.

Для него и солнце краше, море синѣе и ярче цвѣты. Широкими дорогами и вьющимися тропинками бредетъ онъ съ сѣвера на югъ, отъ угрюмыхъ сосновыхъ лѣсовъ къ спокойнымъ голубымъ заливамъ. Онъ видитъ, какъ дымятся туманами вершины горъ, какъ въ широкихъ долинахъ волнуются зрѣющіе хлѣба, видитъ восходъ и закатъ солнца, яркій полдень, видитъ и темную ночь; при немъ загораются звѣзды и при немъ онѣ угасаютъ. Видитъ и знаетъ онъ міръ и благословляетъ жизнь, свободу и счастіе, разлитыя вокругъ него во всей природѣ.

Но счастіе и радость уходятъ вмѣстѣ съ молодостью, вмѣстѣ съ силами, и подъ старость тяжело человѣку не находить пріюта у людей и не знать куда склонить свою сѣдую голову...

Погруженный въ печальныя думы, тяжело опираясь на посохъ, медленно спускался съ горы старый пѣвецъ. На перекресткѣ двухъ лѣсныхъ тропинокъ, сбѣгавшихъ внизъ, онъ остановился, снялъ съ плеча суму, съ другого плеча снялъ віолу и опустился на камень. Онъ сѣлъ, оперся локтями о колѣна, и долго такъ сидѣлъ, не поднимая головы, въ глубокой задумчивости. Эти двѣ тропинки, которыя возникли невѣдомо гдѣ, по ту сторону горы, врозь бѣжали и только здѣсь, у самыхъ ногъ его, перекрещивались, точно друзья обнявшіеся на мгновеніе, и тутъ же, у его ногъ, разбѣгались снова въ разныя стороны и навсегда,—эти тропинки напоминали пѣвцу людей, ихъ мимолетную дружбу, случайную любовь, и онъ думалъ о безнадежномъ одиночествѣ человѣка...

II.

Давно ли имя пѣвца гремѣло по всей странѣ, передаваясь изъ устъ въ уста:—„Менестрель! Менестрель!“ —слышался повсюду восторженный говоръ, едва онъ появлялся предъ народомъ съ неразлучной віолой въ рукахъ. Не взглядывая ни на кого изъ толпы, молчаливый и угрюмый, съ опущенными рѣсницами, которыя были длинны и густы, пѣвецъ приходилъ въ храмъ и предъ изваяніемъ Богоматери преклонялъ колѣна. Поднявшись и приложивъ къ груди віолу, онъ рѣзко и отрывисто проводилъ смычкомъ нѣсколько разъ по струнамъ, точно стучась, какъ странникъ, въ сердца людей. Далѣе онъ уже не помнилъ—гдѣ и среди кого онъ: душа уносилась въ небеса, къ стопамъ Святой Дѣвы, а струны віолы послушно дрожали подъ властной рукой, и звуки ихъ вмѣстѣ съ голосомъ сливались въ вдохновенные гимны, гремѣли восторженно и дивно, наполняли весь храмъ и потрясали сердца. Женщины рыдали въ отвѣтъ, мужчины падали ницъ и даже суровые рыцари приходили слушать его

гимны и стояли безмолвные и неподвижные, какъ стальныя башни, среди плачущаго, распростертаго и восторженнаго народа.

Давно ли все это было!..

Переходя изъ города въ городъ, изъ одного селенія въ другое, возвращаясь снова и вновь уходя, онъ всюду былъ желаннымъ гостемъ, любимымъ пѣвцомъ, и слава о немъ летѣла далеко впереди его самого.

Все это было давно... Волосы его съ тѣхъ поръ посѣдѣли, спина согнулась, лицо покрылось морщинами и глаза потускнѣли, а голосъ утратилъ блескъ и гибкость, ослабъ и дрожалъ. Тѣ-же восторженные гимны уже не стали обаятельны и толпа слушателей рѣдѣла быстрѣй, чѣмъ рѣдѣли на его головѣ волосы; уже никто не плакалъ подъ звуки его віолы, а потомъ никто и не слушалъ его—и пѣвецъ былъ скоро забытъ. Такъ же забываютъ люди объ изношенныхъ башмакахъ, какъ забыли о вдохновенномъ Менестрелѣ, волновавшемъ ихъ души. И вновь побрелъ онъ отъ людей къ бушующимъ волнамъ и темнымъ лѣсамъ, благословляя жизнь и одиноко славя по своему пути имя Святой Дѣвы, какъ славилъ его всю свою молодость.

Оставленный всѣми, забытый и нищій, бродилъ онъ много лѣтъ по свѣту и пѣлъ свои кантаты разбитымъ старческимъ голосомъ, сбирая милостыню, которую иногда бросали ему изъ жалости. Много лѣтъ не бывалъ онъ въ своемъ родномъ городѣ и теперь шелъ, надѣясь въ немъ отдохнуть отъ скитаній и, можетъ быть, умереть.

III.

На горѣ было тихо и безлюдно, но голоса молодой пробуждающейся жизни слышались отовсюду. Легкій весенній дождь только-что пронесся надъ горою, и лѣсъ былъ весь проникнутъ ароматною влагой, а надъ лѣсомъ горѣло солнце. Вокругъ журчали невидимые ручьи живыми весенними голосами; высокія сосны

медленно и бережно роняли съ кончиковъ иглъ крупныя капли, и тѣ падали въ траву прямо и тяжело, сверкая на лету какъ алмазы. Все воскресало: изъ прошлогодней листвы уже выглядывали темныя пахучія фіалки, изъ влажнаго зеленаго моха поднимались кудрявые папоротники и звѣздами распускались примулы; веселое журчаніе воды сливалось съ щебетаніемъ птицъ и звонкія нѣжныя трели наполняли весь лѣсъ, жизнь котораго обновлялась.

Жизнь лѣса обновлялась... Но вонъ лежитъ сосна, вывороченная вихремъ; ея жизнь уже не обновится. Пусть вырастаетъ и ликуетъ лѣсъ, пусть вокругъ журчатъ весеннія воды, зеленѣютъ лавры, благоухаютъ и пестрѣютъ цвѣты, пусть съ радостными пѣснями вьютъ птицы гнѣзда,—но упавшая сосна уже не воскреснетъ; она еще жива, она еще слышитъ голосъ весны, но отозваться на него не можетъ; и напрасно пробѣгаетъ вѣтеръ по ея опущеннымъ вѣтвямъ, напрасно протягиваетъ къ ней изъ травы ландышъ свою бѣлоснѣжную головку: весна, и жизнь, и ликованіе лѣса ей уже чужды, и сама она чужда лѣсу, съ которымъ долго жила одною жизнью.

IV.

Долго сидѣлъ старый Менестрель въ глубокой задумчивости. Годы нищеты и скитаній подорвали его силы, и въ душѣ его возникали сомнѣнія: зачѣмъ идетъ онъ въ родной городъ? Зачѣмъ онъ идетъ, когда уже нѣтъ тамъ памяти о немъ, нѣтъ глазъ, которые узнали бы забытаго пѣвца? Чуждъ онъ родинѣ, какъ вотъ эта сосна чужда лѣсу,—да и есть-ли родина у того, кто промѣнялъ ее на свободу, на весь широкій міръ, на вдохновенія и гимны?

— О, жизнь, жизнь!—вздохнулъ старикъ, поднимаясь съ камня и окидывая лѣсъ привѣтливымъ прощальнымъ взглядомъ.

Не разъ проходилъ онъ въ молодости этими горами и тропинками, не разъ отдыхалъ и на этомъ камнѣ: видывалъ онъ здѣсь весну и осень, полдни и ночи: бывали такъ же влажны отъ горныхъ тумановъ его длинные волосы—теперь сѣдые, но никогда еще не были влажны его глаза. Почему же теперь изъ нихъ, точно съ сосенъ, падаютъ крупныя тяжелыя капли?

— О, жизнь, жизнь!—прошепталъ онъ опять, поднимая на плечи віолу.—Пора намъ съ тобою на отдыхъ, мой неразлучный другъ: пусть твои струны и мое сердце замолкнутъ вмѣстѣ; мы ляжемъ въ одну могилу.

И, упираясь посохомъ въ землю, онъ тихо побрелъ внизъ по тропинкѣ, спокойно и радостно созерцая окрестную красоту.

— Въ печали не показывай лица своего людямъ, бѣги отъ нихъ, скрывайся, пока не овладѣешь печалью,—говорилъ онъ самъ себѣ, вдыхая полною грудью свѣжій смолистый воздухъ.—Мужайся, старый пѣвецъ: Святая Дѣва не покинетъ въ печали и голодѣ своего вѣрнаго Менестреля!..

V.

Гора кончалась и съ нею кончался лѣсъ. Черезъ листву и хвои уже сквозила долина свѣтлыми пятнами, зелеными и голубыми, и сердце пѣвца забилось чаще.

— Здравствуй, родина!—чуть слышно прошепталъ онъ, выходя на просторъ и привѣтливо протягивая впередъ руки.

Широкая долина стелилась отсюда до самаго горизонта, вся залитая солнцемъ. Грядою холмы окаймляли извивавшуюся по зелени рѣчку. Хлѣбныя поля зеленѣли мягче луговъ, точно въ ихъ зелени отражалась голубизна неба. По склонамъ холмовъ виднѣлись виноградники и хмелевыя заросли; рощи и поселки были разсѣяны по теченію рѣки, а за ними, вдали, въ прозрачномъ туманѣ возвышались кровли и башни города.

— Здравствуй, родина! — снова прошепталъ старикъ.—Въ тебѣ увидѣлъ я свѣтъ, и тебѣ несу я теперь свои кости.

Вокругъ все было зелено, весело, молодо. Съ рѣчной стороны вѣяло ему въ лицо медвянымъ запахомъ цвѣтущихъ деревьевъ, и чѣмъ дальше онъ шелъ, тѣмъ гуще и шире стелились по воздуху эти невидимыя пахучія полосы; онѣ стелились, дрожали и, вмѣстѣ съ вѣтромъ, носились по полямъ мягкими волнами. И вотъ—среди зелени забѣлѣли передъ путникомъ фруктовые сады, осыпанные, точно хлопьями снѣга, цвѣтами. Иногда онъ останавливался, садился въ траву и отдыхая, глядѣлъ, какъ осыпались съ деревьевъ цвѣты: бѣлые лепестки вишенъ легко и внезапно срывались съ стеблей сами собой, кружились въ воздухѣ, точно снѣжинки, и ковромъ ложились на землю вокругъ стволовъ.

VI.

День проходилъ.

Уже остались въ сторонѣ сады и деревни, и впереди изъ-за рва, черезъ каменную стѣну, холодно глядѣлъ на пришельца большой мрачный городъ. Ни цвѣтовъ, ни деревьевъ не было вокругъ, только сѣрая полоса рва окружала подножіе города, да на пустынномъ плоскомъ холмѣ возвышался одинокій столбъ съ протянутымъ рычагомъ, похожимъ на клювъ хищной птицы. Многихъ поднялъ этотъ клювъ отъ земли, поднялъ разъ навсегда, чтобы сбросить—въ могилу.

— Висѣлица,—смущенно прошепталъ пѣвецъ.—Висѣлица — городская повинность! — повторилъ онъ съ презрѣніемъ, и старческіе глаза его на мгновеніе вспыхнули гнѣвомъ. Онъ подумалъ:—Жалкіе люди!—въ потѣ лица вы воздѣлываете землю, расточаете силы и здоровье, лишаете себя свободы и радости, и вотъ плоды вашихъ неустанныхъ трудовъ и заботъ: висѣлица!.. На ваши же деньги... для васъ же самихъ!..

И, опираясь на посохъ, онъ стоялъ въ нерѣшительности: идти-ли? Кто пріютитъ бездомнаго старика, уставшаго бродить по свѣту, кто броситъ корку голодному пѣвцу, потерявшему силы и голосъ?

Впереди, изъ-за каменныхъ стѣнъ, возвышался городъ, весь багровый въ лучахъ заката; на холмѣ передъ нимъ, словно сторожъ, одиноко стояла висѣлица, тоже багровая отъ лучей, а по ту сторону, позади, разстилалась тихая долина въ розовой дымкѣ и вдалекѣ въ туманѣ виднѣлись горы—родныя горы съ милыми соснами и тропинками, съ вольной бродячей жизнью. Душа пѣвца стремилась назадъ, къ лѣсамъ и свободѣ, а усталость и голодъ гнали его къ людямъ. Ноги подкашивались отъ изнеможенія.

— Прощай, моя воля!..—вздохнулъ пѣвецъ.—Прощай, моя жизнь!

И, обведя печальнымъ взоромъ горизонтъ, старикъ склонилъ покорно голову и тихо побрелъ къ подъемному мосту, перекинутому черезъ ровъ, къ городскимъ воротамъ.

Голодъ мучилъ его.

VII.

Не поднимая головы, не оглядываясь болѣе на долину и горы, съ смущеннымъ сердцемъ перешелъ Менестрель границу города. Крѣпостная стѣна осталась уже позади; отъ нея падала широкая сѣрая тѣнь на пустынныя площади предмѣстья. Освѣщенная розовыми угасающими лучами, начиналась отсюда прямая длинная улица съ высокими узкими домами; по одну сторону ея, противъ заката, глядѣли окна пламенными глазами, а по другую они казались слѣпыми и черными. Улица была мощеная и въ самомъ началѣ во всю ея ширину былъ выложенъ городской гербъ изъ разноцвѣтныхъ дикихъ камней; сюда доносились съ башенъ окрики часовыхъ и изъ города шумъ и лай собакъ.

Въ сторонѣ, между стѣной и площадью, пріютилась часовня. Она стояла въ уединеніи съ чуть пріотворенной дверью и точно звала къ себѣ прохожихъ.

Менестрель отворилъ дверь и, затаивъ дыханіе, остановился на порогѣ. Таинственная тишина наполняла капеллу и отъ темныхъ стѣнъ вѣяло сыростью. Прямо, противъ входа, за алтаремъ, стояло въ высокой нишѣ изваяніе Святой Дѣвы, почти въ ростъ человѣка, съ устремленными ввысь глазами и молитвенно сложенными ладонями, а сверху, сквозь узкія стрѣльчатыя окна изъ разноцвѣтныхъ стеколъ, лился на алтарь и на изваяніе радужный полусвѣтъ.

Робко и медленно приблизился къ алтарю старый пѣвецъ и безмолвно опустился на колѣна, глядя на Богоматерь, владычицу своихъ думъ, вдохновеній и жизни. Она стояла въ длинномъ бѣломъ хитонѣ; прямыя складки одежды упадали до подножія; голову и плечи покрывала бѣлая мантія, а станъ опоясывалъ голубой шарфъ. Поверхъ хитона люди украсили изваяніе богатыми дарами; на лентахъ и нитяхъ навѣшали на поясъ много вѣнчальныхъ колецъ—въ благодарность за счастіе семейной жизни, много крошечныхъ рукъ, ногъ и глазъ изъ серебра и золота—въ благодарность за исцѣленія; кто-то повѣсилъ и маленькое потемнѣвшее сердце на простой шелковинкѣ—должно быть бѣдная дѣвушка, пережившая скорби любви; кто-то повѣсилъ на руку длинныя темныя четки съ двумя крупными красными камнями на топкихъ золотыхъ цѣпочкахъ.

— А я что принесу тебѣ, Святая Дѣва?—горько подумалъ Менестрель.—Нѣтъ у меня ни золота, ни даровъ.. нѣтъ даже хлѣба.

И, стоя на колѣнахъ, онъ покорно склонилъ голову ницъ; его сѣдые волосы разсыпались полукругомъ по каменнымъ плитамъ пола.

— Всю молодость, всю душу, всѣ вдохновенія я уже отдалъ тебѣ. Теперь я лежу передъ тобою старый

и нищій... Спаси меня. Не дай умереть голодной смертью твоему вѣрному пѣвцу.

И такъ онъ лежалъ, не смѣя подняться, не зная, что сказать болѣе.

Вдругъ, среди тишины, ему почудился странный шорохъ, точно всколыхнулась одежда, покрывавшая изваяніе.

Сердце его замерло.

Что-то похожее на тяжелую каплю упало вдругъ на престолъ, а съ престола на полъ, и, звучно описывая кругъ, покатилось по каменнымъ плитамъ и легло у самыхъ колѣнъ старика.

Въ страхѣ онъ поднялъ голову, и возлѣ себя увидѣлъ тотъ крупный красный камень, который минуту назадъ висѣлъ на четкахъ Богоматери. Это былъ драгоцѣнный рубинъ—спасеніе отъ голодной смерти.

Старикъ поднялъ его, прижалъ къ своимъ губамъ, цѣлуя и обливая его тихими благодарственными слезами.

VIII.

Два раза вставало солнце и два раза оно заходило съ тѣхъ поръ, какъ усталый путникъ вошелъ въ родной городъ. На ранней зарѣ третьяго дня стараго Менестреля, закованнаго въ цѣпи, везли на казнь. Огромная толпа провожала шествіе: со всѣхъ улицъ и переулковъ сбѣгался народъ, чтобъ посмотрѣть на того, кто называлъ себя пѣвцомъ Богоматери, избранникомъ Святой Дѣвы, и кого теперь везли на позорную смерть за воровство и святотатство, за оскорбленіе Дѣвы, покровительницы города.

Онъ сидѣлъ въ низкой повозкѣ спиною къ лошади, какъ и всѣ осужденные на смерть; голова его опустилась на грудь; скованными руками онъ крѣпко прижималъ къ сердцу единственнаго неизмѣннаго друга—віолу, которую, въ знакъ послѣдней милости, позволили старику довезти съ собой до могилы.

По обѣ стороны повозки шли палачи, одинъ въ желтой одеждѣ, другой въ красной; впереди шелъ священникъ, а позади стражники, тюремщики, судьи и горожане. Всѣ они шли по той самой дорогѣ, по которой вошелъ Менестрель два дня тому назадъ, къ той самой висѣлицѣ, которую онъ встрѣтилъ у воротъ родного города.

Не поднимая головы и не глядя на окружающую толпу, приближался старый пѣвецъ къ Мѣсту Страданій. Онъ не ропталъ и не возмущался. За долгіе годы жизни онъ уже зналъ, что люди злы, несправедливы и ничтожны, что имъ непонятно и недоступно все свѣтлое и высокое, все то, выше чего они неспособны сами подняться. Гдѣ же имъ повѣрить, что сердце, открытое гимнамъ и вдохновеніямъ, недоступно злодѣйству!

IX.

Когда процессія приближалась къ часовнѣ, толпа заволновалась: стали кричать:

— Покайся, воръ!

Другіе кричали:

— Пусть войдетъ! Пусть покается! Онъ оскорбилъ Святую Дѣву; пусть передъ смертью испроситъ ея прощенія!

Всѣ остановились. Съ Менестреля сняли оковы и стражники втолкнули его въ капеллу. Вмѣстѣ съ нимъ вошли судьи, палачи и народъ, но часовня была мала для всѣхъ, и огромная толпа осталась ждать у дверей, на площади и возлѣ стѣны.

Угрюмый и спокойный, пѣвецъ дошелъ до середины капеллы и молча опустился на колѣна предъ алтаремъ, не боясь ни смерти, ни жадной до зрѣлищъ толпы.

Таинственный трепетъ охватывалъ его душу: но это былъ не страхъ; это былъ давно забытый трепетъ вдохновенія, когда, бывало, въ душѣ его внезапно слагались гимны, навѣвались невѣдомо кѣмъ и откуда или-

менныя рѣчи и дивные звуки; они налетали какъ вихрь, захватывали душу и сердце, метались молніями, слѣпили очи—и вотъ, не сознавая себя, не видя ничего вокругъ, менестрель пѣлъ свои гимны, заражая вдохновеніемъ всю толпу, покоряя ее и повергая ницъ передъ славой Богоматери, передъ властью высшаго дара. Этотъ трепетъ овладѣвалъ и сейчасъ менестрелемъ—забытый священный трепетъ. Какъ нѣвучая струна, задрожало вдругъ старое сердце; точно завѣса, много лѣтъ мѣшавшая видѣть, упала съ глазъ.

Легкимъ, какъ въ молодости, движеніемъ онъ вскинулъ свою віолу, приставилъ ее къ груди и, взмахнувъ по воздуху широкимъ горбатымъ смычкомъ, трижды скользнулъ имъ нервно и быстро по всѣмъ струнамъ,— а въ отвѣтъ шесть разъ повторились аккорды въ глубинѣ купола.

X.

Всѣ переглянулись.

А Менестрель уже водилъ смычкомъ—медленно и плавно по одной струнѣ, нажимая ее выше и ниже и заставляя то пѣть, то дрожать, то звенѣть; то ударялъ онъ разомъ по всѣмъ струнамъ, вызывая подъ сводами точно лѣсную бурю, то переходилъ съ одной струны на другую—и нѣжная мелодія лилась и журчала какъ весенній ручей.

Туманны и скорбны были звуки віолы, а старческій голосъ, которымъ сопровождалась мелодія, былъ слабъ и дрожалъ; но по мѣрѣ того, какъ пѣсня все болѣе захватывала душу, голосъ крѣпъ и росъ.

Точно молодость вернулась вдругъ къ старику. Сухіе тонкіе пальцы проворно и ловко перебирали грифъ, а смычокъ перескакивалъ, бѣгалъ и качался на струнахъ какъ на волнахъ.

Віола пѣла. Пѣлъ и старикъ. Голоса ихъ звучали все громче и все восторженнѣе, сливаясь въ пламен-

ную пѣснь во славу Богоматери, и эхо гудѣло вверху невидимымъ хоромъ.

Прислушиваясь къ этому хору, пѣвецъ вдохновлялся все болѣе, и слезы стояли въ глазахъ его отъ умиленія и восторга.

Онъ благодарилъ Святую Дѣву за великое счастіе, выпавшее на его долю: быть до гроба пѣвцомъ. Онъ благодарилъ за минуты высокаго вдохновенія, посѣщавшаго его душу. Онъ разсказывалъ о своей забытой славѣ, о нищетѣ, о волѣ въ горахъ и лѣсахъ, о красотѣ міра, о близкой позорной смерти. Онъ пѣлъ о вѣчности, о страшной, желанной вѣчности, передъ которой нѣтъ ни сильнаго, ни слабаго, передъ которой всѣ равны, какъ двѣ слезы, катящіяся сейчасъ изъ его глазъ.

Онъ пѣлъ, стоя одинъ впереди толпы. Глаза его были широко открыты; сѣдыя пряди волосъ въ безпорядкѣ упадали ему на блѣдное лицо.

Онъ пѣлъ, а толпа смущенно молчала. Звуки віолы носились подъ сводами и рѣяли какъ тѣни, стелились и таяли въ воздухѣ какъ дымъ кадилъ, а голосъ пѣвца звенѣлъ и замиралъ въ торжественной скорби, словно колоколъ, призывающій перейти изъ одной жизни въ другую. И было жутко всѣмъ, и страшно, и радостно. Опустились руки у стражниковъ, на лицахъ палачей разглаживались суровыя складки, а народъ, становясь на колѣна и проникаясь восторгомъ и скорбью, глядѣлъ на Святую Дѣву, плача, молясь и шопотомъ вторя пѣвцу:

— Слава тебѣ, мать обездоленныхъ, перестрадавшая скорбь, выше которой не вѣдалъ міръ!—восклицалъ Менестрель, и всѣ, воздѣвая руки, восторженно шептали за нимъ:

— Слава!.. Слава!..

— Прими мой послѣдній гимнъ, Святая Дѣва, мое послѣднее вдохновеніе!

Струны вздрогнули послѣднимъ широкимъ аккордомъ и тихо замолкли вмѣстѣ съ голосомъ; только одна, самая тонкая струна одиноко пропѣла еще нѣсколько нѣжныхъ нотъ, тише и тише, какъ улетающій жаворонокъ.

Менестрель опустилъ віолу, молча упалъ ницъ и лежалъ передъ алтаремъ, прижимаясь головой къ холодному полу, а народъ все стоялъ на колѣнахъ, потрясенный, и очарованный, и безмолвный.

XI.

И вдругъ, среди тишины, послышался странный шорохъ. Всколыхнулась парча и второй рубинъ съ четокъ Дѣвы сорвался внезапно самъ собою и упалъ, какъ тяжелая капля, на алтарь, а съ алтаря на полъ и звучно покатился по каменнымъ плитамъ и легъ къ ногамъ Менестреля.

Въ страхѣ и смятеніи всѣ зашептали:

— Чудо!..

— Чудо!!—пронеслось по толпѣ, наполнявшей капеллу, стоявшей за дверями, наполнявшей площадь и улицу,—и изъ устъ въ уста передавалось это слово:—Чудо!.. чудо!..

А пѣвецъ, воздѣвши руки и не поднимаясь съ колѣнъ, едва слышно прошепталъ:

— Слава тебѣ, Святая Дѣва!

И вновь упалъ ницъ.

Упалъ мертвымъ.

Онъ умеръ на глазахъ народа, умеръ честнымъ и славнымъ пѣвцомъ, какимъ былъ всю свою долгую жизнь, и лучшаго удѣла—удѣла пѣвца—не искалъ.

Такъ говоритъ старинная Эльзасская легенда... о безызвѣстномъ Менестрелѣ, о пѣвцѣ Богоматери.

ЖУЛИКЪ.

Однажды сторожъ Антонъ, лохматый деревенскій мужикъ, лѣтъ 45, здоровый и сильный, ходившій осеннимъ вечеромъ въ тяжеломъ длинномъ армякѣ и съ дубинкой въ рукахъ, поймалъ жулика.

Жуликъ былъ совсѣмъ молодой, но хилый, маленькій и очень смирный.

Антонъ замѣтилъ его на погребицѣ, когда тотъ только-что сломалъ замокъ. Онъ подкрался къ нему сзади и неожиданно схватилъ его крѣпкой рукой за шиворотъ.

— Я тебѣ покажу, какъ замки ломать!

Жуликъ ахнулъ, но не сопротивлялся. Онъ выронилъ изъ рукъ и замокъ и шкворень, и только пытался заглянуть въ лицо того, кто держалъ его за воротникъ, и держалъ такъ крѣпко, что нельзя было повернуть голову.

Дѣло было въ загородномъ дачномъ поселкѣ, и жулика нужно было вести къ уряднику, который жилъ неподалеку отъ сельской церкви и въ это время, вѣроятно, еще не спалъ.

Не желая изъ-за пустяковъ безпокоить хозяевъ, Антонъ не сталъ поднимать шума. Не говоря никому ни слова, онъ вывелъ пойманнаго за калитку.

— Иди, иди!—покрикивалъ онъ, встряхивая своего плѣнника.—Упираться будешь—убью!—пригрозилъ онъ на всякій случай.

И они пошли.

Рука Антона точно окаменѣла на шеѣ жулика; ни сопротивляться, ни думать о побѣгѣ было невозможно.

Дорога вела сначала мимо ряда дачъ, частью освѣщенныхъ, частью уже покинутыхъ, потомъ вела черезъ просѣку и черезъ полянку по берегу большого пруда.

На небѣ свѣтились звѣзды; вокругъ было тихо и мирно, и никому изъ живущихъ не могло придти на мысль, что мимо проходятъ незнакомые между собою люди, ставшіе минуту назадъ другъ другу врагами.

— Господинъ сторожъ!.. а, господинъ сторожъ!..— заговорилъ вдругъ жуликъ скромнымъ, почти ласковымъ голосомъ.

Было темно, и только по его голосу было замѣтно, что онъ говоритъ улыбаясь.

— Перехватите, ради Бога, полегче. А то ужъ дышать становится невозможно. Я не уйду. Да отъ васъ даже быкъ не уйдетъ... отъ этакой хватки.

Антонъ, сознавая свою силу, молча ослабилъ пальцы, и жуликъ съ облегченіемъ повернулъ нѣсколько разъ вправо и влѣво голову.

— Благодарю васъ.

— Иди, иди!

Съ минуту они шли молча. Легкіе башмаки и тяжелые сапоги по-разному шумѣли по дорогѣ.

— Господинъ сторожъ... а, господинъ сторожъ,— заговорилъ опять плѣнникъ тѣмъ же ласковымъ и тихимъ голосомъ.

— Ну.

— Я только это къ примѣру. Напримѣръ, если бъ не было на свѣтѣ жуликовъ... вовсе-бы не было... никогда; даже званія ихняго не было бы вовсе...

— Ну.

— Вотъ я и думаю: что-бы вы, господинъ сторожъ, стали бы тогда дѣлать?—То есть, какое именно дѣло стали-бы вы тогда выполнять?

Антонъ сразу не понялъ вопроса. Онъ думалъ о самомъ себѣ и отвѣтилъ сурово и коротко, чтобы показать свою власть:

— Иди, иди!

Жуликъ шелъ впереди, Антонъ сзади; ихъ соединяла только рука Антона, лежавшая, какъ желѣзная скоба, на чужой шеѣ.

— Я только къ примѣру... Чѣмъ бы вы стали заниматься, если бъ жуликовъ совсѣмъ не было на свѣтѣ?

Антонъ молчалъ.

— По-моему, не будь жуликовъ, не было бы и сторожей.

Подождавъ напрасно, но терпѣливо отвѣта, плѣнникъ добавилъ:

— Поэтому я такъ понимаю, господинъ сторожъ, что жуликъ для васъ первый другъ и благодѣтель.

Вопросъ становился интереснымъ и доступнымъ Антону. Онъ нѣсколько замедлилъ шагъ и началъ вслушиваться.

— Красную рубашку вы-бы тогда, пожалуй, не носили, ежели бы нашего брата не было. Потому что хозяину васъ держать не было бы никакого разсчета. Потому—для чего вы?

Онъ помолчалъ и вздохнулъ.

— Если жулика нѣтъ, то и сторожъ есть только прахъ, и ничего больше. Такъ ли я понимаю?

Это было настолько неожиданно, что Антонъ даже остановился.

Онъ молча и строго глядѣлъ въ темнотѣ на свою жертву, однако слова эти затронули его.

Въ армякѣ было жарко, а главное, сквозь армякъ не могло быть видно его одежды; откуда же тотъ могъ узнать про его красную рубашку, которую ему недавно подарила хозяйка на именины.

— Сейчасъ видать,—отвѣтилъ онъ на свои мысли,—что ты страсть какой жуликъ!.. Ну—шагай!

И они опять пошли въ прежнемъ порядкѣ.

Въ просѣкѣ было темно и жутко. Еловый лѣсъ зубчатой черной стѣной обрисовывался на темномъ звѣздномъ небѣ. Подъ ногами хрустѣли сухія вѣтки и шуршала старая затоптанная трава.

— Я все это только къ тому говорю, что не будь, напримѣръ, жуликовъ, ваше занятіе, господинъ сторожъ, совершенно уничтожается. Небось, вы и сами не станете думать, что хозяинъ безъ васъ жить или дыхнуть не можетъ? Повѣрьте честному слову—можетъ! и даже очень можетъ!.. Потому я и думаю, что жуликъ для сторожа есть хлѣбъ насущный.

Антонъ чувствовалъ нѣкоторую правду въ его словахъ, и правду не очень веселую. Невольно ему вспоминалось, какъ недавно онъ былъ безъ мѣста; куда ни ходилъ, гдѣ ни искалъ работы, вездѣ было все занято. И дѣйствительно, не будь на свѣтѣ жуликовъ, не быть бы ему и дачнымъ сторожемъ.

Мысли эти тупо и тяжело бродили въ его головѣ, а вкрадчивый тихій голосъ плѣнника точно подсказывалъ ему новые вопросы и разрѣшалъ ихъ сейчасъ-же, смущая все болѣе и болѣе простую и незлобивую душу Антона.

— Такъ что никакого смысла изъ вашей должности не получится, ежели всѣ жулики прекратятся. Къ примѣру, скажемъ такъ: собаку кормятъ развѣ за то, что она собака?.. Нѣтъ. А за то ее кормятъ, что она лаетъ и пугаетъ. Кого? Жулика. А переведись всѣ жулики, то и всѣмъ собакамъ сію же минуту отставка. И кончились бы собаки. И не стало бы ни одной собаки на всемъ бѣломъ свѣтѣ. Такъ же точно и съ сторожами. Хозяинъ не станетъ вамъ жалованіе платить только за то, что вы, скажемъ, съ усами и съ бородой. Мало-ли людей съ усами и съ бородами; за это денегъ не платятъ.

Антонъ незамѣтно вздохнулъ.

Вздохнулъ шумно и жуликъ.

Они выходили уже на просторъ, на широкую открытую луговину.

— И стали бы тогда всѣ сторожа пахать землю... А походи-ка тоже по полю съ сохой да съ бороной,— небось, поясницу заломитъ. Да хорошо еще, у кого земля есть. А если и земли-то нѣтъ?.. Въ батраки наниматься и тяжело, и голодно. А теперь чего лучше? Сыто, тепло, денежно.

— Это вѣрно.—не выдержалъ Антонъ и въ раздумьи покрутилъ головой.

— А кто причиной всему тому, позвольте спросить?

Антонъ молчалъ.

— Причиной всему тому—жулики; ваши друзья. Я бы на вашемъ мѣстѣ за нихъ Богу молился, а не то что... въ полицію.

Въ полѣ было свѣтлѣй и спокойнѣе. Темной гладью лежалъ сбоку широкій прудъ и въ немъ отражались черныя группы прибрежныхъ деревьевъ, а посединѣ сверкали звѣзды.

— У васъ земля-то имѣется по надѣлу?— спросилъ опять жуликъ, точно между нимъ и Антономъ не было никогда и никакихъ непріятностей.

— Мало,—угрюмо и нехотя отвѣтилъ сторожъ.— Какая наша земля: три четвертки!

Онъ махнулъ свободной рукой и задумался. Вопросъ былъ слишкомъ близкій ему, чтобъ отвѣчать равнодушно.

— Земли-то у насъ, говорятъ, больше, не три четвертки, да она за графомъ осталась. Говорятъ, надо судиться; ее возможно обратно взять. Тогда дѣло другое. А теперь что за земля!

— Такъ чѣмъ же вы заниматься будете?—воскликнулъ вдругъ жуликъ, и въ голосѣ его было удивленіе, сочувствіе и даже упрекъ.—Развѣ возможно съ такого клочка прокормиться? Да еще семью прокормить?

— Чтожъ теперь будешь дѣлать...

— А вы человѣкъ семейный?

— У меня много...

Отъ такихъ разговоровъ сердце Антона смягчилось, да и рука устала держать жулика все время за воротникъ. Онъ перехватилъ его за рукавъ и, указывая куда-то впередъ, сказалъ просто и добродушно:

— А вотъ ужъ недалеко и урядникъ!

Жуликъ ничего на это не отвѣтилъ.

Помолчавъ, онъ неожиданно спросилъ тоже простымъ и участливымъ тономъ, словно давнишній пріятель:

— Вы что же здѣсь на всю зиму останетесь безъ семьи?

— Я только до сентября нанятъ, покуда дачникъ живетъ.

— Значитъ, недѣли двѣ да и въ сторону?.. Ну, и стоитъ изъ-за такихъ пустяковъ цѣлое путешествіе дѣлать... ноги ломать по песку?.. Знаете что, господинъ сторожъ: не нужно идти къ уряднику. Ну его совсѣмъ!

Антонъ молчалъ и думалъ. Ему и самому стало казаться, что не нужно: жуликъ былъ человѣкъ уважительный и пріятный, и ему было жалко его.

— Я вамъ не врагъ, и вы мнѣ тоже не врагъ; разойдемся друзьями.

Жуликъ осторожно взялъ Антона за руку, которою тотъ все еще держалъ его локоть, и повторилъ:

— Разойдемся друзьями.

Потомъ добавилъ почти уже строго:

— А съ графомъ вы непремѣнно судитесь. Составьте приговоръ отъ волости, да хорошаго адвоката возьмите. Земля—дѣло нужное. Не дарить-же ее графу!

— То-то и оно, чтобы не дарить!

— И не дарите.

— Люди-то мы... темные.

— Адвокаты па это есть. Ну, прощайте, господинъ сторожъ. Благодарю васъ.

Антонъ все еще медлилъ и крутилъ головой. Потомъ вздохнулъ и нерѣшительно отпустилъ руку.

— Ну, ладно,—сказалъ онъ угрюмо.—Такъ и быть. А задвижку, которую ты своротилъ, я завтрашній день на старое мѣсто приколочу.

— Ужъ пожалуйста, господинъ сторожъ!

— Сказалъ—сдѣлаю.

— Ну, прощайте!

Жуликъ скромно пожалъ его сухую огромную руку съ жесткими пальцами, приподнялъ надъ головой картузъ и быстро и легко пошелъ къ рощѣ.

Антонъ съ минуту еще видѣлъ его темную фигуру среди темнаго поля, а можетъ быть, ему только казалось, что онъ видитъ его и слышитъ легкіе поспѣшные шаги.

Онъ постоялъ, подумалъ и, погладивъ бороду, пошелъ неторопясь домой. Въ мысляхъ его крѣпко засѣлъ вопросъ о землѣ. Въ это же время онъ думалъ и о томъ, что станется со всѣми сторожами, если всѣхъ жуликовъ переловятъ.

На утро онъ выполнилъ обѣщаніе и приколотилъ оторванную задвижку.

А когда всѣмъ стало извѣстно, что ночью приходилъ воръ и сломалъ замокъ у погреба, хозяинъ позвалъ къ себѣ Антона и спросилъ по-хозяйски:

— Куда же дѣвался жуликъ?

Антонъ въ отвѣтъ отвелъ въ сторону глаза и угрюмо махнулъ рукою:

— Убёгъ!

—

ВРАГИ.

I.

Направляясь къ берегу моря, мы проходили длинной безлюдной аллеей, усыпанной гравіемъ—мелкимъ сыпучимъ камнемъ, хрустѣвшимъ подъ нашими шагами. Высокіе стройные кипарисы, кудрявые снизу и доверху, окаймляли нашъ путь; они были величественны и красивы, но, глядя на нихъ чувствовалось что-то тяжелое и тоскливое, точно это были не деревья, а рядъ молчаливыхъ невольниковъ, безнадежно одинокихъ, обреченныхъ на вѣчное сиротство.

— Вы слышите, какъ шумитъ море?—замедляя шагъ и прислушиваясь, сказалъ мнѣ мой спутникъ, Столяровскій.—Вотъ этотъ шумъ, и запахъ розъ, который я чувствую гдѣ-то поблизости, да эти вѣчно-зеленые, вѣчно одинокіе и гордые кипарисы наводятъ меня на думу: какъ, вѣроятно, здѣсь хорошо счастливому въ лунную ночь, и какъ невозможно-плохо несчастному! — Онъ вздохнулъ и добавилъ: — Впрочемъ, всегда такъ: гдѣ счастливому хорошо, тамъ несчастному очень плохо.

Это былъ человѣкъ лѣтъ 28, съ серьезнымъ, почти красивымъ лицомъ. По его словамъ, онъ настолько уже свыкся съ неудачами, настолько притерпѣлся, что пересталъ пытаться даже на борьбу и покорно дожидался новыхъ неудачъ и новыхъ несчастій.

Когда разговоръ заходилъ объ энергіи, о борьбѣ

съ судьбой, или о достиженіи чего-нибудь въ жизни, онъ мѣнялся въ лицѣ и, безнадежно махая рукой, говорилъ, что все это—заблужденіе, что человѣкъ, которому „не везетъ“, никогда ничего не добьется, и что такого человѣка можетъ спасти только чудо.

— Вы, кажется, вѣрите въ судьбу? — спросилъ я его.—Но вѣдь судьба человѣка, это, по-моему,—результатъ его же собственныхъ дѣйствій, а вовсе не руководящее начало. Даже пословица есть: всякій—кузнецъ своего счастія.

— Вздоръ!—остановилъ меня Столяровскій.—Судьба, это—все. Говоря безъ всякой предвзятости, вы не можете отрицать, что въ природѣ есть какая-то страшная сила, которая помимо нашей воли создаетъ намъ положенія, толкаетъ насъ на разныя дѣла, выноситъ на высоту или опрокидываетъ въ бездну и топчетъ... Я не знаю, какая это сила и какъ она называется, но она есть, и она—все! Только сила эта недобрая: она зла, насмѣшлива и ненасытна. Вы думаете, я никогда не боролся съ нею? Я много и упорно боролся, пока не сознался, что всѣ мои попытки напрасны. Да, я сознался это, и воочію убѣдился.

Замѣтивъ, что я въ недоумѣніи пожимаю плечами, онъ продолжалъ болѣе горячо:

— Можетъ-быть, это было бы ясно и вамъ и всѣмъ, если бъ въ природѣ не было другой, второстепенной силы, которая сглаживаетъ всѣ эти грубости и представляетъ ихъ намъ въ такой послѣдовательности, въ такомъ логическомъ порядкѣ, что трудно подмѣтить самую суть. И только человѣкъ очень несчастный способенъ раскусить всю эту хитрость и увидать то, чего не увидитъ счастливецъ.

— Что же вы увидали особеннаго?

— Я увидѣлъ дѣятельность этихъ двухъ силъ природы. Одна изъ нихъ законодательная, а другая исполнительная; одна требуетъ себѣ жертвъ, а другая ихъ

собираетъ; одна дѣйствуетъ грубо и слѣпо, безъ разбора, безъ логики, а другая работаетъ послѣдовательно, постепенно, изо дня въ день и шагъ за шагомъ... Развѣ бываетъ, что человѣкъ ни съ того, ни съ сего—возьметъ да застрѣлится, или убьетъ кого-нибудь, или украдетъ, или съума сойдетъ? Ни внезапно, ни безъ причинъ этого не бываетъ въ жизни, а причины такъ ловко и хитро подстраиваются судьбой, что бороться съ ними человѣку нельзя. Это не фразы, это только то, чего многіе не видятъ, но что есть, было и будетъ на свѣтѣ, потому что въ извѣстномъ состояніи общества извѣстное число лицъ *должно* лишить себя жизни, и тутъ ничто, ни боязнь „того свѣта“, ни привязанность къ жизни, ни проповѣди, ни благоразуміе,—ничто не въ силахъ умѣрить дѣйствіе этого закона, сила котораго непреодолима. Сама жизнь требуетъ себѣ жертвъ, само общество приготовляетъ преступленіе и выдѣляетъ изъ себя виновниковъ, а виновники эти—слѣпое орудіе. Желалъ бы я знать, какъ будетъ бороться такая единица, когда все и всѣ обрекли ее на гибель?! Я гдѣ-то видѣлъ таблицу, которая раскрыла мнѣ глаза на это, и теперь я всѣ свои несчастія и неудачи понимаю: я—жертва, обреченная на гибель, но мое время еще не пришло, хотя оно уже, кажется, недалеко...

Столяровскій задумался и замолчалъ; я тоже боялся тревожить его возраженіями; и такъ, не разговаривая, мы прошли до конца аллеи, затѣмъ спустились къ берегу моря и сѣли на скамью.

Невдалекѣ отъ насъ, подъ наблюденіемъ гувернантки, игралъ хорошенькій бѣлокурый мальчикъ, лѣтъ шести, отыскивая пестрые камешки и бросая ихъ въ волны. Это былъ сынъ богатаго помѣщика, жившаго здѣсь цѣлое лѣто. Я встрѣчалъ ежедневно этого ребенка и невольно любовался его дѣтской красотой, добрыми осмысленными глазами; всегда веселый и радостный, онъ бѣгалъ по дорожкамъ, безпечно откидывая

свои кудри, которыми вѣтеръ щекоталъ ему лицо.

— Взгляните,—сказалъ мнѣ Столяровскій, указывая на мальчика.—Я его вижу здѣсь каждый день и очень интересуюсь имъ. Я узналъ, что родители его богаты и образованы, самъ онъ такой красивый, здоровый... Несомнѣнно, это растетъ будущій счастливчикъ, которому въ жизни приготовлено уже судьбою видное мѣсто... Почему знать, можетъ быть, онъ и есть тотъ баловень судьбы, ради котораго отнято у меня мое счастіе?.. Природа требуетъ жертвъ, и все живущее либо отдаетъ свое, либо беретъ чужое. Въ этомъ случаѣ христіанство—великое утѣшеніе, потому что его идеалъ—страданіе за другихъ... Но иногда такъ хочется личнаго счастія, такъ мучительно хочется, такъ изнываетъ душа,—а его нѣтъ и нѣтъ и никогда не будетъ!.. Для чего жъ тогда жизнь? Кому нужны эти безполезныя муки, кому нужно мое горе, отчаяніе, мои стоны, мое несчастіе? Кому это нужно? Отвѣтьте мнѣ, кому это нужно!

Столяровскій внезапно разволновался, и, ломая руки, прошелся нѣсколько разъ возлѣ скамейки, какъ бы желая что-то договорить мнѣ; потомъ рѣзко остановился, приподнялъ шляпу, сказалъ „до свиданія“, и сейчасъ же ушелъ.

Послѣ этого я не видалъ его нѣсколько дней.

II.

Вечеръ выдался прекрасный и тихій.

Это былъ одинъ изъ тѣхъ немногихъ вечеровъ, ясный и спокойный, когда на душѣ становится легко и мирно, когда чувствуется близость, почти родство съ окружающей природой, а мягкія лунныя тѣни, распластанныя по дорогѣ, и черпота листвы вперемежку съ яркими блестящими отраженіями, и вечерній сумракъ насквозь пронизанный серебристымъ свѣтомъ,

вызываютъ задумчивость, затрогиваютъ въ душѣ какія-то новыя невѣдомыя струны, и хочется вѣрить, будто жизнь становится краше... Море тоже было спокойно, оно не билось, а точно ласкалось къ берегу, и волны не шумѣли, но ворковали. Было тепло, въ воздухѣ пахло цвѣтами и влагой,—и мнѣ невольно вспоминались слова Столяровскаго: „Какъ, вѣроятно, здѣсь хорошо счастливому и какъ невозможно плохо несчастному!...“

Эти слова, которыя такъ недавно я выслушалъ вполнѣ равнодушно, показались мнѣ теперь справедливыми, полными такой грусти, такого страданія и душевнаго разлада, что мнѣ самому стало грустно. Тишина и красота ночи вызывали во мнѣ что-то похожее на тоску, на сладкую тоску, на какую-то неясную неудовлетворенность, и мнѣ казалось, что случись сейчасъ что-то небольшое, что-то очень небольшое, чего я не могъ бы даже назвать по имени, и можно было бы захлебнуться отъ счастья!.. А Столяровскій, котораго бьетъ судьба, измученный, озлобленный неудачникъ, съ широкими запросами и больными нервами—что долженъ чувствовать онъ?..

Любуясь, думая и, въ сущности, наслаждаясь, я забрелъ на такъ называемый выступъ, куда прямо изъ парка вела узенькая дорожка; этотъ выступъ—не что иное, какъ громадный широкій камень, выдвинувшійся въ море, гдѣ стоятъ двѣ-три скамейки и гдѣ собирается днемъ много публики, чтобы любоваться отсюда извилистой линіей берега и помахать платками мимо идущимъ пароходамъ.

На этотъ разъ на камнѣ я засталъ только одного Столяровскаго; больше не было никого. Сильно сгорбившись и опираясь обѣими руками на палку, онъ стоялъ ко мнѣ задомъ, глядя внизъ на волны, но я сразу узналъ его. „Гдѣ-то теперь его мысли?“ подумалось мнѣ.

Вѣроятно, мысли его были очень далеки, потому что когда онъ обернулся и подалъ мнѣ руку, то съ секунду глаза его хранили какое-то другое, постороннее впечатлѣніе; потомъ онъ промолвилъ:

— Ахъ, это вы...

Мы сѣли съ нимъ на скамейку.

— Какъ хорошо,—сказалъ онъ, осматриваясь.—Какъ все вокругъ красиво и полно поэзіи... И жить хочется, и любить хочется... И вотъ поэтому-то лучше бы поскорѣе смерть!

— Какъ такъ?—спросилъ я, вглядываясь въ его лицо, которое было еще строже и еще блѣднѣе, чѣмъ раньше.

— Очень понятно: не для меня все это!—отвѣтилъ онъ.—Но вѣдь во мнѣ такая же душа, какъ и въ другихъ, я чувствую, какъ и всѣ, обаяніе жизни, можетъ-быть, даже лучше и тоньше чувствую, но жизнь—не для меня; радости ея—не для меня. Въ томъ-то и бѣда, что я понимаю ихъ, предвкушаю, а ихъ нѣтъ: онѣ у меня отняты ради кого-нибудь другого...

Онъ помолчалъ и добавилъ:

— Можетъ-быть, ради того же курчаваго мальчишки, котораго я не могу прогнать изъ своихъ мыслей...

Онъ опять замедлилъ рѣчь, видимо волнуясь.

— Я возненавижу этого мальчишку!—почти крикнулъ Столяровскій, неожиданно ударяя палкой по камню.—Возненавижу!

Нѣсколько минутъ мы просидѣли молча. Спорить съ нимъ было безполезно, и я желалъ только одного—не раздражать его противъ мальчика.

— Вотъ вы говорите: борьба, энергія, проявленіе воли... Какіе пустяки!—заговорилъ онъ опять болѣе сдержанно.—Съ чѣмъ я буду бороться? Наконецъ, какъ и за что? За счастіе? Да у меня его нѣтъ! Понимаете, у меня нѣтъ и не можетъ быть счастія, я уже разбитъ, я уже доведенъ до того, что мнѣ не за что бороться,

я уже переставъ принадлежать себѣ... Меня подхватила какая-то сила и неудержимо тянетъ къ моему концу. Чтобъ быть счастливымъ, необходимо озвѣрѣть, сдѣлаться тираномъ, угнетать, давить и мучить другихъ, а у меня не такое сердце. Я не могу видѣть чужого горя, чужого страданія... Что же мнѣ дѣлать? Терпѣть? Я терплю. Но я вижу, какъ на мнѣ спекулируетъ природа ради другихъ: я попалъ въ число этихъ жертвъ; ихъ нужно ровно столько, сколько требуетъ жизнь для своихъ непонятныхъ намъ цѣлей, не больше и не меньше. И тутъ борьба только одна, это—задавить другого, ради себя. Или я, или онъ!.. Но кто этотъ „онъ“? Гдѣ? Каковъ? Я не знаю его. Но жизнь требуетъ свою жертву на сцену: подавай ее или готовься самъ... Жизнь неумолима, требованія ея математически точны, а стало-быть, справедливы и неизбѣжны, хотя ужасны... Можетъ-быть, мой взглядъ покажется вамъ страннымъ, дикимъ, даже чудовищнымъ и безумнымъ, но я все-таки вижу, что древніе язычники, принося свои кровавыя жертвы, были *эгоистически* правы... да! Это ужасно, это страшно, но вѣдь и жизнь тоже страшна и ужасна: она требуетъ себѣ жертвъ, она ихъ требовала и получала во всѣ времена и у всѣхъ народовъ, только наши вкусы теперь утончились до такой степени, что мы предпочитаемъ погибать сами взамѣнъ другихъ, а не губить ихъ взамѣнъ себя—въ этомъ вся разница! Вы не согласитесь со мною, я знаю. Вы не можете видѣть этого, потому что вы не были такъ несчастны, какъ я... А я доведенъ неудачами и горемъ до изступленія, до отчаянія... Это, наконецъ, невыносимо!

Онъ ударилъ себя въ грудь и вскочилъ со скамейки; онъ стоялъ прямо предо мной съ блестящими глазами, полными гнѣва, и, продолжая стучать кулакомъ по груди, нѣсколько разъ повторилъ:

— Цифры! цифры! Проклятыя цифры! Нѣтъ намъ

изъ нихъ никакого выхода! Нужно знать только цифры и не нужно быть пророкомъ, чтобы сказать, что ожидаетъ насъ на будущій годъ, и сколько несчастныхъ жертвъ будетъ вырвано насильственнымъ путемъ изъ нашего общества, безвольнаго, безсильнаго и слѣпого, думающаго, что оно свободно и сильно. Всѣ мы, со всѣми нашими жалкими геройствами и мыслями, со всѣми чувствами и стремленіями, съ борьбою, радостями и несчастіями, всѣ мы—послушныя, слѣпыя цифры! Цифры, цифры и цифры,—и больше мы ничего не значимъ!.. Вотъ я живу, думаю, чувствую, дѣлаю что-то, стремлюсь куда-то, но кругъ моихъ дѣйствій настолько ограниченъ судьбою, что я, въ сущности — только послушная роковая цифра. Мнѣ хочется счастья, я не могу болѣе жить безъ счастья, безъ личнаго счастья, и вотъ во мнѣ пробудился дикарь и язычникъ, готовый признать только одинъ выходъ, одно средство къ своему избавленію... Мнѣ тяжело, мнѣ больно, я не хочу далѣе выносить этой пытки, и пусть падетъ жертвою *онъ*, а не я!!..

Неожиданно Столяровскій ухватилъ меня крѣпко правой рукой за плечо и, глядя въ упоръ, рѣзко, съ увѣренностью сумасшедшаго человѣка, заявилъ:

— Мы встрѣтились съ *нимъ* случайно, но я вздрогнулъ, когда увидалъ его, и онъ тоже вздрогнулъ, увидѣвъ меня, и ручаюсь, мы оба инстинктивно почувствовали, что между нами есть какая-то роковая связь, точно наши двѣ жизни должны скреститься рано или поздно, или... онѣ уже скрестились... Но кто изъ насъ падетъ жертвою, кто пополнитъ печальную цифру жизни—я или онъ—неизвѣстно, но вмѣстѣ мы жить не можемъ!

Столяровскій снялъ съ моего плеча руку, покивалъ мнѣ головой съ какимъ-то страннымъ сожалѣніемъ, точно съ упрекомъ и, горько усмѣхнувшись, добавилъ:

— Не правда ли, я говорю вамъ смѣшныя вещи? Кудрявый мальчишка, общій любимецъ, будущій счастливчикъ,—и я, изувѣченный жизнью,— враги?! Какъ это, вѣроятно, смѣшно! Намъ всегда и все кажется смѣшнымъ, или великимъ, чего мы не понимаемъ.

Онъ расхохотался короткимъ болѣзненнымъ смѣхомъ и, не прощаясь, ушелъ. Я сейчасъ же пошелъ за нимъ, съ цѣлью догнать, но его уже не было. Я исходилъ весь паркъ, побывалъ у него на квартирѣ, которая оказалась незапертой, но Столяровскаго нигдѣ отыскать не могъ.

Положеніе становилось серьезнымъ. Онъ говорилъ такимъ страннымъ и рѣшительнымъ тономъ, что возможно было ожидать всего. Цѣлую ночь я не могъ успокоиться; я начиналъ бояться за судьбу ребенка, и то считалъ необходимымъ предупредить родителей, то находилъ это нелѣпостью и вздоромъ, то опять мнѣ казалось возможнымъ ожидать отъ Столяровскаго всякаго поступка,—и такъ почти до самаго утра я не смыкалъ глазъ.

III.

Недаромъ наканунѣ плескались въ морѣ дельфины; по примѣтамъ, это предвѣщало бурю, и, дѣйствительно, послѣ ночного затишья, на другой же день море внезапно перемѣнилось, нахмурилось и почернѣло; громадныя косматыя волны мчались издалека и кидались на берегъ словно разъяренные звѣри съ пѣной у рта, и все возлѣ берега пѣнилось, шумѣло и скрежетало...

Въ этотъ день ожидалось на морѣ интересное зрѣлище: мимо берега должна была пройти эскадра съ громаднымъ броненосцемъ во главѣ. Публика ждала этого зрѣлища съ нетерпѣніемъ, и когда я, утомленный безсонною ночью, нѣсколько запоздавши, направился къ „выступу“, откуда было удобно смотрѣть, то

всѣ скамейки на немъ были уже заняты, и мнѣ пришлось сѣсть на камень на самый край, нависшій надъ водою, такъ что время отъ времени, когда сильно разбивалась волна, мнѣ вѣяло въ лицо влажною и соленою пылью.

Вскорѣ я услыхалъ знакомый дѣтскій голосъ—и сердце во мнѣ сжалось... Я видѣлъ, какъ, держась за руку гувернантки, пришелъ сюда же, на выступъ, „врагъ“ Столяровскаго въ сопровожденіи матери и отца; сѣсть имъ было некуда, и они остановились, какъ и я, только на другомъ углу камня, шагахъ въ десяти отъ меня. Мальчикъ громко разговаривалъ, задавая вопросы отцу, на которые тотъ отвѣчалъ тихо и серьезно, при этомъ указывалъ рукою на горизонтъ и на волны, очевидно, объясняя маршрутъ или значеніе броненосцевъ.

Я глядѣлъ на нихъ и дивился: вѣдь бываетъ же такое прекрасное, чисто ангельское лицо, какъ у этого мальчика! Глядя на него, нельзя было не вѣрить, что судьба именно на немъ отразила всѣ свои милости; болѣе красиваго лица и болѣе осмысленнаго взгляда я никогда не видалъ ни у кого изъ дѣтей. „Да, Столяровскій правъ,—думалось мнѣ,—что это растетъ будущій счастливчикъ, которому уже заранѣе приготовлено въ жизни видное мѣсто“... И я замѣтилъ, что не я одинъ, а всѣ любуются мальчикомъ; даже разговоры затихаютъ и всѣ съ улыбкой прислушиваются, когда онъ говоритъ.

— А не свалимся мы въ море, если такъ будемъ сидѣть?—раздался внезапно голосъ надъ моей головой, и я увидѣлъ Столяровскаго, который опускался рядомъ со мною на камень. Онъ сѣлъ и даже свѣсилъ ноги, но когда морская пѣна взвилась и обрызгала его, онъ отодвинулся и сѣлъ по-турецки.

Можетъ-быть, потому, что на немъ была большая соломенная шляпа, которую онъ никогда раньше не

носилъ, лицо его показалось мнѣ похудѣвшимъ, безцвѣтнымъ и даже какъ будто не тѣмъ, какое я зналъ.

— Я вчера васъ долго искалъ,—сказалъ я ему.— Вы испортили мнѣ цѣлую ночь вчерашнимъ разговоромъ, но я надѣюсь, что сегодня у васъ уже прошло это „языческое“ настроеніе.

Онъ отвѣтилъ:

— Напротивъ, укрѣпилось.

Помолчавъ минуту, онъ продолжалъ:

— Взгляните: насъ здѣсь человѣкъ пятнадцать, двадцать... но кто здѣсь герой? На кого всѣ смотрятъ? кого слушаютъ? Вѣдь если бъ онъ говорилъ умно, или ново, а то вѣдь это—лепетъ... дѣтскій лепетъ! А его слушаютъ и подчиняются его вліянію. Вѣдь это же безсмыслица, но это фактъ. Этотъ герой возносится на нашихъ глазахъ за нашъ же счетъ; его вліяніе—нашъ собственный ущербъ, его красота и его счастье въ жизни—идетъ намъ же на минусъ, онъ отнимаетъ у насъ наше, онъ невольно пьетъ нашу кровь... О, если бъ только не утонченность вкуса, привитая намъ христіанствомъ, повелѣвающимъ отречься отъ личнаго счастья ради другихъ, то я задушилъ бы его сію же минуту!

Столяровскій нагнулся ко мнѣ къ самому уху и тихо шепнулъ:

— Все равно... Мы съ нимъ рано или поздно сочтемся!

Я взглянулъ на него съ изумленіемъ, но онъ сидѣлъ, видимо, спокойный, только руки его были скрещены на груди, какъ это дѣлаютъ борцы въ ожиданіи противника, да въ холодномъ пристальномъ взглядѣ, устремленномъ прямо на мальчика, свѣтилась такая ненависть, что мнѣ становилось страшно.

А мальчикъ стоялъ на самомъ краю камня, держась за руку гувернантки, и, смѣясь, громко разсказывалъ отцу, какъ будетъ махать платкомъ навстрѣчу броненосцамъ.

Если бъ не разстояніе, отдѣлявшее его отъ Столяровскаго, я, вѣроятно, боялся бы очень за его судьбу. И я начиналъ уже бояться, но въ это время среди собравшейся публики произошло внезапное движеніе: изъ-за далекой скалы показался слабый дымокъ, и всѣ съ шумомъ поднялись съ своихъ мѣстъ, всѣ придвинулись ближе; кто-то даже крикнулъ восторженно: „эскадра! эскадра!..“ Волненіе и шумъ усилились, только мы съ Столяровскимъ сидѣли по-прежнему смирно...

Еще минута напряженнаго ожиданія—и передъ нами изъ-за скалы появился броненосецъ, за нимъ второе и третье судно; вдругъ среди нашего говора раздался отчаянный пронзительный крикъ, и вся толпа ахнула какъ одинъ человѣкъ—страннымъ, быстрымъ и короткимъ стономъ, похожимъ на вздохъ. Обернувшись, я увидѣлъ только, какъ широко всплеснула гувернантка руками, но мальчика на скалѣ уже не было.

Я не помню, какъ и что произошло въ толпѣ. Въ одну и ту же секунду я увидалъ и Столяровскаго, сидѣвшаго по-прежнему рядомъ со мною, видѣлъ и мать, повалившуюся безъ чувствъ, и видѣлъ какъ сѣдая волна, раскатившись, отшвырнула отъ берега ребенка. Дѣло было одного мгновенія. Всѣ точно онѣмѣли, всѣ потерялись, всѣ стояли не двигаясь, но въ этотъ самый моментъ чья-то рука крѣпко сдавила мнѣ плечо, чей-то голосъ крикнулъ надъ моей головой:

— Нѣтъ!!

И Столяровскій прыгнулъ съ камня вслѣдъ за ребенкомъ въ море.

— Спасу!..

Всѣ видѣли какъ скрылся онъ въ волнѣ, только соломенная шляпа осталась на поверхности и, качаясь, покатилась вмѣстѣ съ волною. Толпа зашумѣла, заколыхалась; послышались крики: „Лодку! лодку!..“ А море пѣнилось и гудѣло, бѣшено бросаясь на берегъ...

Вдругъ на волнахъ показалась рука, которая хваталась за ихъ гребни, боролась и вновь исчезала...

Всѣ замерли отъ ожиданія и надежды.

Потомъ на секунду вынырнули рядомъ двѣ головы, потомъ снова скрылись и вновь показались; потомъ громадный, сѣдой и зеленоватый валъ, косматый и бѣшеный, взвился около нихъ, заревѣлъ и выросъ еще круче, но обломился и рухнулъ, перебросился имъ черезъ головы и широко раскатился по морю безсильною бѣлою пѣной; а вдогонку за нимъ уже бѣжали и взвивались новыя волны; одинѣ бѣжали къ намъ, другія отъ насъ; все мѣшалось, ревѣло и шипѣло, и высланная лодка долго не могла побороть ихъ натиска; ее трепало возлѣ берега.

И сколько мы ни ждали, сколько ни глядѣли въ волны, сколько ни надѣялись,—но уже ничьихъ рукъ и ничьей головы болѣе не показалось...

По словамъ Столяровскаго, жизнь взяла свои жертвы. Но... сталъ ли отъ этого кто-нибудь счастливѣе на свѣтѣ?

ОСЕНЬ.

I.

Конецъ лѣта — іюль и августъ, Соколовы провели на Кавказѣ, оставивъ дѣтей дома на попеченіе бабушки.

Иванъ Егоровичъ заранѣе предчувствовалъ, что безъ нихъ что-нибудь произойдетъ непріятное, такъ какъ мать его жены, или „бабушка", какъ привыкли ее называть всѣ, отличалась тревожнымъ характеромъ.

Такъ и вышло.

Вскорѣ получилось извѣстіе, что бонна отказалась и ушла, и что благодаря глухому времени трудно найти на ея мѣсто порядочнаго человѣка. Прочитавъ письмо, Иванъ Егоровичъ возмутился: „Ну, такъ и зналъ!" и при этомъ сказалъ что-то неосторожное. Жена обидѣлась на него за свою мать, потомъ за себя, за дѣтей, потомъ стала называть его эгоистомъ и сухаремъ. Дѣло кончилось бы очень серьезно, если бъ Соколовъ не догадался, скрѣпя сердце, уйти въ паркъ, гдѣ и пробылъ до самаго вечера.

Трое сутокъ супруги дулись другъ на друга и молчали. Молча обѣдали, молча одѣвались и раздѣвались и врозь ходили къ источникамъ.

Иногда въ отсутствіе жены Соколовъ останавливался передъ зеркаломъ и съ грустью разсматривалъ себя. Ему было сорокъ лѣтъ; онъ обросъ бородой, потолстѣлъ, носилъ очки и вообще представлялъ изъ

себя что-то большое, тяжелое и нелѣпое. Чувствуя себя обиженнымъ и одинокимъ, онъ глядѣлъ на свое лицо, не узнавая прежняго себя, и съ горечью думалъ:

„Все кончено!“

Вскорѣ получилось опять письмо. Бабушка писала, что ей одной очень трудно съ дѣтьми и что она волей-неволей принуждена была обратиться въ рекомендательную контору, хотя конторамъ не вѣритъ и не ждетъ отъ нихъ ничего, кромѣ непріятности. Ей уже прислали оттуда новую бонну, дѣвушку немолодую и, какъ видно, очень бѣдную, которая, должно быть, давно не обѣдала, потому что въ первый же день, какъ сообщила кухарка, выпила четыре чашки чая и съѣла полхлѣба; сундука у нея и въ поминѣ нѣтъ, а кое-что изъ вещей завернуто и связано просто въ узелокъ.

„Обѣдать ее съ собой не сажаю и гляжу внимательно: боюсь, не воровка ли“,—заканчивалось письмо.

Къ этому времени Соколовы хотя и помирились, но въ глубинѣ души еще не простили другъ друга и потому, когда жена съ умышленной дѣловитостью спросила:

— А вдругъ и въ самомъ дѣлѣ воровка? Я серебряныя ложки не запирала.

Соколовъ съ умышленной покорностью отвѣчалъ:

— Что-жъ... Вмѣсто отдыха возьмусь за работу: новыя ложки куплю.

Въ дальнѣйшихъ письмахъ бабушка сообщала, что къ ея удовольствію новая бонна, Ванда Осиповна, оказалась очень симпатичной и очень рабочей, дѣлаетъ все охотно и очень старается: замѣтно, что человѣкъ долго не видалъ ни теплаго угла, ни теплаго обѣда.

Къ концу сезона письма получались уже совсѣмъ восторженныя: дѣвочки полюбили Ванду, Ванда—находка, Ванда все знаетъ, все умѣетъ, на все поспѣваетъ, а главное, всегда скромна и тиха.

Соколовы были рады этому. О ссорѣ между ними давно уже не было и помина. Они ѣздили на прогулки, играли съ знакомыми въ карты, смѣялись, но, несмотря на все это, у Ивана Егоровича такъ и осталось чувство одиночества и недовольства собою. При взглядѣ на красивыхъ и нарядныхъ дамъ, на офицеровъ, на молодыхъ людей, на ихъ взаимныя улыбки при встрѣчахъ, на блестящіе радостные глаза, онъ хмурился и воображалъ самого себя теперешняго и прежняго—и не находилъ никакого сходства; а глядя на красиваго юношу, всегда одиноко сидѣвшаго съ книгой въ паркѣ, онъ думалъ:

„Дуракъ: чего сидишь! Скоро вѣдь и ты будешь такой же, какъ я; жизнь, братъ, не ждетъ!..“

Это чувство такъ и не покидало болѣе Ивана Егоровича, и часто, очень часто онъ старался вспомнить, кто это сказалъ про свою ушедшую молодость: „Жизнь теперь кончена; начинается житіе“.

Онъ вспоминалъ объ этомъ и въ гостиницѣ, и на прогулкахъ, и даже въ вагонѣ, когда возвращался домой. Но такъ и не могъ вспомнить. Изъ гордости онъ не хотѣлъ спрашивать объ этомъ жену, но передъ Москвою не утерпѣлъ и спросилъ:

— Не помнишь ли, кто это сказалъ: жизнь теперь кончена, начинается житіе?

Та посмотрѣла на него недоумѣвающими глазами и спросила въ свою очередь:

— Что съ тобой?

Потомъ она вдругъ сообразила, что это онъ говоритъ о Кавказѣ, гдѣ было такъ красиво и хорошо, и о Москвѣ, гдѣ все надоѣло—и люди, и улицы, и дѣла. Она улыбнулась и отвѣтила ему на свои мысли:

— Ну, ничего! и въ Москвѣ можно жить. Только не надо ссориться, да не надо меня обижать. Да чтобы дѣти были здоровы.

И она ласково ударила его по плечу. Онъ въ отвѣтъ улыбнулся, но не весело, и сталъ глядѣть въ окно на сѣрое осеннее небо, на поблекшую зелень. Все это онъ видѣлъ черезъ стекло, а въ самомъ стеклѣ чуть замѣтно отражалось его бородатое лицо и свѣтились его очки. Онъ одновременно видѣлъ и самого себя, и увядающую природу, и думалъ о молодости, которую уже ничѣмъ не вернешь.

II.

Когда вечеромъ, по пріѣздѣ въ Москву, Соколовы пришли въ спальную, жена спросила Ивана Егоровича, какъ понравилась ему новая бонна.

— Да никакъ; я ее и не видалъ почти. Видѣлъ что взяли какую-то кошку вмѣсто бонны, и на человѣка-то не похожа, — шутливо высказывалъ онъ свои впечатлѣнія. — Впрочемъ, бабушка ее очень хвалитъ.

— Оно лучше, когда въ домѣ кошка,—пошутила въ свою очередь и жена.—А то отъ дѣвушекъ, которыя на человѣка похожи, пожалуй, самъ ты перестанешь быть похожимъ на человѣка. Я тебя знаю!—она весело погрозила ему пальцемъ и сказала:—чего задумался? Пора спать.

На другой день былъ праздникъ, и Соколовъ былъ радъ, что не надо являться къ своимъ обычнымъ занятіямъ. У него болѣла съ дороги голова, и онъ все утро просидѣлъ у себя въ кабинетѣ. Къ нему вбѣгали его дѣвочки, ласкались, хвалили подарки съ Кавказа, хвалили Ванду Осиповну, разсказывали ему про себя, про бабушку—и Иванъ Егоровичъ, улыбаясь, слушалъ ихъ, ласкалъ и въ то же время думалъ о чемъ-то другомъ.

Жена уѣхала на весь день повидаться съ сестрой и сказала, что вернется только къ обѣду.

— Ну, ступайте, играйте, — сказалъ онъ дѣтямъ, а самъ сѣлъ возлѣ камина и сталъ глядѣть въ огонь.

Ему казалось, что огонь неудержимо несется кверху по стоящимъ полѣньямъ, точно льется куда-то ввысь безпрерывнымъ потокомъ, а полѣнья обугливаются, шевелятся и осѣдаютъ.

„И скоро не останется ничего—ни дровъ, ни огня“,—думалъ Иванъ Егоровичъ, думая въ то же время другую думу—о жизни, о той далекой порѣ, когда онъ былъ юнъ, безпеченъ и здоровъ, и даже красивъ.

Онъ былъ красивъ, это онъ знаетъ. Очки съ толстыми стеклами онъ тогда еще не носилъ и глядѣлъ на людей ясными хорошими глазами, былъ строенъ и гибокъ, былъ смѣлъ, и много бѣлокурыхъ и черноволосыхъ женскихъ головокъ думало о немъ въ то время и вырабатывало хитрые планы какъ обороны, такъ и нападенія, не отказываясь въ концѣ концовъ отъ сдачи.

„Женское нападеніе не страшно, да и не интересно,—думалъ Соколовъ, увлекаясь воспоминаніями,—а вотъ женская оборона—это другое дѣло!“

Онъ всталъ и началъ шагать изъ угла въ уголъ, заложивъ руки за спину и глядя сквозь очки на мелкіе квадраты паркета. Въ памяти его возникло нѣсколько образовъ, сверкнуло нѣсколько паръ глазъ—и онъ улыбнулся имъ, какъ старымъ друзьямъ.

„Милое было время!.. Сколько труда, ловкости, изобрѣтательности и сколько характера тратилось въ свою пору на этихъ тоже изобрѣтательныхъ и коварныхъ созданій!“

Потомъ онъ потрогалъ себя по мягкимъ бокамъ, провелъ по стриженой головѣ, пропустилъ сквозь пальцы бороду и опять вздохнулъ, но уже безъ улыбки.

„Да, сорокъ лѣтъ не то, что двадцать пять!“—глубокомысленно рѣшилъ онъ, точно никто и никогда ранѣе его не додумывался до этого.

Онъ стоялъ опять передъ каминомъ и глядѣлъ въ огонь, а въ душѣ его возникали снова образы, милые, забытые, которые украшали жизнь и дѣлали ее, хотя въ прошломъ, радостной и заманчивой.

Незамѣтно для самого себя, онъ перешелъ въ разсѣянности отъ камина къ библіотекѣ, остановился передъ корешками книгъ и глядѣлъ на ихъ темный и желтый сафьянъ, на красный и синій коленкоръ, на ихъ золоченыя надписи, думая все о томъ же и испытывая приливъ нѣжности къ прошлому и невозвратному. Его разсѣянный взглядъ остановился вдругъ на корешкахъ Пушкинскихъ книгъ, и ему вспомнилось:

...Да здравствуютъ нѣжныя дѣвы
И юныя жены, любившія насъ!...

Это отвѣчало его настроенію, и онъ вынулъ томъ, быстро отыскалъ это стихотвореніе, прочиталъ его медленно и съ удовольствіемъ, а затѣмъ началъ разсматривать портретъ поэта, любуясь его глазами, кудрями и высокимъ лбомъ.

Думая о Пушкинѣ, Иванъ Егоровичъ, не выпуская изъ рукъ книгу, легъ на диванъ.

„Скрещиваніе расъ даетъ иногда выдающихся людей, — пришло ему на мысль. — Почемъ знать: не будь у него предка—негра...“

Теченіе его мыслей было прервано дѣтскими голосами, кликавшими изъ сосѣдней комнаты бонну:

— Ванда Осиповна!.. Ванда Осиповна!..

„Негръ“ и „Ванда“, эти оба слова, въ связи между собою, разомъ подняли Соколова съ дивана. Онъ вскочилъ и растерянно зашепталъ:

„Ванда... Негръ... Бѣлый негръ...“

Въ одно мгновеніе, точно фейерверкъ съ сотнями разноцвѣтныхъ огней, сверкнули въ его памяти сотни картинъ: люди, лица, садъ, комнаты, поцѣлуи, слезы, шампанское... И сердце его забилось часто.

Онъ стоялъ, пытаясь собрать мысли, и чувствовалъ странную легкость, веселость и словно возвратившуюся молодость.

„Бѣлый негръ,—повторялъ онъ, улыбаясь.—Какъ я тебя ненавидѣлъ когда-то!.. Гдѣ ты теперь? Каковъ? Живъ-ли?..“

Въ памяти его возникъ образъ бѣлокураго юноши, лѣтъ двадцати, съ мелко-курчавыми волосами, съ чуть выступающими челюстями, съ широкимъ и короткимъ носомъ, съ дерзкими, своенравными глазами. Возникъ и другой образъ—кроткой дѣвушки, тоже бѣлокурой, съ тревожнымъ взглядомъ ясныхъ и добрыхъ глазъ.

Иванъ Егоровичъ пытался вспомнить, какъ ихъ звали, но въ памяти удержалось только: Ванда и Бѣлый негръ.

Лѣтъ пятнадцать тому назадъ, если не больше, онъ зналъ ихъ. Ванда умерла въ тотъ же годъ, а Негра онъ потерялъ изъ виду.

Воспоминаніе о нихъ въ такую минуту унынія взволновало Ивана Егоровича, но онъ обрадовался имъ, какъ пріятелямъ, пришедшимъ навѣстить его.

III.

Иванъ Егоровичъ оглянулся на много лѣтъ назадъ. Вспомнилъ губернскій городъ, гдѣ онъ въ то время жилъ, вспомнилъ затихавшія въ себѣ муки обманутой любви, вспомнилъ и садъ „Тиволи“, куда часто ходилъ онъ слушать оперу или оперетку. На открытой сценѣ въ саду пѣлъ хоръ. Всѣ хористки, или какъ называли ихъ тогда—арфистки, были ему знакомы и считали его за своего, потому что денегъ у него было немного, а самъ онъ былъ простой, молодой и умѣлъ хорошо играть на рояли.

Вспомнилась ему и Ванда, грустная миловидная дѣвушка, одна изъ хора. Какъ и всѣ онѣ, Ванда одѣвалась въ черное платье, накидывала черезъ плечо

широкую національную ленту и до утра пѣла на эстрадѣ и гуляла по саду. Она никогда не интересовалась гостями, ни ихъ ужинами, ни бутоньерками, ни конфетами; она оберегала себя отъ всякихъ излишествъ и удовольствій.

— Жизнь скупа на счастіе,—говорила она иногда.— Счастіе нужно страшно беречь.

„Милая Ванда, — подумалъ Иванъ Егоровичъ, углубляясь въ воспоминанія. Какъ ты любила этого мальчишку! Какъ онъ оскорблялъ тебя“!

„Бѣлый негръ“ служилъ въ кордебалетѣ. Даже и теперь, по прошествіи многихъ лѣтъ, Соколовъ не могъ удержаться отъ недружелюбной мысли.

Онъ ненавидѣлъ его въ свое время за все: за негритянскій профиль, за свѣтлые курчавые волосы, за дерзкіе глаза, за толстыя красныя губы, за непонятную, ничѣмъ необъяснимую власть надъ Вандой. Точно сейчасъ онъ слышитъ его крикливый повелительный голосъ:

— Ванда! поди сюда!

И Ванда шла, бросая все, что бы она ни дѣлала. Ея мысли всегда принадлежали ему. Она сама сознавалась, что чувствуетъ его приближеніе, еще не видя его. Какъ покорно она шла на его зовъ, такъ же покорно отходила, когда онъ приказывалъ ей, не объясняя причинъ:

— Ступай!

Она вѣрила ему, хотя всѣ знали, что онъ измѣняетъ ей. Она вѣрила ему слѣпо, охраняя этой вѣрой свое маленькое счастіе.

Вспомнить обо всемъ этомъ было пріятно Ивану Егоровичу, но вмѣстѣ съ тѣмъ чувство стыда, чувство отвѣтственности щемило ему сердце. Онъ тяжело и протяжно вздохнулъ.

— Бѣдная Ванда!

Онъ не помнилъ теперь, почему, но зналъ, что онъ и Ванда подружились и были откровенны. Онъ изли-

валъ передъ нею свое острое горе, говорилъ о своей неудачной любви, а Ванда съ трепетомъ сообщала ему, что счастіе ея такъ велико, что потерять его—значитъ умереть. Иногда она даже плакала о томъ, что счастье человѣка всегда непрочно.

— Бѣдная, милая Ванда!—вздохнулъ Соколовъ и мысленно спрашивалъ себя, почему никогда, за цѣлый рядъ лѣтъ, онъ не разговаривалъ съ своей женой ни такъ просто, ни такъ сердечно.

Онъ сѣлъ за письменный столъ, взялъ снова Пушкина и началъ опять разглядывать его портретъ.

— Ты человѣкъ съ большой душой,—обратился онъ къ поэту, стараясь мысленно произносить каждое слово ясно и опредѣленно, какъ произносятъ рѣчи. Некому мнѣ разсказать про себя... А съ тобою я подѣлюсь, Александръ Сергѣевичъ.

И, держа передъ собой портретъ, Соколовъ началъ беззвучно шептать, какъ будто читая про себя дневникъ или письмо:

— Вотъ что я сдѣлалъ съ этой несчастной Вандой.

Онъ не успѣлъ сказать еще и этого, а въ памяти его уже возникла Ванда такою, какою онъ видѣлъ ее всего одинъ разъ въ жизни. За тесовой перегородкой, позади эстрады, гдѣ никого въ это время не было, она бросилась къ нему на грудь. Онъ, ничего не понимая, гладилъ ее по волосамъ, цѣловалъ ее въ голову и что-то говорилъ, о чемъ-то спрашивалъ, а она въ отвѣтъ только тихо рыдала и приговаривала:

— Я знала!.. я знала... Счастье непрочно.

Негръ измѣнилъ ей, на ея же глазахъ. Съ свойственной ему дерзостью онъ крикнулъ Вандѣ, не выпуская изъ объятій другую:

— Поди къ чорту!

Оскорбленная и уничтоженная Ванда тихо ушла отъ него, не сказавъ ни слова.

— Дурное чувство руководило мною,—продолжалъ

Иванъ Егоровичъ, обращаясь къ портрету.—Одновременно я отплатилъ двоимъ: и той, которую я любилъ, и негру... Я увезъ Ванду изъ сада. Она молча повиновалась всему. Мы провели съ нею бурную сумасшедшую ночь. Мы мстили бѣлому негру, она—за муки, за поруганное счастье, а я—за его увѣренность въ себѣ, за свѣтлыя кудри, за толстыя плотоядныя губы, за то, что онъ былъ хуже меня, но сильнѣе, за то, что онъ могъ, если-бъ только захотѣлъ, сію же минуту свистнуть призывно,—только свистнуть за дверью—и Ванда, виноватая и покорная, бросилась бы на его зовъ. Она задушила бы меня за то, что трепетала въ моихъ объятіяхъ, за то, что съ нею былъ я, а не онъ. Она была вся его, вся въ его власти. И я это зналъ. Я негодовалъ, я одержимъ былъ какимъ-то бѣшенствомъ. Но я торжествовалъ надъ негромъ!.. Въ той комнатѣ, гдѣ мы были, стояло піанино, и я, бравируя побѣдой, сѣлъ и на мотивъ куплетовъ Мефистофеля запѣлъ первый попавшійся наборъ словъ:

Николашка бѣлый негръ
Волю неба презираетъ.
Тебѣ Ванда измѣняетъ,
Николашка бѣлый негръ!

И мы оба смѣялись надъ этимъ куплетомъ. И смѣхъ ея былъ громкій и истеричный. Мы понимали другъ друга.

— Перестань,—вдругъ сказала она, и, желая быть на этотъ разъ непремѣнно вульгарной, добавила съ крикомъ: „Ну его къ чорту!“ И сама испугалась вульгарности своей и заплакала.

— Перестань!... Милый!... Перестань!—умоляла она меня тихимъ трепетнымъ голосомъ, а я, стуча по всей клавіатурѣ, съ еще большимъ азартомъ продолжалъ припѣвъ:

Николашка бѣлый негръ!
Николашка бѣлый негръ!...

— А будь онъ проклятъ!—простонала она и уткнулась лицомъ въ подушку.

Я замолчалъ.

Въ комнатѣ стало тихо, такъ тихо, что мнѣ сдѣлалось жутко, словно я только-что убилъ человѣка и гляжу на его трупъ, еще теплый.

Вскорѣ Ванда забылась и даже заснула. Я глядѣлъ на нее не сводя глазъ. Она лежала, бросивъ кое-какъ руки, утомленная, красивая, несчастная. Ея платье было разбросано по креслу, на коврѣ валялись ея башмаки и, казалось, гдѣ-то тутъ же валялось и вырванное, выброшенное сердце.

Недопитое вино еще искрилось въ стаканахъ, горѣли въ канделябрахъ свѣчи, а за окномъ, за бѣлой занавѣской брезжило уже утро.

Свѣтало.

Я глядѣлъ то на занавѣску, то на свѣчи, то на спящую Ванду, и любовался ею, и сознавалъ весь ужасъ этой несчастной ночи, полной безумствъ. Я тихо всталъ и подошелъ къ Вандѣ. Я осторожно накрылъ ее одѣяломъ и опять сѣлъ въ кресло. Я взялъ недопитый стаканъ—ея стаканъ—и сталъ пить изъ него, даже не пить, а только макать губы въ эту душистую влагу. Никогда не было такъ пріятно вино, никогда не было оно такъ ароматно.

Не помню, какъ это случилось, но я тоже заснулъ, сидя въ креслѣ.

Когда я открылъ глаза, было все то же: разсвѣтъ за окномъ, свѣчи догорали, вино стояло недопитымъ, только постель была прибрана и покрыта, все было приведено наскоро въ порядокъ. Но Ванды уже не было въ комнатѣ. И я понялъ, что она ушла, чтобъ никогда со мной не встрѣчаться.

Одинокимъ почувствовалъ я себя тогда въ этой комнатѣ. Я погасилъ свѣчи, но темнѣе не стало. Я отдернулъ занавѣску и распахнулъ окно. Свѣжій утренній

воздухъ обвѣялъ мое лицо. Въ небѣ не было уже звѣздъ, но не было и солнца, не было еще и зари. Все спало—городъ и люди, и птицы. Казалось, спала и сама жизнь, а надъ нею возникалъ блѣдный разсвѣтъ, ровный и ни на что не налагавшій красокъ, и только одинъ я, тоже блѣдный и одинокій, глядѣлъ на него.

Ванда ушла... Даже не простилась со мною. И я понималъ, что это такъ и нужно, что это даже лучше.

И съ тѣхъ поръ я не видѣлъ ея. Слышалъ вскорѣ, что она уѣхала въ Ревель и тамъ умерла".

Ивану Егоровичу было грустно и въ то же время хорошо и легко. Чувство неправоты своей передъ Вандой щемило его сердце, а вѣяніе молодости бодрило и ласкало его. И знакомый мотивъ, и безсмысленныя слова пѣсни вспоминались ему, почти звучали какъ въ ту ночь, и видѣлась на постели спящая дѣвушка, и Соколову захотѣлось еще ближе коснуться былого: сыграть на рояли и спѣть, какъ тогда. Онъ вышелъ изъ кабинета и увѣренными шагами направился въ залу.

Тамъ никого не было.

Онъ сѣлъ, попробовалъ клавиши и, полный воспоминаніями, окруженный живыми образами, заигралъ и запѣлъ, пользуясь одиночествомъ:

Николашка бѣлый негръ
Волю неба презираетъ...

и въ увлеченіи продолжалъ уже полнымъ голосомъ, раздававшимся по всей квартирѣ:

Тебѣ Ванда измѣняетъ
Николашка бѣлый негръ!

Въ это время дверь, возлѣ которой онъ сидѣлъ, отворилась.

Глаза Ивана Егоровича встрѣтились съ чьими-то другими глазами.

Руки его опустились, и самъ онъ весь похолодѣлъ.

Странные, печальные, умоляющіе глаза сверкнули передъ нимъ на одно мгновеніе,—знакомые глаза.

И дверь затворилась.

IV.

Когда вернулась къ обѣду жена, Иванъ Егоровичъ лежалъ на диванѣ ничкомъ, ссылаясь на головную боль.

— Какая непріятность,—сказала Анна Васильевна,—ты знаешь, наша бонна уходитъ.

Соколовъ ничего не отвѣтилъ.

— Она получила сейчасъ телеграмму, что въ Ревелѣ умерла ея мать, и она сейчасъ же должна ѣхать.

Соколовъ молчалъ.

— Такъ обидно, такъ обидно!—продолжала она.—Теперь опять нужно искать новаго человѣка. И Ванду Осиповну мнѣ жаль: она такъ убита!

Черезъ полчаса Иванъ Егоровичъ сидѣлъ у окна и глядѣлъ на улицу. Шелъ дождь, было грязно, туманно и сѣро. Онъ видѣлъ, какъ остановился у воротъ извозчикъ, какъ вышла и сѣла въ пролетку худая истомленная женщина съ небольшимъ узломъ, и извозчикъ поѣхалъ.

— Куда?—спрашивалъ себя Иванъ Егоровичъ, глядя въ сѣдыя дождливыя сумерки.—Куда?

Точно въ отвѣтъ себѣ, онъ вспомнилъ изъ писемъ бабушки: „замѣтно, что человѣкъ долго не видалъ ни теплаго угла, ни теплаго обѣда“.

Ему ясно представились мокрыя улицы, сѣрое непривѣтливое небо, надвигающаяся холодная ночь и одинокая безпріютная дѣвушка, немолодая, обиженная.

— Куда она дѣнется?

И ему самому хотѣлось куда-то уйти; уйти изъ этихъ стѣнъ, отъ теплаго камина, отъ сытой, спокойной жизни.

— Куда?—спрашивалъ онъ себя.—Куда?

И не находилъ отвѣта.

ЦВѢТОКЪ ПАПОРОТНИКА.

(Лѣтняя сказка).

I.

Въ ночь на 24-е іюня, когда въ травѣ и подъ кустами, на пняхъ и на листьяхъ свѣтятся ивановскіе червячки, словно крошечныя звѣзды, упавшія на землю, въ ту единственную ночь, когда лѣсной папоротникъ зацвѣтаетъ волшебнымъ огненнымъ цвѣткомъ, возвращался съ пирушки въ свое село дьячокъ Терентій Васильевичъ.

Было тихо и душно. Приближалась полночь. Небо заволоклось тучами; но лѣтнее небо не бываетъ черно; пыльная колеистая дорога пролегала по лѣсной опушкѣ и была видна далеко впереди.

Заломивъ на затылокъ картузъ и безцѣльно размахивая палкой, дьячокъ шелъ не очень торопливыми и не очень вѣрными шагами, то стараясь удержать въ головѣ разбѣгавшіяся мысли, то желая освободиться отъ всякихъ думъ. Тогда онъ тяжело и рѣшительно взмахивалъ рукой, точно кого-то отгоняя, и принимался орать дикимъ голосомъ на-распѣвъ:

— Ска-жи мнѣ, Го-спо-ди, коп-чи-ну мою!

И когда голосъ его вспугивалъ сову или летучую мышь, онъ вызывающе кричалъ вслѣдъ:

— Кого убоюся?

Иногда онъ останавливался въ раздумьѣ и поворачивалъ голову, грустно глядя назадъ въ темноту, на пройденный путь. Лицо его съ узкими заплывшими глазами и рѣденькой желтой бородкой пылало и лоснилось, будто вымазанное теплымъ саломъ, а въ мысляхъ была такая путаница, что Терентій Васильевичъ чувствовалъ, какъ отъ множества думъ шевелятся въ его головѣ мозги.

— Есть ли нечистая сила на бѣломъ свѣтѣ?—горько и страстно вопрошалъ онъ самого себя.—Или все это только такъ... одни разговоры?.. Требую отвѣта!

Но, вслушиваясь въ ночное эхо, онъ не удовлетворялся, и вопросъ для него оставался нерѣшеннымъ. Тогда онъ опять вскрикивалъ на весь лѣсъ, точно спрашивая у ночи и сумрака:

— Гдѣ она, нечистая сила?!

По-прежнему было темно и глухо въ лѣсу.

— Нѣту?—задорно спрашивалъ Терентій Васильевичъ, не рѣшаясь однако заходить въ чащу.—Ну нѣту, такъ нѣту!—На нѣтъ—и суда нѣтъ. А жалко... Я бы его, окаяннаго... Я бы его... Эхъ!

Въ огорченіи онъ сильно махнулъ рукою, отчего едва устоялъ на ногахъ, и, спотыкаясь и пошатываясь, побрелъ дальше, угрожая кому-то лѣвымъ кулакомъ.

Онъ зналъ, что вскорѣ будетъ фабрика съ длинной кирпичной трубой, откуда раннимъ утромъ долетаетъ до него настойчивый протяжный гудокъ, точно трубитъ архангелъ передъ свѣтопреставленіемъ. Потомъ будетъ шоссе, а потомъ село и церковь Преображенія. Ничего иного ему и знать не хотѣлось.

Не торопясь, мало-по-малу, онъ миновалъ лѣсъ и вышелъ къ берегу рѣки.

Надъ водой стоялъ прозрачный туманъ въ странныхъ неуловимыхъ формахъ; мѣстами онъ былъ похожъ на сказочный городъ, мѣстами походилъ на длинную вереницу лебедей, безшумно улетающихъ въ пу-

стынную даль, а мѣстами казалось, будто изъ глубины вставалъ сѣдой царь воды, въ бѣлой воздушной мантіи, съ протянутыми руками...

— Хорошо!—похвалилъ Терентій Васильевичъ, чувствуя какъ туманъ обвѣваетъ прохладой его пылающее лицо.—Хорошо освѣжиться!

Онъ поглядѣлъ на траву, медленно опустился въ нее и началъ неспѣша обшаривать свои карманы, нащупывая въ нихъ табакъ.

„Чего ее бояться, нечистую силу?—храбро думалъ онъ, свертывая папироску, которая словно нарочно все развертывалась.—Нечистый креста боится. Ужъ я бы его закрестилъ, только попадись онъ мнѣ, рожа свиная! Я бы на немъ залетѣлъ куда воронъ костей не носилъ, куда Макаръ телятъ не гонялъ... Я бы его осѣдлалъ, нечистаго духа!..“

Страстный охотникъ поспорить, Терентій Васильевичъ съ удовольствіемъ вообразилъ, что съ нимъ кто-то сейчасъ несогласенъ.

— Вы несогласны?—спрашивалъ онъ вслухъ, продолжая закручивать папироску.—Вы утверждаете, что нечистаго нѣтъ на свѣтѣ?.. Хорошо!.. Однако, посмотримъ, что вы теперь будете мнѣ говорить.

Не родился еще такой человѣкъ, который въ спорахъ одержалъ бы верхъ надъ Терентіемъ Васильевичемъ. По понедѣльникамъ, когда у него обыкновенно трещало въ головѣ, онъ такъ вразумительно доказывалъ вредъ и пагубу водки, и такъ неотразимо убѣждалъ по воскресеньямъ въ необходимости выпить, что всѣ удивлялись. Попадаясь даже на глаза своей супругѣ, которая въ этихъ случаяхъ не жалѣла ни его спины, ни волосъ и совсѣмъ не цѣнила его дарованій, онъ даже и ей умѣлъ доказывать всю несправедливость отношеній къ его трудовой жизни, хотя всѣ эти доказательства нисколько и не вліяли на жену, и она съ женской жестокостью продолжала дѣлать свое жен-

ское дѣло. Но у Терентія Васильевича на словахъ выходило всегда какъ-то такъ, что если бъ онъ сегодня не выпилъ лишняго, то многимъ отъ этого было бы очень и очень плохо.

— Вы утверждаете, стало быть, что нечистаго нѣтъ?—продолжалъ онъ свой воображаемый споръ.— Ну, а какъ же это, по писанію-то, Іоаннъ Новгородскій чорта въ рукомойникѣ закрестилъ? Что вы можете на это отвѣтить?.. А какъ же это, позвольте спросить, Іоаннъ Новгородскій въ Старый Іерусалимъ на этомъ чортѣ съѣздилъ между утреней и обѣдней въ Свѣтлый день, да изъ Іерусалима привезъ просфору? да еще на-лету клобукъ потерялъ — вонъ какъ скоро летѣли!.. Ага?! Стало быть, есть нечистый на свѣтѣ. И не только въ папоротникѣ можетъ явиться, но даже вотъ въ этой самой папироскѣ, если захочетъ... Однако его возможно закрестить, и тогда его дѣло— дрянь.

Терентій Васильевичъ чиркнулъ сѣрною спичкой о сапогъ, и когда та вспыхнула и затлѣлась, загородилъ ее руками и приникъ къ ней папиросой, сдѣлавъ сердитое лицо. Огонь на минуту озарилъ его сощуренные глаза, сдвинутыя брови, носъ и усы.

— Я бы его отучилъ по свѣту болтаться... Я бы его, рожу свиную... Я бы его, нечистаго духа...

Заложивъ подъ голову руки, дьячокъ растянулся на травѣ во весь ростъ и зажмурилъ глаза. Отъ табаку въ головѣ у него совсѣмъ помутилось.

— Я бы его,—бормоталъ Терентій Васильевичъ.—Я бы ему...

Долго ли такъ пришлось пролежать, дьячокъ не замѣтилъ, но когда онъ открылъ глаза, то увидалъ, что на самомъ крутомъ мѣстѣ берега, гдѣ росла ежевика, вдругъ что-то вспыхнуло и засвѣтилось.

— Э-ге! — радостно подумалъ Терентій Васильевичъ. — Папоротникъ?!.. Ну, теперь, голубчикъ, ты

у меня не уйдешь. Теперь я тебя сію минуту сцапаю!"

Стараясь не шумѣть, онъ слегка приподнялся и, стащивъ съ головы картузъ, прочертилъ на немъ крестъ-накрестъ сѣрною спичкой.

— Теперь я тебя сцапаю!

Онъ весело глядѣлъ на картузъ, по которому среди ночного сумрака слабо мерцали дымящимся зеленымъ огонькомъ двѣ скрестившіяся полоски, и думалъ:

„Теперь не уйдешь!.. Снесу по утру въ алтарь, тамъ ты у меня завертишься, нечистая сила!"

Не отводя глазъ отъ папоротника, на которомъ вспыхнулъ огненный цвѣтокъ, Терентій Васильевичъ осторожно поднялся на ноги, половчѣе взялъ въ руку закрещенный картузъ и началъ подкрадываться къ берегу какъ кошка. Не доходя двухъ шаговъ, онъ вдругъ подпрыгнулъ и — что было духа — рванулся впередъ.

Все это случилось въ одно мгновеніе.

Цвѣтокъ не успѣлъ еще и погаснуть, какъ Терентій Васильевичъ съ разбѣга взмахнулъ надъ нимъ картузомъ и, ударяя изо всѣхъ силъ, закричалъ во все горло:

— Аминь, аминь—разсыпься!

Но, потерявъ равновѣсіе, промахнулся.

Затрещали прибрежные кусты, посыпался съ кручи песокъ—и Терентій Васильевичъ со всего размаха полетѣлъ головою внизъ—въ рѣку.

II.

Какъ только онъ попалъ въ воду, сейчасъ же почувствовалъ холодъ и дрожь; потомъ ему сдѣлалось душно; потомъ вода залилась въ носъ и въ ротъ, на-

полнила все горло, весь желудокъ и остановилась подъ сердцемъ; Терентій Васильевичъ поперхнулся, закашлялъ и, недолго побарахтавшись руками и ногами, обезсилѣлъ и какъ камень пошелъ ко дну.

„Вотъ такъ оказія!"—было его первою мыслью.

Онъ чувствовалъ себя все тѣмъ же прежнимъ Терентіемъ Васильевичемъ и съ недоумѣніемъ и страхомъ глядѣлъ на другого Терентія Васильевича, безгласнаго и недвижимаго.

„Вотъ такъ исторія",—подумалъ онъ опять, соображая, въ чемъ суть:—Вотъ оно что значитъ по Писанію: душа и тѣло!..

Онъ нѣсколько растерялся и даже струсилъ. Потомъ оглянулся, и струсилъ еще больше: на него глядѣла какая-то скверная рожа и улыбаясь говорила:

— Здравствуйте!

Терентій Васильевичъ, еще при жизни, считалъ себя человѣкомъ неглупымъ, находчивымъ и способнымъ выйти сухимъ изъ воды. Сколько разъ, развалившись на свѣжемъ пахучемъ сѣнѣ, онъ мечталъ о томъ счастливомъ времени, когда судьба пошлетъ ему случай проявить свои силы и таланты. Мечтанія для него были сладкимъ отдыхомъ, они наполняли его душу радостью, бодрили его и волновали кровь. Нерѣдко онъ фантазировалъ: случись, напримѣръ, нашествіе враговъ на родину,—онъ явился бы передъ войскомъ, повелъ бы его на непріятеля, побѣдилъ бы его непремѣнно, потомъ попался бы въ плѣнъ, гдѣ его стали бы мучить, а онъ убѣжалъ бы однажды. Или случись гоненіе на вѣру,—онъ постоялъ бы и здѣсь. Или случись какой-нибудь судъ или слѣдствіе,—Господи! сколько удовольствія было бы для Терентія Васильевича! Какъ попало бы отъ него обвинителю, и предсѣдателю, и даже защитнику! Лежа на сѣнѣ, онъ весь отдавался любимымъ мечтаніямъ, но такъ какъ онъ до сего дня не былъ замѣшанъ ни въ какомъ дѣлѣ, то приходилось

поневолѣ выдумывать какую-нибудь небывалую исторію, воображать себя передъ грознымъ исправникомъ, передъ судьями и прокурорами и отъ души ругаться съ ними, забрасывая ихъ текстами изъ Писанія. Мечтая, онъ представлялъ себя вездѣсущимъ героемъ, такимъ героемъ, котораго можно убить и замучить, но переспорить котораго — невозможно. Онъ такъ увлекался своимъ краснорѣчіемъ, что отгонялъ и переламывалъ сонъ, и все мечталъ и спорилъ, пока не наступало время взлѣзать на колокольню и ударять къ заутренѣ.

Никогда Терентій Васильевичъ не ожидалъ, что можетъ струсить, однако теперь, увидѣвъ скверную рожу, смутился и оробѣлъ, и чуть не испортилъ дѣла: развѣ мыслимо передъ чертями или передъ начальствомъ показывать свой страхъ? Только покажи, что боишься— потомъ отъ нихъ и не отдѣлаешься.

— Гдѣ тутъ дорога—прямо въ рай?—спросилъ онъ дѣловымъ тономъ.

— Кому въ рай, за тѣми ангелы посылаются,—ехидно отвѣтила скверная рожа.—А вамъ, Терентій Васильевичъ, не угодно ли пожаловать съ нами!

— Зачѣмъ же съ вами?—возразилъ дьячокъ, однако голосъ его былъ нетвердъ и нерѣшителенъ. — Я, чай, духовнаго званія, вы это примите въ соображеніе.

— Не мое дѣло. Пожалуйте садиться.

Чертенокъ согнулъ спину и дожидался, точно Терентій Васильевичъ желалъ съ нимъ играть въ чехарду.

— Невѣдомо куда не желаю я ѣхать.

— Какъ невѣдомо?

— Тебѣ, можетъ, и вѣдомо, а мнѣ нѣтъ. Да и шутокъ я не люблю. Я человѣкъ дѣловой.

— Садись, садись!—неотступно требовалъ тотъ.

— Сказалъ—не желаю садиться.

Однако Терентій Васильевичъ противъ своей воли растопырилъ вдругъ ноги, и самъ собою въѣхалъ на закорки точно по рельсамъ.

Видя, что ничего не подѣлаешь, онъ проворчалъ, усаживаясь покрѣпче.

— Ну, погоди-жъ ты! Будетъ время, я тебѣ припомню!

Не успѣлъ онъ этого еще и додумать, какъ взвился куда-то вихремъ. Замелькали по пути звѣзды, точно искры изъ-подъ кузнечнаго молота, блеснула и померкла луна, вспыхнула радуга разноцвѣтными огнями и тоже померкла; сыпались только звѣзды среди чернаго холоднаго мрака.

Терентій Васильевичъ хотя и понималъ, что утонулъ, и что душу его несетъ теперь куда-то на закоркахъ чертенокъ, и что отъ этой поѣздки ничего хорошаго не предвидится, все-таки, по старой привычкѣ къ жизни, боялся упасть и на всякій случай держалъ крѣпко за уши того чорта, на которомъ мчался неизвѣстно куда съ неимовѣрной быстротой.

— Дѣло дрянь,—соображалъ онъ, и сколько ни старался придумать себѣ какое-нибудь оправданіе, ничего путнаго не шло ему на умъ.

— Не хорошо, братъ!—сознавался онъ самъ передъ собою.—Не хорошо, Терентій!..

Долго ли, коротко ли пришлось летѣть, дьячокъ не замѣтилъ; только чертенокъ вдругъ остановился и приказалъ слѣзать. Тогда Терентій Васильевичъ на всякій случай сказалъ ему:

— Тпрру!

Хотя онъ и понималъ, что это нѣсколько поздно и безполезно, но, прежде чѣмъ слѣзть и выпустить изъ рукъ его уши, пришпорилъ чертенка пятками въ оба бока и похвалилъ:

— Проворенъ же ты, анаѳема! Вотъ бы тебя нашему уряднику—въ дрожки.

Въ эту же секунду, какъ только онъ слѣзъ, со всѣхъ сторонъ, съ боковъ, сверху и снизу слетѣлось тучей такъ много всякихъ чертей, уродовъ и чертенятъ, что у Терентія Васильевича въ глазахъ зарябило. Его окружили и, не давши опомниться, повели въ палату.

А тамъ стояло вѣчное страшное зарево отъ адскаго пламени; торчали вилы и рога, шипѣли раскаленныя сковороды, ползали змѣи, крутясь, оглядываясь и высовывая жала. По пути къ трону, точно нищіе на паперти, стояла въ два ряда нечистая сила, а на высокомъ черномъ тронѣ сидѣлъ самъ Сатана и грозно глядѣлъ впередъ, не мигая, синими огненными глазами; на груди его висѣла тяжелая цѣпь, въ родѣ той, какую видывалъ Терентій Васильевичъ у земскаго начальника, только вмѣсто герба—на цѣпи качалось адамово яблоко, сдѣланное, должно быть, изъ мѣди.

Вокругъ Сатаны, словно черви, кишѣли дьяволы, демоны, бѣсы и всякая нечисть; рожи корявыя, спины горбатыя, на макушкахъ рога; груди волосатыя, на ногахъ копыта, а черезъ плечи перевиты хвосты, у однихъ какъ у лошади, у другихъ какъ у собаки, а у иныхъ какъ у ящерицы.

— Тьфу!—вымолвилъ Терентій Васильевичъ свое вступительное слово.—Вотъ она какова, нечистая сила!

— Это ты—Терентій Догадкинъ?—раздался мрачный голосъ, отъ котораго дьячокъ даже попятился.—Это ты умеръ безъ покаянія?

Терентій Васильевичъ оглядывался и молчалъ.

— Не отвѣчаешь?.. Эй, черти! Вставьте ему въ бокъ горячія вилы!

— Я, я!—поторопился отвѣтить подсудимый, а самъ подумалъ про Сатану:—Какой серьезный!

— Это ты утонулъ въ пьяномъ видѣ?

Дѣло было, очевидно, имъ всѣмъ хорошо извѣстно, и скрываться не стоило.

— Дѣйствительно, я выпилъ,—сознался дьячокъ,—только утонулъ я вовсе не по собственному желанію. У меня дѣлъ цѣлая куча. А если вы на меня обижаетесь, что я хотѣлъ закрестить нечистую силу, такъ это моя священная обязанность, на то я и псаломщикъ, а не татаринъ!

— Ха-ха-ха-ха!! — разсмѣялся вдругъ Сатана, но мрачно, грозно и безнадежно. И точно эхо, раскатился вокругъ дружный хохотъ всей адской силы; отъ этого хохота вздрогнули даже острыя вилы и грознѣй запшпѣли раскаленныя сковороды.

— Хо-хо-хо-хо!!—грохотало кругомъ Терентія Васильевича, и только мелкіе чертенята подвизгивали трусливо и подло.

— Позвать свидѣтелей!

„Все пропало!“—подумалъ дьячокъ и, не зная, что сдѣлать, покорно опустилъ голову.

Снова поднялся визгъ и вой, и крики:

— Это онъ! Это онъ утопился!

— А ежели онъ,—распалился вдругъ Сатана, засверкавши очами,—то и бросить его, подлеца и пьяницу, въ огненную рѣку на вѣки вѣчные. Быть по сему!

III.

Терентій Васильевичъ обмеръ отъ ужаса, выслушавъ это. Однако какъ только онъ понялъ свое положеніе, то вдругъ вознегодовалъ.

— Все равно!..

Онъ махнулъ рукой и въ свою очередь такъ разсвирѣпѣлъ, хуже самого Сатаны, что страха въ немъ и слѣда не осталось. Онъ затопалъ ногами и пугнулъ чертенятъ, бросившихся къ нему со всѣхъ сторонъ, такими словами, что тѣ на минуту опѣшили.

— Брысь, вы... такіе-сякіе!—крикнулъ онъ имъ во все горло.—Брысь! Я съ самимъ Сатаной желаю считаться. Чего вы мнѣ въ самое рыло лѣзете? Брысь!

Черти переглянулись и въ недоумѣніи поджали хвосты.

Съ Сатаной онъ хотѣлъ быть вѣжливымъ, поэтому, приложивъ къ груди руку, началъ такъ:

— Это вы можете еще и подождать съ рѣкой-то огненной, господинъ Сатана...

Но вдругъ загорячился, потерялъ тонъ и, неожиданно для самого себя, закричалъ на всю палату, какъ становой на базарѣ:

— Что ты здѣсь за судья такой выискался? Что ты мнѣ за владыко?!

Выкрикнувъ это сгоряча, онъ увидалъ, что теперь уже нѣтъ отступленія, что теперь все пропало и что теперь не миновать ему кипятиться въ аду, какъ раку въ котлѣ, а потому, очертя голову, бросился къ подножію трона и ударилъ кулакомъ по нижней ступенькѣ.

— Нисколько ты здѣсь не хозяинъ и не владыко, а просто ты—чортъ и мошенникъ! И на весь твой судъ я чихаю, и никакихъ твоихъ рѣшеній знать не хочу! Вотъ тебѣ и весь сказъ! Вотъ тебѣ и рѣка огненная, вотъ тебѣ и вѣки вѣчные, вотъ тебѣ твои и вилы въ бокъ!.. Нѣтъ, милый, не на того напалъ! Это ты надъ своими чертями командуй, а то надѣлъ цѣпь, да и думаешь, что судья. Чтобъ тебѣ на ней удавиться, проклятому!

Онъ опять ударилъ кулакомъ по ступенькѣ.

— Ничего вы со мной не сдѣлаете. Ежели меня за грѣхи въ рай не пустятъ до поры, до времени, ну, и ладно; подожду. А къ вамъ я все-таки не пойду: пожалуйте послѣ второго пришествія!

Терентій Васильевичъ чувствовалъ вдохновеніе и, не смущаясь, продолжалъ:

— Что я, Писанія что ли не знаю? Въ Писаніи прямо

указано, что судить человѣковъ будешь не ты, да и судить-то ихъ будутъ послѣ второго пришествія. А второе пришествіе было?

Видя, что Сатана озадаченъ, онъ еще повысилъ тонъ:

— Я спрашиваю: было второе пришествіе? Или не было? А?

Онъ подождалъ и опять съ отчаянной твердостью набросился на Сатану:

— Такъ какъ же ты смѣешь меня судить? Да я самъ тебя засужу, козья душа!.. Это кто Писанія не знаетъ, тому заговаривай зубы, а я, милый другъ, не таковъ! Я сію минуту пойду въ твой адъ, да и крикну во все горло:—Эй, грѣшники! Чего вы тутъ кипятитесь? Или Писанія не знаете? Уходите всѣ вонъ отсюда впредь до свѣтопреставленія!.. И уйдутъ, милый другъ. И остановить ихъ не имѣешь ты права, и отъ всего твоего ада получишь—вотъ что!

Онъ показалъ ему полпальца и засмѣялся.

— А тамъ, когда будетъ свѣтопреставленіе, ну тогда твое счастье: подбирай кого слѣдуетъ. А безъ суда, любезнѣйшій, это называется произволомъ. Прощай!

Терентій Васильевичъ повернулся и вышелъ среди общаго молчанія.

Сатана все еще стоялъ съ нахмуреннымъ челомъ и опирался на спинку трона. Теперь Терентій Васильевичъ видѣлъ, что Сатана не что иное, какъ высокій сухощавый человѣкъ, похожій на монаха, весь въ черномъ, съ черной жидкой бородкой и съ темнымъ землистымъ лицомъ; глаза его только сначала казались огненными и синими, а теперь это были обыкновенные человѣчьи глаза, очень грустные и умные.

Тучи чертей тѣснились у подножія, поджавши хвосты. Терентій Васильевичъ оглянулся на нихъ и разочарованно покачалъ головой: всѣ эти бѣсы, гады

и всякая нечисть показались ему такими мелкими, трусливыми и ничтожными, что было даже непріятно глядѣть, точно передъ нимъ столпились мелкіе мошенники, потерявшіеся передъ первымъ твердымъ словомъ.

— Эхъ, вы, мухоморы!—бросилъ онъ имъ свое презрѣніе, и махнулъ на нихъ и отвернулся.

— А тебѣ какой же интересъ грѣшниковъ у меня возмущать?—остановилъ его Сатана.

Терентій Васильевичъ замедлилъ шагъ и, повернувъ черезъ плечо голову, отвѣтилъ въ свою очередь вопросомъ:

— А тебѣ какое удовольствіе ихъ поджаривать да въ котлахъ кипятить?

— Нѣтъ, тебѣ-то какая польза?

— Нѣтъ, тебѣ-то какое удовольствіе?

Сатана задумался.

— Вотъ что, дьячокъ,—сказалъ онъ рѣшительно.—Вижу: переговорить тебя нѣтъ никакой возможности, да и разговаривать съ тобой долго мнѣ некогда. Поэтому—хочешь, или не хочешь, отвѣчай сразу. Предлагаю тебѣ договоръ: мы обязуемся тебя оставить въ покоѣ, а ты обязуешься въ адъ не ходить и никакихъ рѣчей про Писаніе грѣшникамъ не болтать.

— Гм?..—задумался Терентій Васильевичъ.—Вѣжливыя слова пріятно слышать.

— И мнѣ пріятно слышать отъ тебя вѣжливое слово.

— Значитъ, въ аду мнѣ не мѣсто? Значитъ, трогать меня ты не смѣешь?

— Сказано.

— А я твоихъ грѣшниковъ возмущать не имѣю права?

— Сказано.

— А куда же я дѣнусь?

— Иди на свободу. Отыскивай себѣ мѣсто, какое нравится

— Гм?—задумался опять Терентій Васильевичъ.— Дѣло, кажется, подходящее.

— Согласенъ!—сказалъ онъ, торжественно протягивая впередъ руку.

— Согласенъ! —отвѣтилъ Сатана и тоже поднялъ надъ головою ладонь.

— Аминь!—подтвердилъ дьячокъ.

— Аминь!—прокричали свидѣтели.

— Аминь!—закрѣпилъ Сатана.

Они раскланялись другъ съ другомъ, какъ добрые знакомые,—и Терентій Васильевичъ съ удовольствіемъ ушелъ.

Теперь онъ былъ на свободѣ и въ полномъ одиночествѣ.

Вокругъ него былъ только воздухъ, сквозь который виднѣлась вдалекѣ земля со всѣми людьми. Она казалась отсюда обыкновенной площадью, въ родѣ рынка въ торговый день, если глядѣть на него съ колокольни.

IV.

Время летѣло.

Проходили ли это сутки, или года, или столѣтія— разобрать было невозможно. Время мчалось, и шагъ за шагомъ приближался конецъ міра.

Терентій Васильевичъ это понималъ и много разъ пытался найти дорогу туда, гдѣ его судили, но дорога эта была потеряна и ни ада, ни Сатаны найти онъ не могъ. Было противно находиться одному гдѣ-то на небесахъ, или вообще въ незнакомомъ мѣстѣ, гдѣ некого было даже спросить.

— Ну, и порядки!

Онъ устремлялся и туда, и сюда, но всегда и вездѣ былъ одинъ. Его начинало смущать все это. Онъ съ удовольствіемъ вернулся бы теперь въ адъ, если бы

зналъ дорогу, чтобъ добровольно отдаться чертямъ, либо уже такъ наскандалить, несмотря на договоръ, чтобы всѣ грѣшники выскочили съ нимъ вмѣстѣ на волю.

— Былъ случай выручить милліоны людей, а я не выручилъ,—сокрушался Терентій Васильевичъ; здѣшнихъ порядковъ онъ не зналъ, и боялся, какъ бы его за это не записали въ предатели.

Вспоминалось ему и земное дѣло: у него на столѣ остался свертокъ, а въ сверткѣ были бумаги священника. Человѣкъ онъ молодой и горячій—не то, что отецъ Сергѣй, который служилъ въ приходѣ около сорока лѣтъ и котораго Терентій Васильевичъ боялся болѣе, чѣмъ теперь всей нечистой силы и огненной рѣки. Да и всѣ мужики его боялись: бывало, попробуйка дать ему мало—за крестины, или за освященіе новой избы; онъ и пришлетъ угрозу: избу твою я освятилъ, а теперь буду разсвячивать; дитя твое окрестилъ, а теперь буду раскрещивать.

— Это что же такое—разсвячивать?—пугался крестьянинъ.

— А это вотъ что: приду завтра къ тебѣ въ новую избу, надѣну епитрахиль не на грудь, а на спину, вверхъ подкладкой, и въ руки свѣчку кверх-ногами возьму, да и скажу:—не благослови, не-владыко! а дьячокъ запоетъ:—не Господи, не помилуй! А я скажу:—не миръ, не дому, не сему! а дьячокъ подтянетъ:—не аминь! Вотъ ты и понимай тогда какъ хочешь. Да еще и кадило возьму кверх-ногами, да вмѣсто углей положу ладану, а вмѣсто ладану—углей; вотъ тебѣ и освященіе вчерашнее все будетъ испорчено; такъ ты и знай!

Молодой священникъ уже не таковъ, да и крестьяне стали не таковы, особенно молодые. Священникъ, да учительница, да еще какой-то молодой человѣкъ собираютъ ихъ то и дѣло въ лѣсу, и такія слова тамъ говорятся, что со страха волосы встаютъ подъ картузомъ.

И страшно, и любопытно; и послушать хочется, и убѣжать хочется.

И понялъ теперь Терентій Васильевичъ всю правду, которую не понималъ на землѣ, и ужаснулся.

„Ахъ, вы мошенники, мошенники!—подумалъ онъ про двоихъ новыхъ знакомыхъ.—Ахъ, вы жулики! Цѣлый мѣсяцъ вы меня водкой напаивали, а голова у меня старая, слабая... Что я теперь натворилъ изъ-за васъ?..“

Онъ зналъ, что священникъ держитъ какія-то бумаги и прячетъ ихъ въ алтарѣ подъ жертвенникъ.

И онъ эти бумаги стащилъ по просьбѣ новыхъ друзей своихъ. И теперь свертокъ лежитъ у него въ комнатѣ, и завтра его нужно отдать пріятелямъ.

Да какой—завтра!.. Можетъ быть, этому „завтра“ теперь болѣе тысячи лѣтъ!

— Погубилъ я ихъ всѣхъ!—въ горѣ восклицалъ Терентій Васильевичъ.—Своихъ же людей предалъ собственными руками. Ахъ, я животное! Ахъ, я пьяница! Пропилъ я свои мозги, пропилъ я свою душу!.. Какъ все весело началось и какъ печально кончилось... Кабы не эти два жулика, не утонулъ бы я вчера...

И опять это „вчера“ показалось ему такимъ отдаленнымъ, а „завтра“ такимъ безнадежнымъ, что Терентій Васильевичъ поникъ головой и заплакалъ.

И онъ вспомнилъ, что всегда, когда у него проходилъ, бывало, хмель, онъ начиналъ также плакать.

Печальный и одинокій побрелъ онъ по безконечному пространству, сожалѣя, что нельзя удавиться подобно Іудѣ-Предателю.

Вотъ было бы счастье, если бъ всего, что случилось, не было бы на самомъ дѣлѣ! Онъ бѣгомъ побѣжалъ бы домой, чтобъ поскорѣй повиниться передъ священникомъ, отдать ему украденный свертокъ и разсказать всю правду про себя и про своихъ новыхъ, таинственныхъ друзей.

И онъ блуждалъ въ мірѣ потерянный и потрясенный, презираемый даже чертями, которые не желаютъ встрѣчаться съ нимъ,—и это одиночество угнетало его и наполняло презрѣніемъ къ самому себѣ.

V.

Блуждая въ пространствѣ, онъ былъ пораженъ однажды необычайнымъ зрѣлищемъ: откуда-то сверху, куда не дерзалъ онъ еще и заноситься, пробился внезапно широкій лучъ свѣта. Это не былъ рѣзкій и жгучій лучъ, но былъ онъ чистъ и ясенъ и безподобно свѣтелъ, какъ восходящее лѣтнее солнце; онъ не слѣпилъ и не жегъ, а блестящей воздушной дорогой спускался вплоть до земли, и по этой дорогѣ торжественно и плавно опускались на землю крылатые свѣтлые люди въ бѣлыхъ одеждахъ и пѣли, какъ птицы, что-то восторженное и невѣдомое на весь міръ.

Дивно и величественно было ихъ шествіе. Но вдругъ, заглушая ихъ хоръ, раздался продолжительный трубный звукъ, похожій на тотъ гудокъ, который ежедневно въ шестомъ часу утра привыкъ слышать дьячокъ съ сосѣдней фабрики. Только звукъ этотъ былъ громокъ, призывенъ и властенъ, и раздавался на всю вселенную. Онъ исходилъ изъ той таинственной высоты, откуда появился впервые лучъ свѣта.

И когда онъ замолкъ, херувимы и серафимы продолжали свои неслыханные гимны.

И вторично раздался призывный голосъ трубы:

— У-у-у-у!!

И повинуясь этому призыву, внезапно померкло солнце и въ безпорядкѣ посыпались звѣзды, погасая и вдребезги разсыпаясь на лету, а гдѣ-то внизу все шумѣло, рушилось и крутилось въ вихрѣ; видно было отсюда, какъ воды выступали изъ береговъ, затопляя землю; были слышны стоны и вопли, скрежетъ разрушавшихся стѣнъ и горъ, и гулъ бушевавшей воды и вихря.

И вновь заглушая все, въ третій разъ загремѣла архангельская труба, и на зовъ ея стали стекаться со всѣхъ сторонъ человѣческія толпы живыхъ и воскресшихъ, и когда люди заполонили собой все пространство, стѣснившись, и прижимаясь другъ къ другу, раздался громкій повелительный голосъ:

— Братопродавцы и предатели! выходите впередъ!

И увидѣлъ дьячокъ, какъ закишѣла людская масса, выдѣляя изъ себя съ презрѣніемъ немногихъ. И среди этихъ немногихъ онъ узналъ двоихъ, — своихъ недавнихъ друзей, которые его одуряли и погубили.

— Ну-ка, идите, мошенники!—сердито проворчалъ онъ имъ вслѣдъ.

— Ну-ка, пойдемъ, пріятель! — раздался вблизи Терентія Васильевича мрачный знакомый голосъ.

Онъ похолодѣлъ отъ ужаса.

Глядя на него строгими, печальными и умными глазами, снизу восходилъ по лучезарному свѣту чернымъ длиннымъ пятномъ—Сатана, точно паукъ.

— Пойдемъ считаться!

— Развѣ я... предатель?..—хотѣлъ было выговорить Терентій Васильевичъ, но не могъ сказать никакого слова.

— Предатели и братопродавцы,—загремѣлъ снова призывный неотразимый голосъ, исходившій съ небесъ:—Идите первыми на судъ!

Таинственная сила подхватила Терентія Васильевича и, точно перо ураганомъ, повлекла его ввысь, въ ту страшную невѣдомую высь, откуда исходилъ свѣтъ, все дальше и дальше отъ людей, которыхъ онъ не выручилъ изъ лапъ Сатаны, и отъ тѣхъ, которыхъ продалъ за водку, которыхъ предалъ на землѣ наканунѣ своей смерти.

И нечего ему было сказать въ свое оправданіе, и душа его изнемогала передъ ужасомъ безпредѣльной вѣчности.

Предателей ждалъ судъ...

Страшный судъ.

ДОБРОЕ ДѢЛО.

Всю ночь и весь день крутила вьюга, заметая снѣгомъ улицы и крыши домовъ, но городъ, весь сѣдой и угрюмый, смотрѣлъ на вьюгу величественно и спокойно, какъ старецъ-философъ на чужія шалости.

Къ вечеру метель затихла. Стало морозить. Сѣрая сплошная пелена тучъ разорвалась въ мелкіе клочья и быстро разбѣгалась въ разныя стороны, очищая блѣдно-зеленоватое вечернее небо. Закатъ былъ ясенъ и тихъ, и звѣзды загорались весело и ярко, а въ улицахъ сгущались сѣрыя сумерки, и вспыхивали длинными вереницами фонари и освѣщались окна въ домахъ. Сильно морозило. Свѣжій снѣгъ начиналъ скрипѣть и хрустѣть подъ ногами и полозьями. Студеное затишье становилось все красивѣй и таинственнѣй. Въ небѣ стоялъ мѣсяцъ въ громадномъ кольцѣ, туманномъ и золотистомъ, и тѣни отъ домовъ и церквей лежали мглистыми пятнами по бѣлымъ сверкающимъ дорогамъ. На перекресткахъ улицъ, въ морозномъ клубящемся воздухѣ, точно въ пару, закраснѣлись и задымились костры.

На тротуарѣ, подъ окнами огромнаго недостроеннаго дома, темнаго и пустого, стоялъ человѣкъ, по уши обвязанный шарфомъ, въ короткой бархатной курткѣ и мягкой широкополой шляпѣ, надвинутой ниже бровей. Скрываясь за угломъ выдававшагося подъѣзда и переминаясь съ ноги на ногу, онъ стоялъ,

ежась и скрестивъ на груди руки; подъ тужуркой у него, между грудью и скрещенными руками, сидѣло маленькое непонятное существо, закутанное въ лохмотья, съ головой, покрытой ситцевымъ грязнымъ платкомъ; это была обезьяна, дрожавшая отъ стужи вмѣстѣ со своимъ хозяиномъ, у котораго усы и борода заиндевѣли, и онъ казался отъ этого сѣдымъ старикомъ.

— Ху-ху! ху-ху!—громко дышалъ онъ на обезьяну и на свои пальцы, а самъ бойко перебиралъ ногами и притопывалъ, точно плясалъ на одномъ мѣстѣ.

Глухой переулокъ уже давно былъ пустъ. Вдругъ изъ-за угла показалось четверо оборванцевъ; засунувъ руки въ узкіе и холодные рукава, сгорбившись и съежась, подрыгивая ногами и подгибая съ холоду колѣна, они шли несовсѣмъ обычной походкой людей, возвращающихся домой, а тоже какъ-будто приплясывали, иногда хватаясь за уши и за носъ и стараясь согрѣть ихъ закоченѣвшими пальцами. Они шли шибко, почти бѣжали и о чемъ-то спорили между собою.

Когда они приблизились къ стоявшему человѣку, онъ выступилъ изъ-за угла наперерѣзъ имъ, и, вытянувъ впередъ руку, тронулъ осторожно за плечо одного изъ оборванцевъ и быстро заговорилъ что-то на непонятномъ нарѣчіи, всхлипывая и дрожа всѣмъ тѣломъ.

Оборванецъ въ первую минуту отшатнулся, но, вглядѣвшись, молча схватилъ незнакомца за шиворотъ и повернулъ лицомъ къ фонарю.

— Что за фигура?—крикнулъ онъ, поднося къ его носу кулакъ, но сейчасъ же отдернулъ его, потому что крошечная человѣческая рука, темная и сморщенная, высунулась изъ-за пазухи незнакомца и скребнула ногтями по чужому кулаку.

— Что за чортъ?!

— Обжегся?—засмѣялись другіе оборванцы и съ любопытствомъ окружили необыкновеннаго человѣка,

который самъ испугался и, крѣпко сжимая на груди руки, пытался что-то объяснить, но его никто не понималъ.

— Бала-бала!—передразнилъ его оборванецъ.—Говори прямо: что ты за гусь?

Тотъ снова заговорилъ горячо и взволнованно, но опять никто ничего не понялъ.

— Да вѣдь это—Мусью!—догадался кто-то.—Мусью съ обезьяной. Съ нимъ сколько ни бейся, онъ по нашему не пойметъ. А зазябъ, подлецъ... сильно зазябъ. Ты кто такое? Ты вѣдь—Мусью?

Человѣкъ быстро закивалъ головою и, услыхавъ знакомое слово, сталъ улыбаться и снова заговорилъ что-то.

— Ахъ ты лѣшій, лѣшій,—пожалѣлъ его одинъ изъ компаніи.—Ни слова по нашему ты не можешь сказать, а тоже лѣзешь сюда... на этакій то морозъ! Даже вонъ плачешь. А чего плакать?... Ребята!—обратился онъ къ товарищамъ,—сдохнетъ вѣдь человѣкъ-то?..

— Извѣстно, сдохнетъ. Что жъ теперь дѣлать?

Трое пошли впередъ, потому что самимъ было холодно, а четвертый остался. Это былъ высокій дѣтина, лѣтъ двадцати пяти, скуластый, почти безусый, съ широкими плечами и большими сѣрыми глазами, бѣловолосый съ длинными бѣлыми рѣсницами, прозванный товарищами за свой ребяческій видъ—Дитё.

— Мусью!—сказалъ онъ вызывающимъ тономъ, шевеля богатырскими плечами и потирая съ мороза руки.—Ты это брось—ревѣть... Не люблю я, когда передо мной слезу распускаютъ. Брось, говорю! На насъ самихъ однѣ заплаты,—видишь? А никто не реветъ. И ты не смѣй.

Онъ кивнулъ на свои продранныя плечи, на заплатанныя колѣна, на прорѣхи и, указавъ на нихъ, точно на сокровища, съ достоинствомъ спросилъ:

— Понимаешь, Мусью?

Мусью снова закивалъ головой и что-то быстро за-

говорилъ. Онъ тоже указалъ на свою тужурку, на шарфъ, на штиблеты, потомъ махнулъ съ отчаяніемъ рукой и быстро провелъ указательнымъ пальцемъ себѣ по горлу, точно зарѣзавшись.

— А, понимаю,—проговорилъ Дитё,—пришелъ тебѣ значитъ, капутъ?

Услышавъ опять знакомое слово, Мусью еще энергичнѣе закивалъ головой, какъ бы радуясь, что онъ, наконецъ, понятъ. Онъ быстро и нервно заговорилъ, ударяя себя по груди свободной рукой, а другой еще крѣпче прижимая къ себѣ обезьяну.

— Понимаю, понимаю,—съ важностью и съ увѣренностью поощрялъ его Дитё, растирая озябшее ухо.— Обмерзъ ты и жрать тебѣ нечего, и сказать ты можешь только—ху-ху, да ху-ху. Дѣло твое—дрянь, Мусью!.. Самъ виноватъ: не лѣзь, куда не спрашиваютъ. Чего тебя черти къ намъ занесли? да еще въ бархатѣ, да въ штиблетахъ! Сидѣлъ бы дома, дѣло-то лучше!

Онъ ласково взялъ Мусью за плечо и, подмигнувъ глазомъ, показалъ ему пальцами, что приглашаетъ его выпить вина.

— Пойдемъ, Мусью, обогрѣю. Завтра у насъ огромадный праздникъ: зимній Никола и день моего ангела. Пойдемъ, угощу съ именинами. И обезьяну твою погрѣемъ.

И они пошли догонять товарищей.

Дитё пошелъ впереди, а Мусью сзади. Оба они молчали.

Когда въ духотѣ низенькой комнаты, наполненной испареніями и табачнымъ дымомъ, всѣ обогрѣлись и выпили, разговоръ принялъ задушевный характеръ. Мусью оказался худымъ, жиденькимъ человѣкомъ, съ смуглымъ, точно загорѣлымъ, лицомъ и черными какъ сажа, бородой и усами.

— А я думалъ, ты сѣдой!--воскликнулъ Дитё, когда заиндевѣлая борода Мусью оттаяла въ трактирѣ.

Мусью долго и много разсказывалъ о себѣ на непонятномъ никому языкѣ, но его все-таки поняли. Поняли, что его кто-то привезъ въ Россію очень недавно и рѣшили, что привезъ его товарищъ, который пріѣхалъ и умеръ. Поняли это такъ потому, что Мусью о комъ-то вздыхалъ и говорилъ, сморщивъ лобъ: О-о-о!! и показывалъ, какъ кто-то закрылъ глаза и вытянулся.

— Умеръ товарищъ?—переспрашивали его.—Вотъ свинья какая: завезъ тебя къ намъ, а самъ умеръ. Истинная скотина, а не другъ.

— О!—восклицалъ Мусью, воображая, что товарища его хвалятъ или жалѣютъ, и утвердительно кивалъ въ отвѣтъ головой.

— Подлецъ твой пріятель,— подтверждали и собесѣдники.—Ни слова ты по нашему не умѣешь, пропитанія тебѣ нѣтъ да и кому ты нуженъ? Этакъ околѣешь, Мусью. Скоро, братъ, околѣешь.

Обогрѣвшись и повеселѣвъ, обезьяна, освобожденная отъ тряпокъ, то сидѣла на краю стола въ своемъ грязномъ пестромъ казакинѣ съ золотой бахромой, въ зеленыхъ башмакахъ и въ красной съ галуномъ шапочкѣ, то вспрыгивала къ Мусью на плечо, то, стащивъ кусокъ баранки, пряталась подъ тужурку хозяина и оттуда воровато и вмѣстѣ наивно окидывала компанію печальнымъ человѣческимъ взглядомъ. Компанія хохотала, а Мусью улыбался, гладилъ и иногда цѣловалъ ее въ голову и прижималъ къ сердцу.

— А вѣдь Мусью—душа человѣкъ!—восклицалъ то и дѣло Дитё, развалившись на стулѣ и вытянувъ впередъ свои огромныя ноги.—Гляди: точно съ дочерью обращается: жалѣетъ.

А Мусью все что-то разсказывалъ, видимо—печальное и важное. Не то онъ говорилъ о своей родинѣ, не то о судьбѣ, а можетъ быть, о голодѣ и холодѣ. Онъ

прикладывалъ руку къ груди и устремлялъ взоры кверху, точно призывая въ свидѣтели небо, то отрицательно качалъ головой, быстро и многократно причмокивая языкомъ, какъ чмокаютъ на лошадей извозчики, вздыхалъ, махалъ безнадежно рукою, указывалъ на обезьяну, пожималъ плечами и, растрогавшись, утиралъ слезящіеся глаза, и вдругъ опять вытягивалъ впередъ руки, точно улетая на крыльяхъ, и глядѣлъ восторженными глазами въ потолокъ, и что-то тихотихо шепталъ, точно разсказывалъ священную тайну.

— Гляди,—восторгался Дитё, толкая товарищей,— кто у насъ можетъ такъ разговаривать? У насъ орутъ, галдятъ,—безобразіе!—а это что? Мягкость одна!..

— Спеціально разговариваетъ,—подтвердилъ съ одобреніемъ слесарь, одинъ изъ компаніи.—Вотъ ужъ спеціально, такъ спеціально!

— У насъ всякій мальчишка норовитъ первой собакѣ камнемъ спину перешибить,—продолжалъ восхищаться Дитё,—а этотъ вонъ съ обезьяной, какъ съ малымъ ребенкомъ, нянчится. Любитъ!.. Жалѣетъ!.. Самъ голодаетъ, какъ церковная крыса, а первую баранку, небось, надвое, да первый кусокъ ей, а другой себѣ въ ротъ. Душа-человѣкъ! что разговаривать: душа-человѣкъ!

— Человѣкъ спеціальный!—одобрялъ слесарь.— И все у него спеціально выходитъ. Молодецъ, братъ, Мусью! Пей за мое здоровье!

Мусью отхлебнулъ изъ рюмки и, весь передернувшись, замоталъ головой.

— Не любишь?—захохотала компанія, глядя на его гримасы, но Дитё заступился:

— Человѣкъ онъ не нашъ, нечего его и травить. Вотъ что, Мусью,—обратился онъ къ нему:—милый ты человѣкъ, сдѣлай мнѣ удовольствіе, спой по-своему! Утѣшь! А я тебя не оставлю. Не гляди, что я такой, а я тебя

выручу. Не дамъ тебѣ съ голоду поколѣть, ей-Богу, не дамъ! Спой по-своему! Сдѣлай милость!

— А обезьяна пусть спляшетъ,—добавилъ слесарь.—Это у нихъ очень спеціально выходитъ. Мусью! Пой!

— Пой, Мусью!—восхитились всѣ.—Мусью! Валяй!

Мусью глядѣлъ на нихъ печальнымъ взглядомъ, полнымъ вопроса и недоумѣнія. Видя, что всѣ отъ него чего-то хотятъ, онъ не понималъ ихъ и спрашивалъ взглядомъ: чего имъ нужно. И они не понимали его, только кричали, махая руками:

— Мусью! Валяй!

Дитё догадался. Онъ всталъ, схватилъ руками обезьяну и заставилъ ее попрыгать по столу, давая этимъ понять объ общемъ желаніи, а самъ, увлекаясь, кричалъ:

— Пой, Мусью!.. Пой по-своему!

— О!—отвѣтилъ Мусью, улыбаясь, и постучалъ пальцемъ по столу; потомъ что-то шепнулъ обезьянѣ, и она подъ его пѣніе, тихое и монотонное, встала, подняла обѣ передніе лапы и закружилась, присѣдая, подъ общій восторгъ и хохотъ.

— Вотъ спасибо! Ай да Мусью! вотъ молодчина!—восклицали всѣ.

— Ну, и спеціально!—восхищался слесарь.

Только Дитё стоялъ молча и глядѣлъ угрюмо на обезьяну. Сердце его распалялось въ ожиданіи чего-то другого, болѣе новаго и болѣе важнаго, а не того, что происходило.

— Околѣвать, что-ль, теперь человѣку?!—вдругъ закричалъ онъ, продолжая свои думы.—На морозъ ихъ, что ль, а? И его, и обезьяну? А?.. Черти проклятые!—негодовалъ онъ на кого-то, угрожая стѣнѣ кулакомъ.—Сказалъ, не отдамъ,—и не отдамъ! Выручу, Мусью, тебя, будь покоенъ!

Лихо выплеснувъ въ ротъ стаканъ водки, Дитё кряк-

нулъ и не сказалъ болѣе ни слова, только поднялъ кулакъ, нескладный и толстый, и угрожающе потрясъ имъ снова надъ головой. Потомъ ласково обратился къ Мусью:

— Спой, милый, по-своему. Спой!..

Обезьяна уже сидѣла вновь на колѣнахъ хозяина, оглядывая присутствующихъ все тѣмъ же печально-вопросительнымъ взглядомъ, похожимъ на взглядъ человѣка, недовѣрчиваго и безсильнаго.

Отхлебнувъ изъ стакана жидкаго горячаго чая, Мусью вытеръ усы и закрутилъ ихъ кверху двумя стрѣлками, потомъ проговорилъ компаніи что-то ласковое, обнадеживая мягкими жестами, и тихо запѣлъ любимую пѣсню своей страны: о бѣдномъ молодомъ рыбакѣ и о жестокой холодной красавицѣ. Онъ не оралъ и не возвышалъ голоса, такъ что его не было бы слышно даже въ сосѣдней комнатѣ, но пѣлъ онъ, увлекаясь, разставивъ широко руки и глядя куда-то ввысь. Онъ пѣлъ такъ сладко, выразительно и жалобно, что всѣмъ стало казаться, будто поетъ онъ каждому на ухо для него и про него самого. Одному чудилось, что поетъ онъ объ его деревнѣ, о поляхъ и лѣсахъ, о родной широкой рѣкѣ, гдѣ было когда-то счастье; другой вздыхалъ объ отцѣ съ матерью, о дѣтскомъ счастливомъ времени, о томъ, чего уже нѣтъ и никогда не будетъ; третьему вспоминалась ранняя молодость, первая любовь и первыя невзгоды,—тѣ невзгоды, за которыя отдалъ бы теперь всю остальную жизнь, нелѣпую, черствую и безпутную; но Дитё былъ увѣренъ, что Мусью поетъ не иначе, какъ о своемъ народѣ, о нуждѣ, о горѣ, о своей проклятой несчастной жизни и о своей обезьянѣ; поетъ онъ и о русскомъ морозѣна улицахъ, о своей погибели здѣсь и жалуется имъ всѣмъ на судьбу; и про нихъ

самихъ онъ тоже поетъ: какіе, молъ, вы всѣ пьяницы да подлецы!..

Увѣренный въ этомъ, онъ стоялъ передъ пѣвцомъ и слушалъ, и сердце его разгоралось все больше; мягкій голосъ и тихая пѣсня трогали его душу, умиляли и возбуждали ее; жалко становилось пѣвца и жалко его обезьяну: чужіе они здѣсь оба, и не здѣсь имъ мѣсто!

А Мусью все пѣлъ, то скрещивая на груди руки, то медленно протягивая ихъ къ собесѣдникамъ и всей грудью перегибаясь къ нимъ черезъ столъ; лицо его улыбалось, а глаза были печальны и голосъ не звенѣлъ, а журчалъ, какъ ручей въ лѣсу, и слезы катились по щекамъ, утопая въ черныхъ усахъ и бородѣ.

Кончивъ пѣсню, онъ покашлялъ и сейчасъ же запѣлъ другую, еще болѣе грустную. Всѣ пригорюнились; всѣ сидѣли и слушали, опустивъ на руки головы; только слесарь проговорилъ со вздохомъ, безпокойно лохматя волосы:

— Ужъ очень спеціально получается!

А Дитё, разставивъ врозь ноги и подперевъ кулаками бока, точно готовясь къ бою, стоялъ передъ пѣвцомъ съ выпученными глазами; грудь его медленно и круто поднималась и опускалась, ноздри и губы зловѣще вздрагивали.

— Мусью!—заоралъ вдругъ Дитё дикимъ голосомъ, широко раскидывая врозь руки.—Вотъ что!.. Поѣзжай къ себѣ! Умрешь ты здѣсь... замерзнешь. Съ голоду поколѣешь,—поѣзжай!

— Товарищи!—обратился онъ къ остальнымъ:—пустимъ его на родину? Не дадимъ поколѣть? Выручимъ Мусью? Отправимъ на родину?

И всѣ поднялись; всѣ вдругъ заговорили, заспорили, а Дитё кричалъ только одно:

— Выручимъ! Не дадимъ поколѣть!

— Это возможно,—отвѣтили голоса.

Потомъ всѣ стали шептаться, указывая въ сторону глазами и пальцами. Иногда слышалось чье-то имя съ прибавленіемъ: кровопійца... анаѳема...

Шопотъ вскорѣ перешелъ опять въ говоръ, и голоса загудѣли снова.

— Шабашъ!—рѣзко перебилъ всѣхъ Дитё, грузно кладя на столъ растопыренную руку.—Дѣло рѣшеное!

Слесарь весело подмигнулъ глазомъ и, потрепавъ удивленнаго Мусью по плечу, добавилъ съ улыбкой:

— Это ужъ, братъ, по моей спеціальности. Будь покоенъ.

Черезъ день въ газетахъ было напечатано сообщеніе, что въ запертую на ночь винную лавку проникли громилы и, взломавъ замки, похитили изъ кассы деньги и перебили много бутылокъ. Одного изъ громилъ удалось задержать, но денегъ при немъ не оказалось. Богатырь по сложенію, онъ былъ найденъ мертвецки пьянымъ, съ разбитой бутылкой въ рукахъ.

Мѣсяцевъ шесть сидѣлъ онъ въ острогѣ; потомъ его судили.

На судѣ онъ сознался, что въ кражѣ участвовалъ не одинъ, но раньше скрывалъ это для того, чтобы дать время товарищамъ отправить за-границу какого-то не-русскаго пѣвца съ обезьяной.

— Душа растрогалась. Доброе дѣло захотѣлось сдѣлать,—сказалъ онъ въ свое оправданіе.

Присяжные вынесли ему приговоръ:— виновенъ, но заслуживаетъ снисхожденія.

И его проводили обратно въ тюрьму.

ТѢНИ.

Широкой необъятной степью лежала тогда передо мной вся моя жизнь; всѣ дороги, которыя такъ незамѣтно расходятся и такъ разно ведутъ каждая къ своему горизонту, еще казались мнѣ одной общей дорогой; слишкомъ много простора было впереди меня, чтобы думать о встрѣчныхъ, о спутникахъ, а тѣмъ болѣе о потеряхъ; еще ничѣмъ я не умѣлъ дорожить, да и не зналъ—дорожатъ-ли вообще чѣмъ-нибудь люди. Можетъ быть, правда, что мы дорожимъ только воспоминаніями, дорожимъ тѣмъ, чего уже нѣтъ, и что никогда не повторится.

Я былъ молодъ тогда. И вѣроятно потому, что былъ молодъ, я услыхалъ тогда эту сказку. Теперь уже никто и никогда не станетъ мнѣ разсказывать ея...

Позднимъ вечеромъ, почти ночью, мы плыли по тихимъ лагунамъ Венеціи; это была послѣдняя ночь передъ отъѣздомъ; длинная черная гондола съ зубчатой грудью безшумно скользила по водѣ; я полулежалъ на коврѣ, а голова моя покоилась на колѣняхъ у Джуліи, которая сидѣла, наклонившись надо мной, и гладила и ласкала мои волосы. Старикъ гондольеръ, угрюмый и смуглый, съ шелковымъ легкимъ шарфомъ на шеѣ, стоялъ далеко позади и, занятый своимъ весломъ, не обращалъ на насъ никакого вниманія; а можетъ быть и обращалъ, но онъ былъ старъ и опытенъ

и вѣроятно много видывалъ въ жизни чужихъ радостей и чужого горя, слишкомъ много для того, чтобы интересоваться нами.

— Слушай,—говорила мнѣ Джулія тихимъ ласковымъ голосомъ; одного юношу полюбила дѣвушка; она не спрашивала его — кто онъ, потому что любила его всѣмъ сердцемъ. Цѣлый мѣсяцъ они видались въ горахъ, вмѣстѣ встрѣчали солнце, когда оно восходило изъ-за моря, и вмѣстѣ провожали его, когда оно заходило за скалы. Цѣлый мѣсяцъ они были счастливы... цѣлый мѣсяцъ!.. Только одинъ мѣсяцъ въ жизни, — добавила она печально и просто.—Затѣмъ они должны были разстаться. Юноша признался, что онъ сынъ синьора и что ему пора уѣхать. И онъ уѣхалъ. Въ послѣднюю минуту, когда они разставались, дѣвушка сказала ему: будь счастливъ. Она безъ зависти, безъ злобы сказала ему: будь счастливъ. Обо мнѣ позабудь. Но когда пройдетъ твоя жизнь и наступитъ твой послѣдній, твой смертный часъ, вспомни, что тебя любила Джулія, и тогда тебѣ будетъ легче умирать...

— Ее звали тоже Джулія?—спросилъ я, цѣлуя ея маленькую тонкую руку и взглядывая въ ея печальные прекрасные глаза.

— Да, ее звали, какъ и меня.

— И что же съ нею стало?

— Не знаю. Въ сказкѣ говорится только о юношѣ... Черезъ три года онъ забылъ о Джуліи, и такъ прошла его жизнь, среди другихъ людей, безъ нея. Онъ забылъ даже ея имя, не вспоминалъ и о томъ, что Джулія жила когда-то на свѣтѣ. Возможно-ли помнить про все, что было когда-то, что было много-много лѣтъ назадъ!.. Но когда на войнѣ онъ упалъ подъ ударомъ меча, то вдругъ ему вспомнилась юность и дѣвушка, ея имя, ея голосъ и ея любовь.—Джулія!—прошепталъ онъ тогда, прошепталъ послѣднее слово въ жизни—и умеръ съ улыбкой.

— Вотъ и ты,—продолжала Джулія,—не вспоминай обо мнѣ никогда. Не надо.

Она вздохнула.

— Но когда наступитъ твой послѣдній часъ, тогда вспомни Джулію: мое имя дастъ тебѣ утѣшеніе въ послѣдней скорби.

— Теперь поцѣлуй меня,—добавила она тихо и почти строго.

Она была спокойна.

Я помню только гибкій станъ ея, черные глаза и тонкія, холодныя, нѣжныя руки, обвившія мою шею...

Помню еще Порто-дель-Марэ, рыбачьи лодки подъ красными парусами, упругую, тихую, темную воду и нашу длинную гондолу, скользящую чернымъ призракомъ по этой глади, среди простора, ночи и жизни.

Все это было давно.

Все это давно забылось.

„Возможно ли помнить про все, что было когда-то, что было много-много лѣтъ назадъ“, — какъ говорила Джулія.

И такъ прошла моя жизнь, среди другихъ людей... безъ нея.

Я былъ молодъ, и слыхивалъ иныя сказки, иные завѣты и отъ иныхъ людей.

Помню я раннюю весну на нашемъ сѣверѣ. Снѣгъ еще лежалъ кое-гдѣ въ оврагахъ, а на лугахъ уже зеленѣла новая трава, выбиваясь радостно и весело среди сѣрой прошлогодней, перезимовавшей подъ снѣгомъ. Солнце грѣло. На мягкихъ дорожкахъ парка оставались наши слѣды: два слѣда—одинъ отъ большой ступни, другой отъ легкой и маленькой.

По пути мы срывали первые цвѣты: подснѣжники, фіалки и какіе-то невѣдомые мнѣ—низенькіе, блѣдные, похожіе на крошечные колокольчики.

Широкій, спокойный прудъ блестѣлъ на солнцѣ; бѣлыя березы, чуть запушенныя зеленью, стояли надъ водой и глядѣлись глубоко въ воду. Точно было два лѣса: вверху и внизу; и два неба: — надъ прудомъ и въ прудѣ. Два слѣда оставались на влажномъ пескѣ, два сердца бились однимъ стремленіемъ, — слить двѣ жизни въ одну.

Но двѣ жизни такъ и остались двумя.

Черезъ рѣчку былъ перекинутъ мостъ съ кирпичными толстыми столбами... Мы молча глядѣли вдаль, гдѣ было солнце, гладь воды и зеленые берега.

Она сказала мнѣ:

— Когда ты будешь очень счастливъ, вспомни обо мнѣ.

Подъ теплыми лучами весенняго солнца на каменномъ столбѣ мы замѣтили крошечную букашку; она была такъ мала и ничтожна, что вся была прозрачна; это живое существо, величиной не болѣе книжной точки, весело топорщило свои крылья и словно говорило намъ: какъ хорошо жить! какъ прелестна молодость! какъ очаровательна весна!

И мы повторяли это каждый себѣ и другъ другу. Мы чувствовали обаяніе весны и молодости и счастія.

— Вспомни обо мнѣ, когда будешь очень счастливъ.

Да. Я уже вспоминалъ о ней.

Было время — и я вспоминалъ, радостный и счастливый, этотъ весенній день, эту прозрачную, ничтожную счастливую мошку, этотъ тихій прудъ и мостъ, и ту, которая говорила мнѣ: вспомни меня...

Было время — и эта милая тѣнь рѣяла предо мною.

Теперь она уже не возникнетъ вновь.

Жизнь не ждетъ.

Уже новые люди пришли праздновать свою молодость. Ужъ и у нихъ зарождаются воспоминанія о прошедшемъ...

Милыя тѣни моего прошлаго, съ какой грустной радостью я вспоминаю о васъ...

Скоро я вспомню и тебя, моя Джулія: уже не долго ждать.

ЛУННАЯ НОЧЬ.

Широкое пустынное озеро, упругая зыбь по водѣ и легкій рыбачій челнокъ съ тяжелыми нескладными веслами; молчаніе и тишина. Близъ береговъ высокій шелестящій камышъ, точно шелковая аллея; въ небѣ луна. Съ поднятыхъ изъ воды веселъ стекаютъ струями тоже золото, серебро и алмазы...

Ѣду въ челнѣ съ непокрытой головой, въ легкой распахнутой курткѣ, и только изрѣдка трогаю весла почти безшумно. Ѣду близъ берега, врѣзаясь въ камыши: мнѣ пріятно слушать ихъ шелестъ, пріятно глядѣть на широкое лоно воды, полной жизни и тайны. Эта тайна повсюду: и въ глубинѣ озера, и въ небѣ, и въ ночи, которая похожа не на ночь, а на голубой день. Бѣлыя березы стоятъ по берегу, точно лѣсныя невѣсты—въ бѣлыхъ одеждахъ, подъ туманной фатой, а за ними чаща и мракъ и тайна.

Я одинъ. Все спитъ кругомъ. Ни огня, ни голоса нигдѣ, ни звука. Проплываю тихонько мимо рощи, мимо поляны, мимо крутого холма. Луна свѣтитъ плѣнительно и холодно. Плѣнительнымъ и вѣчнымъ кажется мнѣ мое одиночество, и я не думаю ни о чемъ, ни о жизни людей, ни о прошедшемъ; ощущаю только мою жизнь въ этомъ мірѣ, сливаюсь съ нимъ и чувствую себя его частью. Мнѣ радостно это.

Душой овладѣваетъ созерцаніе и покой.

Смотрю въ воду — и вижу въ ея зыби мерцаніе звѣздъ, тихій трепетъ луннаго сіянія, ласковую черноту ночи. Взглядываю въ небо—тамъ все то же, но болѣе спокойное, болѣе сильное.

Уже не чувствую ни себя, ни земли и уношусь душою куда-то ввысь, гдѣ въ таинственныхъ глубинахъ эфира горятъ солнца, а вокругъ нихъ незыблимыми путями безшумно и стройно движутся планеты, гдѣ въ вѣковѣчныхъ путяхъ этихъ затерялась среди другихъ крупинка—Земля...

Вдругъ слышу голосъ... Не понимаю; прислушиваюсь... Да. Это говоритъ человѣкъ.

Что говоритъ онъ ночи и озеру, не зная, что я его слышу?

Молодой чистый голосъ стелется по водѣ, разносится и наполняетъ ночь жизнью и стремленіемъ. Я любуюсь имъ, не зная, не видя его, не предполагая — кто онъ даже еще не вникая въ слова, а только слушая музыку голоса. Онъ хорошо читаетъ что-то. Мнѣ кажется, что ночь и озеро и міръ слушаютъ его такъ же чутко, какъ я, даже лучше, внимательнѣе и отзывчивѣе, чѣмъ я. Онъ декламируетъ, онъ бросаетъ слова отчетливо и рѣдко, точно артистъ передъ огромнымъ заломъ. И слова эти мало-по-малу доходятъ до моего сознанія, трогаютъ душу,—и тревожная мысль пробуждается.

Я теперь слышу каждое его слово.

Онъ говоритъ:

— ...Если бъ я былъ духомъ свободнымъ и властнымъ, я ночью леталъ-бы надъ темной землей: ночью скорбь тяжелѣе. Я силой могучей и знаньемъ великимъ измѣнялъ бы весь міръ земной. Я больнымъ далъ бы сонъ, огорченнымъ—покой, я порвалъ бы всѣ узы неволи, я раскрылъ бы темницы, и все прошлое зло и вражду я бы свѣтлымъ забвеніемъ смылъ. Я бы далъ молодымъ радость, смѣхъ и любовь, и сердце горячее, гнѣвное, и страстную жажду стремленья — впередъ! А

уставшимъ и слабымъ я далъ бы желанье—уснуть. Я, носясь надъ землей, въ дождь сушилъ бы поля и грозою ночной освѣжалъ бы ихъ въ зной, чтобы весь въ урожай золотой и въ цвѣтущій садъ міръ обратился, чтобъ у всѣхъ былъ бы хлѣбъ, солнце, свѣтъ и вода, для дыханья чистый воздухъ. Я-бъ поднялъ духъ людей надъ жизнью земной, ихъ раскрылъ бы духовныя очи, чтобы поняли всѣ, что всѣ люди равны предъ жизнью, предъ смертью, предъ солнцемъ. И пусть шла-бъ наша жизнь могучей, широкой и вольной—какъ въ половодье рѣка!..

Онъ замолчалъ.

Я опять плыву среди тишины

То же озеро, та же жизнь, та же ночь, но голосъ человѣка призывно окликнулъ меня — и чары разсѣялись.

Я одинъ, но мысли мои—о людяхъ.

Homo sum...

ВЪ ПУТИ.

Это было въ глухомъ уголкѣ Россіи.

Я ѣхалъ уже нѣсколько дней на перекладныхъ. Передъ моими глазами чередовались деревни, поля, лѣса и пустынные проселки. Лошади были тощи, люди угрюмы, а избы нерѣдко разорены.

Неурожай чувствовался повсюду. Приближалась голодная зима. Лишніе рты уже двинулись по-міру съ сумой и съ рукой.

И вотъ однажды, когда путь нашъ уперся въ холодную сѣрую рѣку и было нужно переѣзжать ее на паромѣ, я встрѣтилъ на баркѣ среди другихъ попутчиковъ слѣпого старика, лѣтъ семидесяти, съ сѣдой бородой, съ сѣдыми вьющимися на вискахъ волосами; они выбивались у него изъ-подъ картуза и странно шевелились на вѣтру, точно трепетали какъ осенніе листья. И борода у него и брови были сѣдыя; облѣзлый кафтанъ и холщевая сумка черезъ плечо и старыя валенки на ногахъ казались тоже сѣдыми и ветхими; даже высокая трость, съ которой слѣпецъ не разлучался, была изъ какого-то дерева мутнаго тона и тоже казалась сѣдой и древней.

Окруженный молчаливыми попутчиками, дѣдъ стоялъ посреди парома, опираясь на палку, точно на посохъ, и держа ее впереди себя обѣими руками; спина его сгорбилась, слѣпые глаза устремлялись безцѣльно и неподвижно куда-то впередъ, будто видѣли что-то передъ собою, чего не видѣлъ никто другой.

Глядя куда-то—ввысь и впередъ—молодыми острыми глазами, стояли возлѣ старика по обѣ стороны двое дѣтей—мальчикъ и дѣвочка, лѣтъ по десяти. Старикъ пѣлъ, а дѣти вторили ему тихими несмѣлыми голосами. По его морщинистому лицу, по суровымъ складкамъ надъ носомъ было замѣтно, что онъ напрягаетъ всю свою память, всѣ усилія, чтобы не перепутать пѣсню, которую слыхивалъ онъ въ юности отъ такихъ же дѣдовъ, какъ теперь самъ, слыхивалъ и запомнилъ, можетъ быть, полвѣка тому назадъ—о святомъ Егорьѣ Храбромъ и о злодѣѣ царищѣ Самъ-Демьянищѣ, о насиліяхъ одного и о побѣдномъ шествіи другого.

— Ты, святой Егорій Хорабрай!—вытягивалъ дѣдъ безстрастнымъ голосомъ.—Сказывай, которую вѣру ты вѣруешь, которому богу ты молишься?..

Что заставляло его пѣть, я не знаю, но думаю что не только голодъ, но и стыдъ передъ семьей за свой лишній ротъ.

И вотъ всѣ трое они покинули домъ, вышли на рѣку, на большія дороги и бродятъ среди чужихъ, сбирая въ шапку грошики копейки и недоѣденные куски,—но нѣтъ имъ попрека отъ близкихъ и родныхъ за даровой хлѣбъ.

Долго пѣли они о козняхъ Демьянища, пѣли о томъ, какъ велѣлъ онъ Егорья во пилы пилить, въ топоры рубить, на водѣ топить, во смолѣ варить,—но

— Ничаво Егорью не вредилося...

Чѣмъ дальше, тѣмъ все болѣе и все ярче сказывалось въ пѣснѣ безсиліе царища-Демьянища покорить Егорія, и онъ повелѣлъ закопать его въ глубокій погребъ, а закопавши, самъ надъ нимъ землю притаптывалъ и самъ себѣ въ веселье приговаривалъ:

— Не видать теперь Егорью свѣту бѣлаго, ни свѣту бѣлаго да ни солнца краснаго!

Старикъ остановился на этихъ словахъ; замолчали и дѣти. Не то онъ забылъ, что поется далѣе, не то

умышленно, прикрывъ ладонью ротъ, покашлялъ въ руку и вдругъ заголосилъ быстро, отчетливо и громко; и дѣти закричали за нимъ тоже громко и быстро:

— Какъ по Божьему повелѣнію, по Егорьеву умоленію восходила туча гремучая, подымалися вѣтры буйные на святой Руси, подымалися вѣтры со вихоремъ...

И я замѣтилъ, что всѣ слушатели насторожились, когда старикъ запѣлъ о томъ, какъ разметались отъ бури пески и всякія защиты, погибли всѣ старанія Демьянища—и святой Егорій, снова свободный, гнѣвный и храбрый—

„По верху земли стоитъ,
По верху свѣта русскаго...“

Барка плыла уже посрединѣ рѣки; кругомъ насъ была вода, зыбкая, холодная и блестящая; впереди лежалъ берегъ, а по немъ, разрѣзая его поперекъ, вилась проѣзжая дорога и исчезала за недалекимъ холмомъ.

— Бла-сло-ви, родитель-матушка!—восклицалъ старикъ дрожащимъ тягучимъ голосомъ.—Бла-сло-ви пойтить на царицу на Демьянищу, отплатить ему его хлѣбъ-соль.

И дѣти наивными безстрастными голосами, подпѣвая за дѣдомъ, разсказывали вмѣстѣ съ нимъ про Демьянищу, разсказывали, какъ „настращался“ онъ Егоріемъ и насылалъ на него стадо сѣрыхъ волковъ:

— И ни пройти Егорью, ни проѣхати.

Голосъ пѣвца былъ слабъ и старъ и какъ будто надорванъ, но это даже усиливало впечатлѣніе, словно голосъ этотъ долеталъ до насъ откуда-то изъ глубины вѣковъ.

— А святой Егорій онъ волкамъ сказалъ: ой, вы, волки, волки сѣрые, разойдитеся, разбредитеся по-двое, да по-трое, да по-единому!

Всѣ мы сидѣли въ кругу и глядѣли на дѣда, а

онъ глядѣлъ куда-то выше и дальше насъ своими сощуренными слѣпыми глазами. Когда онъ ошибался или забывая пѣсню, замолкалъ, то вмѣстѣ съ нимъ ошибались или замолкали и дѣти, и оба съ надеждой взглядывали на старика, а тотъ еще крѣпче сдвигалъ морщины на лбу, точно насилуя свою непокорную память.

Долгая пѣсня все еще не кончалась, все еще журчали три тихихъ голоса, какъ три ручья, сливаясь съ разныхъ сторонъ въ одно русло.

Пѣли уже о томъ, какъ приблизился гнѣвный Егорій ко дворцу Демьянища.

— И забросался царь, заметался царь по своимъ бѣлымъ каменнымъ палатамъ: ты, святой Егорій Хорабрай, дай ты мнѣ сроку на три года!

— Не даю тебѣ сроку ни минутаю!—воскликнулъ старикъ угрожающимъ голосомъ. И дѣти повторили за нимъ:

— Ни минутаю!

Наступило молчаніе.

Плескалась о барку холодная вода, тянулся изъ рукъ въ руки мокрый канатъ, и казалось, будто не мы плывемъ къ берегу, но берегъ подплываетъ къ намъ съ его лугами, дорогами и сѣрой деревней наверху холма, куда понесетъ старикъ свою суму и свою пѣсню.

И хотѣлось пожелать ему, чтобъ на его пути скорѣе разбѣжалось врозь все сѣрое, все алчное, все злое, что держало въ холодѣ, голодѣ, во мракѣ и его и другихъ.

И невольно вспоминались мнѣ простыя, почти ласковыя слова его пѣсни:

„Разойдитесь вы, разбредитесь вы, по-двое, да потрое, да по-единому...“

Барка причалила къ берегу. Въ шапкѣ у старика зазвенѣли мелкія деньги.

Надъ пустынной рѣкой носились голодныя чайки, иногда падая въ зыбь и выхватывая съ налета голодную рыбу.

Было холодно и уныло.

Впереди лежали тихія деревни, и жилъ тихою жизнью голодный народъ...

—

Н. ТЕЛЕШОВЪ.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

Содержаніе:—Пѣснь о трехъ юношахъ.—Домой!—Нужда.—Елка Митрича.—Съ Богомъ!—Противъ обычая.—Сухая бѣда.—Счастливецъ.—Сумерки.—Хлѣбъ-соль.—Дѣти.—Дуэль.

Изданіе второе. **Цѣна 1 р.**

Н. ТЕЛЕШОВЪ.

ТОМЪ ВТОРОЙ.

Содержаніе:—Между двухъ береговъ.—Черною ночью.—Косцы.—Призракн.—Петля.—На тройкахъ.—Крамола.—Пѣвецъ Богоматери.—Жуликъ.—Враги.—Осень.—Цвѣтокъ папоротника.—Доброе дѣло.—Тѣни.—Лунная ночь.—Въ пути.

Цѣна 1 р.

201. **Марксъ и Энгельсъ.** Коммунистическій манифестъ 12
202. **Каутскій.** Эрфуртск. программа 30
203. **Бебель.** Женщина и соціализмъ —
204. **Бебель.** Интеллиг. и соціализмъ. 5
205. **Бебель.** Постоянн. армія и народная милиція 15
206. **Каутскій.** Индивид., классовые и общественные интересы... 6
207. **Г. Роландъ-Гольстъ.** Всеобщая стачка и соціалъ-демократія. 70
208. **Вандервельде.** Промышленное развитіе и коллективизмъ . 30
209. **Жюль Гедъ.** Общественная служба и соціализмъ 5
210. **Марксъ.** Къ еврейскому вопросу 10
211. **Бебель.** Профессіон. движеніе и политическія партіи. . . . 5
212. **Каутскій.** Нейтрализація профессіональныхъ союзовъ. . . . 10
213. **Штернъ.** Государство будущаго. 8
214. **Паннекэкъ.** Соціализмъ и религія. 5
215. **Атлантикусъ.** Государство будущаго 35
216. **Каутскій.** Революціонныя перспективы 10
217. **Чикотти.** Психологія соціалистическаго движенія 30
218. **Каутскій и Шёнланкъ.** Основные принципы и требованія соціалъ-демократіи 15
219. **Э. Ферри.** Развитіе экономическое и соціальное 6
220. **Ф. Мерингъ.** Теорія и практика марксизма. 8
221. **П. Лафаргъ и Ж. Гедъ.** Программа рабочей партіи 15
222. **Ф. Энгельсъ.** Теорія научнаго соціализма (Anti-Düring) . . — 231. **Фаньо.** Профессіональное рабочее движеніе въ Англіи . . 12
232. **Г. Фюртъ.** Фабричный трудъ замужней женщины. . . . . —
233. **Кампфмейеръ.** Проституція, какъ общественно-классовое явленіе, и борьба съ нею . . . 20
234. **Энгельсъ.** Къ жилищн. вопросу 15
235. **Каутскій.** Американскій и русскій рабочій 15
236. **Смайли.** Куда ведетъ экономическое развитіе 5
237. **Баксъ и Квелчъ.** Новый катехизисъ соціализма 5
238. **Ванъ-Коль.** Колоніальная политика и соціалъ-демократія . 5
261. **Лафаргъ.** Аграрная программа. 5
262. **Каутскій.** оціализмъ и сельское хозяйство 15
263. **Крживицкій.** Аграрный вопросъ. 70
271. **Энгельсъ.** Статьи. 12
272. **Марксъ.** Либералы у власти . 8
273. **Марксъ** передъ судомъ присяжныхъ 10
274. **Лиссагарэ.** Исторія парижской коммуны 70
275. **Г. Іэккъ.** Интернаціоналъ . . . 80
276. Взятіе Бастиліи (по Мармонтелю) —
277. Начало нѣмецкой соціалъ-демократіи. 20
278. **Каутскій.** Карлъ Марксъ . . . 5
279. Икарійцы въ Америкѣ. . . . 10
280. **Тюрлянъ.** Популярная исторія парижской коммуны 1871 г. 12
286. **Бебель.** Фурье и его ученіе. . 50
287. **Каутскій.** Этика и экономическое пониманіе исторіи. 20
288. **Мерингъ.** Легенда о Лессингѣ . 80
301. **Ольминскій.** Свобода печати. . 12
302. **Ольминскій.** Права Государственной Думы. 5
303. **С. Михайловичъ.** Что такое рабочая партія. 3
304. **Клейнбортъ.** О партіяхъ и партійности. 5
305. **Финнъ.** Къ аграрному вопросу. —
306. **Сомовъ.** Справедливый налогъ. 12
307. **Сомовъ.** Нужна ли постоянная армія 12
308. **Рейснеръ.** О царской власти . —
309. **Клейнбортъ.** Русскій имперіализмъ въ Азіи. 8
310. **Клейнбортъ.** Капитализмъ и еврейскій вопросъ 8
311. **Степановъ.** Издалека . . . . . —
312. **Гурвичъ.** Радикальная буржуазія и профессіональные союзы 20
313. **Клейнбортъ.** Проекты подоходнаго налога 10

Книги, при которыхъ поставлена цѣна, поступили въ продажу.

НИЖЕГОРОДСКІЙ СБОРНИКЪ.

Разсказы, стихотворенія и статьи авторовъ: М. Горькаго, Л. Андреева, А. Куприна, Гусева-Оренбургскаго, Н. Гарина, С. Елеонскаго, А. Петрищева, Н. Телешова, В. Короленко, Л. Мельшина, П. Боборыкина, Тана, Н. Тимковскаго, Т. Щепкиной-Куперникъ, Г. Галиной, П. Дубовской, А. Пустынниковой, Ч. Вѣтринскаго, Н. Бунакова, Н. Мировича, С. Протопопова, А. Пругавина, А. Кизеветтеръ, И. Бѣлоусова, А. Корнева, Д. Жбанкова, Н. Рожкова, С. Платонова **Цѣна 1 руб.**

ДЕШЕВАЯ БИБЛІОТЕКА ТОВАРИЩЕСТВА „ЗНАНІЕ“.

М. Горькій:

1. Пѣсня о соколѣ . . . . . 2 к.
2. Человѣкъ . . . . . 2 »
3. Макаръ Чудра. . . . . 3 »
4. О Чижѣ, который лгалъ, и о Дятлѣ, любителѣ истины . 2 »
5. Емельянъ Пиляй. . . . . 3 »
6. Дѣдъ Архипъ и Ленька . . 5 »
7. Челкашъ . . . . . 7 »
8. Старуха Изергиль . . . . . 5 »
9. Однажды осенью. . . . . 3 »
10. Мой спутникъ. . . . . 6 »
11. Дѣло съ застежками . . . 3 »
12. На плотахъ . . . . . 3 »
13. Болесь . . . . . 2 »
14. Тоска. . . . . 10 »
15. Коноваловъ . . . . . 10 »
16. Ханъ и его сынъ . . . . . 2 »
17. Супруги Орловы . . . . . 12 »
18. Бывшіе люди . . . . . 12 »
19. Озорникъ. . . . . 5 »
20. Варенька Олесова . . . . . — »
21. Товарищи. . . . . 4 »
22. Въ степи . . . . . 3 »
23. Мальва . . . . . 10 »
24. Ярмарка въ Голтвѣ. . . . . 3 »
25. Зазубрина. . . . . 3 »
26. Скуки ради . . . . . 5 »
27. Каинъ и Артемъ. . . . . 6 »
28. Дружки. . . . . 4 »
29. Проходимецъ. . . . . 7 »
30. Кирилка . . . . . 3 »
31. Васька Красный . . . . . 5 »
32. Двадцать шесть и одна . . 5 »
33. Разсказъ Филиппа Васильев. 5 »
34. Тюрьма . . . . . 8 »

Скиталецъ:

41. Стихотворенія Книга I. . . 5 »
42. Стихотворенія Книга II. . . 6 »
43. Сквозь строй . . . . . 12 »
44. За тюремной стѣной . . . . 5 »
45. Октава. . . . . 12 »
46. Ранняя обѣдня . . . . . 3 »
47. Полевой судъ . . . . . 5 »

Л. Андреевъ:

51. Набатъ . . . . . 2 »
52. Ангелочекъ . . . . . 3 »
53. Молчаніе . . . . . 3 »
54. Валя. . . . . 3 »
55. На рѣкѣ . . . . . 4 »
56. Въ подвалѣ . . . . . 8 »
57. Петька на дачѣ. . . . . 3 »
58. У окна. . . . . 5 »
59. Жили-были . . . . . 5 »
60. Въ темную даль . . . . . 4 »

С. Гусевъ-Оренбургскій:

61. Ометъ . . . . . 8 к.
62. Конокрадъ. . . . . 2 »
63. Миша. . . . . 2 »
64. Послѣдній часъ . . . . . 6 »
65. На родину . . . . . 4 »
66. Сквозь преграды . . . . . 2 »
67. Кахетинка. . . . . 3 »
68. Бѣдный приходъ. . . . . 2 »
69. Злой духъ. . . . . 4 »
70. Жалоба . . . . . 5 »

А. Серафимовичъ:

71. Въ камышахъ . . . . . 3 »
72. Месть. . . . . 4 »
73. На льдинѣ . . . . . 4 »
74. Степные люди . . . . . 5 »
75. Ночью . . . . . 3 »
76. Сцѣпщикъ. . . . . 3 »
77. На заводѣ . . . . . 5 »
78. Подъ землей. . . . . 6 »
79. Подъ уклонъ. . . . . 3 »

А. Купринъ:

81. Дознаніе . . . . . 3 »

Н. Телешовъ:

82. Пѣснь о трехъ юношахъ. . 3 »
83. Противъ обычая . . . . . 3 »
84. Домой. . . . . 3 »
85. Хлѣбъ-соль . . . . . 3 »

С. Елпатьевскій:

86. Спирька. . . . . 8 »
87. Пожалѣй меня. . . . . 2 »
88. Присяжнымъ засѣдателемъ . 3 »

Ив. Бунинъ:

89. Стихотворенія. . . . . 4 »

К. Бальмонтъ:

90. Стихотворенія. . . . . 3 »

С. Юшкевичъ:

91. Невинные. . . . . 4 »
92. Убійца . . . . . 3 »
93. Кабатчикъ Гейманъ. . . . . 7 »
94. Ита Гайне. . . . . —
95. Человѣкъ . . . . . —
96. Евреи. . . . . 30 »

А. Черемновъ:

98. Стихотворенія. Книга I. . . — »
99. Стихотворенія. Книга II. . . —

Е. Чириковъ:

100. Евреи. . . . . 12 »

С. Гусевъ-Оренбургскій:

111. Въ приходѣ . . . . . 12 »

Послѣднія изданія товарищества „ЗНАНІЕ“ (Спб., Невскій, 92).

СБОРНИКЪ Т-ВА „ЗНАНІЕ“: XIX. Книга девятнадцатая. — М. Горькій. Мать. (*Продолженіе.*) — Н. Гаринъ. Инженеры. (*Окончаніе*). — Записки В. Вересаева. На войнѣ. (*Продолж.*). — Шоломъ Ашъ. Богъ мести. — *Цѣна 1 р.* —

М. ГОРЬКІЙ. Разсказы. I т. *Изд. 10-е.* — Макаръ Чудра. — Емельянъ Пиляй. — Дѣдъ Архипъ и Ленька. — Челкашъ. — Старуха Изергиль. — Однажды осенью. — Ошибка. — Мой спутникъ. — Дѣло съ застежками. — Пѣсня о соколѣ. — На плотахъ. — Болесь. — Тоска. — *Цѣна 1 р.*

М. ГОРЬКІЙ. Пьесы. VIII т. — Варвары. — Враги. *Цѣна 1 р.*

СЕМЕНЪ ЮШКЕВИЧЪ. Разсказы и пьесы. V т. — Голодъ. — Въ городѣ. — Отче нашъ. — Панорама. — Новый пророкъ. — Три кладбища. — Элн. — Четыре апостола. — *Цѣна 1 р.*

СЕМЕНЪ ЮШКЕВИЧЪ. Король. Пьеса въ 4 дѣйствіяхъ. — *Цѣна 60 к.*

Н. ГАРИНЪ. Разсказы. V т. Клотильда. — Бабушка. — Дворецъ Дима. — Когда-то. — Исповѣдь отца. — Коротенькая жизнь. — Счастливый день. — Инка и Давыдка. — Еврейскій погромъ. — Старый еврей. — Художникъ. — Геній. — Вероника. — Ревекка. — Два мгновенія. — Вальнекъ-Вальновскій. — На практикѣ. — *Цѣна 1 р.*

Н. ТЕЛЕШОВЪ. Разсказы. II т. Между двухъ береговъ. — Черной ночью. — Косцы. — Призраки. — Петля. — На тройкахъ. — Крамола. — Пѣвецъ Богоматери. — Жуликъ. — Враги. — Осень. — Цвѣтокъ папоротника. — Доброе дѣло. — Тѣни. — Лунная ночь. — Въ пути. — *Цѣна 1 р.*

П. КРОПОТКИНЪ. VII т. Взаимная помощь, какъ факторъ эволюціи. Съ англійскаго. Переводъ *В. Батуринскаго* подъ редакціей *автора*. *Цѣна. 1 р.*

ПЕЧАТАЮТСЯ и вскорѣ выйдутъ новыя книги:

СБОРНИКЪ Т-ВА „ЗНАНІЕ“: XX. Книга двадцатая. *Цѣна 1 р.*

Н. ГАРИНЪ. IV т. — Цѣна. 1 руб. (*Впервые*).

Н. ГАРИНЪ. Разсказы. VI т. — Цѣна 1 руб. (*Впервые*).

ИВ. БУНИНЪ. Стихотворенія. IV т. — Цѣна 1 р. (*Впервые*).

А. СЕРАФИМОВИЧЪ. Разсказы. III т. — Цѣна 1 руб. (*Впервые*).

Ш. СЕНЬОБОСЪ. Политическая исторія. *4-е изд.* Два т. Ц. 4 руб.

Лица, выписывающія книги непосредственно изъ склада т-ва „Знаніе“ (С.-Петербургъ, Невскій 92) на сумму не менѣе одного рубля, за пересылку не платятъ.

Обложка печ. въ типографіи 1-й Спб. Труд. Арт. Раб. Печатн. дѣла. Лиговская, 34.